ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

- *Александр Ревич*
  Мир людей, голубей и растений
  Стихи
- *Равиль Бухараев*
  Таежный вертоград
  Повесть
- *Владимир Дегоев*
  На пути к неизбежному
- *Лев Симкин*
  Путч
- *Лев Аннинский*
  Преступления без наказания

ДРУЖБА НАРОДОВ 11/2011

11'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

11'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр РЕВИЧ. Мир людей, голубей и растений. *Стихи* **3**
«Нельзя быть счастливым поэтом».
Беседу с Александром Ревичем ведет Наталья Игрунова **7**
Равиль БУХАРАЕВ. Таежный вертоград. *Повесть* **19**
Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ. В обход родимого края. *Стихи. С грузинского. Перевод Алексея Цветкова и Максима Амелина* **51**
Светлана МИХЕЕВА. Тетенька и слон. *Повесть* **56**
Алексей КОРОВИН. Осьмушка неба. *Короткостишия* **69**
Нина САРАПИАН. Рассказы **71**
Дмитрий ВЕРЕЩАГИН. Клакеры. *Рассказ* **83**
Ирина СУГЛОБОВА. От черного рая до белого ада. *Стихи* **91**
Владимир ШПАКОВ. Смешанный brak. *Роман. Окончание* **93**

Нация и мир

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ
Владимир ДЕГОЕВ. На пути к неизбежному.
Крым и Российская империя, 1774—1783 гг. **153**

Публицистика

Лев СИМКИН. Путч **178**
Александр ВОРОНЕЛЬ. Мир как воля и представление **195**
Вадим КИРПИЧЕВ. Смысл коммунизма,
или Возвращение Спартака в Рим **200**

Книжный развал

Ольга БАЛЛА. Роман-возможность ***207***
Андрей ТУРКОВ. Светлые квадраты ***210***
Екатерина РАТНИКОВА. Стихи из подполья ***214***

Эхо

Преступления без наказания. *Рубрику ведет Лев Аннинский* ***217***

Summary ***224***

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ **(МФГС)**

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Александр Ревич

Мир людей, голубей и растений

Поэма о святой нищете

В тридцать пятом, кажется, году
с алгеброю был я не в ладу,
оказалось: репетитор нужен,
и тяжелый ранец волоча,
шестиклассник не щадил плеча,
топал под осенний дождь по лужам
в дом, где комнатушку занимал
загнанный в сырой полуподвал
бывший инженер и театрал,
давний друг двоюродного деда
Аполлон Петрович, и к нему
брел я заниматься на дому,
лодырь, шалопай и непоседа.

Жил я на ветру и на бегу,
тех уроков вспомнить не могу,
алгебры не знал я и не знаю,
но клетушка эта часто мне
видится ночами и во сне,
и тогда, когда лежу без сна я.

Вспоминаю первый свой приход,
был высок мой давний доброхот,
седоусый тощий старикашка
с кружкою дымящейся в руке,
в форменном потертом сюртуке,
сразу понял я: живется тяжко.

Он мне вежливо придвинул стул,
крошки хлеба со стола смахнул
на ладонь и — прямо в рот с ладони,
ничего на свете не стыдясь,
не смущаясь, что повсюду грязь,
и того, что рядом посторонний.
Старый, старый высохший побег,
тонкий прутик в пустоши окружной,
одинокий в мире человек,
всем чужой и никому не нужный.
Той порой я ко всему привык,
сам ел крохи, со стола сметая,
и меня, мальчишку, в этот миг
не смутила нищета святая,
но в чужой судьбе, в жилье чужом,
на продавленном сиденье стула
почему-то душу, как ножом,
одиночество полосонуло.
Бывший инженер и театрал,
человек удачливый по сути,
видимо, всех близких потерял,
в мировом пожаре, в нашей смуте.
Духу не хватило у меня
Допытаться, где его родня,
дом, достаток, может быть, и дети,
и не мог я догадаться сам,
что тогда предстал моим глазам
праведник из древних лихолетий,
Иов, потерявший все на свете.

3 июля 2011

Ревич Александр Михайлович — поэт, переводчик, лауреат Государственной премии (1998). Постоянный автор журнала «Дружба народов».

Поэма о последнем школьном бале

Девочки танцуют английский фокстрот.
Ярослав Смеляков

Посвящение

Жили мы тогда, Светлана,
бесталанно,
мы ведь были в годы эти
просто дети,
выходили недоростки
на подмостки
в драме жизни не играли —
умирали
не от пули, так от боли
и в неволе.

Это было, было в самом деле,
это было, так и не прошло,
это снится по ночам в постели,
где под одеялом так тепло,
потому что живы, уцелели,
живы, потому что повезло.

А тогда в вечернем школьном зале
патефон наяривал фокстрот,
девочки усердно танцевали,
и жевал парнишка бутерброд.
Год тридцать девятый, класс десятый,
вечер выпускной, последний класс,
нам, ребятам, уходить в солдаты,
а девчонкам дома жить без нас.

Это было, было в самом деле,
это было, так и не прошло,
под иглой со скрипом звуки пели,
время детства тихо истекло,
но пластинка под иглой крутилась,
патефон наяривал фокстрот,
паренек по кличке Наутилус
все жевал какой-то бутерброд,
сверху столько лампочек светилось,
напоследок провожая нас,
наш последний, наш десятый класс.

А потом негаданно-нежданно
появилась девочка Светлана,
беленький курносый колобок,
рыжеватый локон сбился вбок,
а она смеется или плачет,
не понять никак — глаза в слезах,
а сквозь слезы — чертики в глазах,
и ни слез, ни радости не прячет,
ничего на свете не тая,
и не то дурит, не то дурачит,
ах, ты непутевая моя!

Ничего особого такого
не было, а жизнь потом была,
школы нет, сгорела вся дотла,
а подобранная мной подкова
счастья никому не принесла.
Кончен бал, и город наш в руинах,
кончен бой, прошло немного лет,
нет дворов и нет домов старинных
Пустыри. Ни стен, ни окон нет.
Прежний быт едва ли кто наладит,
а ведь здесь столетие назад
сколько зданий мой построил прадед,
сам я помню не один фасад.
И ребят из класса — так случилось —
только четверо осталось нас:
Павлик Скиба, Ленька Наутилус,
Боря Гершелевич–Тарантас,
и, конечно, сам я, жив покуда,
хоть не ждал спасенья ниоткуда.
Живы мы, вечерние огни
светятся, деревья шепчут что-то,
а красавиц сколько, нет им счета,
сколько сизарей и собачни,
кошки, дети — сколько их повсюду,
живы все, и жизнь не умерла,
отыграли мы судьбу-прокуду,
выпала монета на орла.

Никого обманывать не стану,
я совсем забыл тот школьный бал,
столько лет не видел я Светлану,
и с тех пор ее не вспоминал.
Но однажды в дождь совсем осенний,
хоть пора весенняя была,
кажется, в одно из воскресений, —
били, помнится, колокола, —
встретилась мне нищенка у храма,
серое худое пальтецо,
старая обвисшая панама,
круглое погасшее лицо.
Господи, но это же Светлана,
где он, тот курносый колобок,
где он, тот счастливый голубок?
Смотрят серые глаза стеклянно,
увидала, узнает, и вдруг
отшатнулась, на лице испуг,
словно встретила какую нежить,
миг — она исчезла навсегда,
больше я не стану вас манежить.
Как узнать, какая с ней беда
приключилась? Так и не узнаем.
Кажется, прошло все это краем
и меня коснулось так, слегка,
и пускай печаль невелика,
но мелькают дни, мелькают лица,
и порой все это ночью снится
до конца, а может, на века.

15 мая 2011

* * *

В ночах резни, в ночах больших пожаров,
когда крестами двери отмечали,
и падал на людей горящий кров,
иные спали крепко, без печали.

А в дни совсем недавних катастроф
мы затыкали уши и молчали,
и занимались сочиненьем строф
и славили притом не палача ли?

Большие дети маленьких отцов,
мы запирали двери на засов,
забыв, что есть подмога и пощада,

и если говорить начистоту,
благословляли нашу глухоту,
глухих отцов глухонемые чада.

13 августа 2011

Молитва

Помилуй, Боже, тех, кого люблю,
спаси их недоверчивые души,
дай уцелеть большому кораблю
и малому плоту дойти до суши.
Меня прости за то, что забывал
о жалости, о совести и чести,
дай пережить любой девятый вал,
дай быть, где скажешь, но со всеми вместе.

31 августа 2011

* * *

Как заслужено, так и случится,
в должный час, никуда не спеша,
отлетит незаметно душа,
бесконечного мира частица,
и однако лучи сентября
мне стучатся в окно, говоря
воркотней голубей неосенней
и осиновой летней листвой:
«Он с тобою, он все еще твой
мир людей, голубей и растений».

2 сентября 2011

Александр Ревич:

«Нельзя быть счастливым поэтом»

Беседу ведет Наталья Игрунова

Как часто мы повторяем, что в России писателю нужно жить долго. Сколько раз каждый из нас желал в день рожденья друзьям оставаться всегда молодыми душой. Но как редко это сбывается. Александру Михайловичу Ревичу — 90. И написанные им в год юбилея стихи и поэмы поражают своей духовной, жизненной, поэтической энергетикой, беспощадной трезвостью взгляда, печалью, сочувствием и болью.

…Фантастическая судьба.

Родился в Ростове-на-Дону 2 ноября 1921 года — «в одну из самых лютых зим, в дни бескормицы и бездорожья». Из «неблагополучной» семьи: отец воевал на Дону в Добровольческой армии, чудом уцелел после разгрома белых. «И все время боялся жить, вот что страшно», — скажет о нем сын в одном из интервью. Отец ушел из семьи, когда сыну было шесть. Погиб в 42-м, во время оккупации. («Немцы прихлопнули. За ним пошла его последняя жена — с тем, чтобы тоже погибнуть. Но ее как русскую дворянку отпустили…») Говорит, что школу окончил кое-как. Были математические способности, но плохо учили. «Заставляли играть на рояле, — рассказывал мне, улыбаясь, — думали, что я гений. А я не мог играть. Я не любил из-под палки. Девочки играют на рояле, а я в футбол хотел играть». В семнадцать лет он уже был мастером спорта по греко-римской борьбе.

В июне 41-го после погранучилища был распределен на западную границу. Приехал в Одессу в пятницу, в понедельник должен был явиться за назначением, а в воскресенье началась война. Отступал, попал в плен, выпрыгнул ночью на ходу из вагона и теми же дорогами, мимо тех же приазовских сел и хуторов, что и отец в Гражданскую, вдвоем с товарищем пробирался к линии фронта, и его снова задержали немецкие полевые жандармы. Спустя полвека он вспоминал: «В ледяной ветреный полдень мы оказались в странном лагере: квадратный километр белого поля, обнесенный колючей проволокой в три кола, и ни одного строения в этом квадрате, только угловая деревянная вышка с часовыми и пулеметом. За проволокой топтались на холоду несколько тысяч задержанных. …Из обрывков газеты и ваты, выдранной из дырявых телогреек, скручивали что-то вроде цигарок и втягивали в себя едучий дым. И ждали… Неизвестно чего. В этом лагере не давали никакой еды. Чем скорее подохнешь, тем лучше. Потом я узнал, что были у немцев такие лагеря. “Голодные”. Там, случалось, пленные ели друг друга. Три дня и три ночи бессонного топтания на снегу закончились немыслимым везением: нам двоим, мне и Валентину, удалось бежать из лагеря на открытой равнине днем. …До сих пор не могу объяснить, почему именно я решился на такое, ведь Лихачев был лет на десять старше меня. Есть во мне чувство, что кто-то меня вел. Странно еще и то, что наш побег на глазах у всей колонны не вызвал никакой реакции. Конвоя поблизости не оказалось, а пленные брели, отрешенные и оцепеневшие, видимо, ничего не соображая. В тот миг впервые пришла мысль о Боге» («Дружба народов», 2005, № 5).

Они пробились к своим — и попали к особистам. («Бабушка узнала и маме сказала: "Верочка, ты знаешь, что случилось? Но ему поверят… Он очень правдив".») Не поверили: «Сдался в плен и сдал своих солдат…/ к высшей мере!.. заменить!.. штрафбат!..» Разжаловали — и в теплушке, под конвоем на передовую. «В ночь, когда нас бросили в прорыв,/ был я ранен, но остался жив,/ чтоб сказать хотя бы о немногом./ Я лежал на четырех ветрах,/ молодой безбожный вертопрах,/ почему-то бережённый

Богом», — напишет он спустя шестьдесят лет в «Поэме дороги». Получил звание лейтенанта. Потом воевал под Сталинградом, был тяжело ранен — в грудь и позвоночник, награжден орденом Красной Звезды… Жизнь и судьба, не просто повлиявшие на творчество, но ставшие его содержанием.

Об этом — коллеги по цеху: поэты разных поколений, в разные годы.

Николай Панченко: «Ревич — один из немногих поэтов, чье присутствие в поэзии представляется мне гарантией ее духовности в будущем». Четкая система нравственных и эстетических координат определила не только его собственное существование в поэзии, но и жесткость профессиональных критериев и субъективность оценок, с которыми порой хочется поспорить, но нельзя не признать за Ревичем право на них.

Евгений Евтушенко: «Он достойно выдержал многолетние испытания на стойкость духа. …Он не сломался и, словно в блаженной лихорадке, стал, наконец, заниматься самым мучительным переводом — своей собственной души. И она воскресала, освобождаясь ото всего, что ей не давало быть собой. Он дважды одержал победу: в 1945-м вместе со всеми и через годы — совсем один». После войны Ревич окончил Литинститут, писал стихи, но даже в «оттепельные» годы мог печататься только как переводчик (плен и штрафбат в биографии).

Владимир Губайловский: «В XX веке “сдвигов эпохи” было более чем достаточно. Но для большинства наших современников они уже ушли в историю — стали чем-то умозрительным, а значит, тем, что можно заново придумать, не особенно считаясь с исторической реальностью. А вот чтобы эти сдвиги явственно различить, нужен независимый и отчетливый взгляд на вещи, нужна неподвижная точка, которая позволяет оценить направление и масштаб сдвига. Такой точкой может стать поэзия. Она способна отразить и удержать в памяти действительную картину, не дать смазать ее ни настоящему, ни будущему. Но на это способна не всякая поэзия. Только поэзия, которая выстояла, потому что выстоял поэт, потому ему хватило воли и зоркости. Таким поэтом можно назвать Александра Ревича. А выстоять, когда под ногами сдвигаются земные пласты, разве это не победа?»

На переводческую поденку Ревич никогда не сетовал, утверждая, что всегда переводил больших поэтов, которые учили его мастерству. (Кстати, это очень заметно в итоговой, выстроенной по хронологии книге «Позднее прощание».) Тринадцать лет он переводил «Трагические поэмы» Теодора-Агриппы д’Обинье, говорит — даже характер изменился, стал таким же упрямым, как у Агриппы, и почерк стал напоминать округлую старофранцузскую вязь. В 1998 году этот перевод был отмечен Государственной премией — третий случай в истории нашего художественного перевода после Маршака и Лозинского. Но и сегодня эти трагические стихи, эта «вселенная, заселенная народами, необъятные просторы, где происходят грандиозные действа», его не отпускают: «Прошло четыре столетия, но мы сталкиваемся с теми же самыми вопросами жизни, морали и политики».

Наталья Игрунова: Александр Михайлович, а как в вашей жизни возник Агриппа д’Обинье?

Александр Ревич: Нечаянно. Впервые я его прочитал в переводе Парнаха, а он был влюблен в Агриппу. Перевод был какой-то немножко самодеятельный, доморощенный. И мне он понравился. А потом стал читать по-французски и обалдел. Литературовед Георгий Степанович Кнабе удивлялся: зачем ты его переводишь? Устаревший язык. (Он писал на старофранцузском.) А я ему сказал — он куда крупнее всей твоей «Плеяды».

Я всегда сочувственно относился к гонимым. Сейчас я, православный человек, понимаю, что, если бы у нас победили раскольники, было бы то же самое, но сочувствую Аввакуму — потому что мученик. Это, кстати, очень русское качество — сочувствовать мученикам. Агриппа для меня был Богом. Я никогда не понимал, почему к нему такое равнодушие — не только у нас, во Франции ужасное равнодушие. Хотя во Франции есть то ли Академия, то ли Общество Агриппы и до сих пор много кальвинистов. Жорж Нива — кальвинист, оказывается. Так вот когда я стал его читать по-французски, вникать в него, я понял, что он поэт дантовского хода, он эпический, великий поэт. Которого французы отдали в пустоту.

Н.И.: То есть сами французы его не прочитали?

А.Р.: К нему пришли в конце XIX века, его открыл, между прочим, Бодлер, а Гюго шел путями его.

Н.И.: Вас тогда что зацепило: судьба или текст?

А.Р.: Там все на свете было.

А когда стали делать французский том в БВЛ, мне позвонила Сельма Рубеновна Брахман: «Что вы хотите взять?» И я сказал, что буду переводить только Агриппу д'Обинье. Но она дала еще много чего... Судьба интересная. Эта эпоха увлекала меня со времен, когда я читал «Юные годы короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV» Генриха Манна. Потрясающая личность. А потом я еще прочитал... Шаброль — не киношный, а романист, Жан-Пьер — написал о нем роман «Козел отпущения». Очень интересный роман, у меня он есть на французском. Надо бы перевести. Как бы это сделать?.. Сейчас возьму Агриппу... (*Подходит к книжному шкафу.*) Не могу найти... А, вот я что сделаю...

Н.И.: Александр Михайлович, а зачем вам книга?

А.Р.: Статья у меня там есть. Понимаете, я стал склеротиком, имена забываю... Имена Ив*а*новых забываю... Вот. Четыреста пятьдесят восемь. Так. (*Читает.*) «Вспомнил Гюго, который старался изо всех сил повторить яркую поэтику Агриппы, оживить приемы барокко, отчасти соответствующие задачам романтизма; он использовал названия книг Агриппы в своих книгах». ...Так, «Бодлер, находивший в его стихах много близкого себе и цитировавший их...» (*радостно*) Вот, Сент-Бёв! «Если было бы возможно в одном человеке воплотить целое столетие, д'Обинье стал бы живым воплощением своего века. Интересы, пристрастия, добродетели и предрассудки, верования, образ мыслей его времени — всё нашло в нем высшую форму проявления». Сент-Бёв написал о нем огромную работу, где сказал, что Агриппа д'Обинье был самой крупной личностью этого века во Франции — наряду с королями. Вот откуда Агриппа пошел.

Н.И.: А из тех, кого вы еще переводили, кто-нибудь рядом с ним стоит? Не обязательно французы, с разных языков...

А.Р.: Он сам преклонялся перед Ронсаром. Но я думаю, что он лучший французский поэт всех веков. Он равный Шекспиру поэт. Поэт, равный Гете, равный Милтону, он великий поэт. Французы упустили свое величие. (*Возмущенно.*) Гюго! Поэтому-то Стендаль, по-моему, когда его спросили, кто лучший французский поэт, и сказал: «*Увы*, Виктор Гюго!» Напыщенный Виктор Гюго. Хотел подыматься на цыпочки и быть Агриппой д'Обинье. А у него не получалось.

Я перевел на французский язык Лермонтова, знаете, да? Книга вышла.

Н.И.: Там же, по-моему, и цветаевские переводы?

А.Р.: Да, в этой же книге.

Н.И.: И как вам?

А.Р.: А я покажу сейчас. (*Снова идет к книжному шкафу.*) Вы сами решите, как. Я вам переведу на русский, как она перевела. Талантливая была, гениальная поэтесса. Она была гениальна, но она перевела так... Вот, у меня совпадение — «Прощай, немытая Россия». Она перевела: «Прощай, страна, изъеденная вшами».

Н.И.: Завшивевшая страна.

А.Р.: А я сделал просто — «грязная Россия»... Я понял одну вещь — что французы не тянут по духу на наш плачущий уровень! И даже великие французы не передают этого перехватывающего горло странного шизофренического плача Лермонтова. Пушкин и Лермонтов — у них такого уровня не было ни одного поэта и быть не могло!

Н.И.: Александр Михайлович, а у них был тот тип поэта, который в России был: такой властитель дум — как явление?

А.Р.: Бывало, но... Демонизм. Бодлер. Гюго тоже. Великий поэт. Но, не знаю, *другое* величие.

Н.И.: А почему у нас сейчас такой тип поэта не востребован?

А.Р.: Потому что мы стали такими, как Запад.

Н.И.: Какими? И почему так быстро ушло?

А.Р.: Не быстро. Долго испарялось. За весь XX век испарялось. Но в XX веке только в России сохранилась великая поэзия.

Н.И.: Это кто?

А.Р.: Пастернак. Блок.

Н.И.: Пастернак на первом месте, потом Блок для вас?

А.Р.: Не знаю... Пастернак кланялся Блоку... Андрей Белый... Кто?.. Маяковский! Вчера мне позвонила одна поэтесса, славная женщина. Говорит, вот Ахматова — гениальный поэт, а Маяковский нет. Ахматова *рядом* с Маяковским не стоит! И я ей стал читать, что пишет о нем Пастернак — что это христианский вопль в пустыне. Неужели *такой* Маяковский? Да, именно такой.

«Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!»

А?! Каково?

«Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.

Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.

Делай что хочешь.
Хочешь — четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!»

Н.И.: Александр Михайлович, так почему же в XX веке, когда было немерено боли и страданий, это, как вы говорите, испарялось, почему такая поэзия уходила?

А.Р.: Обездушивалась. Сейчас есть попытка быть поэтами. Но не получается. У меня друг был и ученик, Анатолий Кобенков, он жил в Иркутске, потом переехал в Москву и умер. Он издавал русскую поэзию, связанную с Сибирью, и вообще любимую свою. И первые две книги были Рубцов и Левитанский. Я прочитал того и другого. Рубцов должен бы мне быть чужой поэт — «деревенщина» и тому подобное... За душу берет Рубцов! А Левитанский — пустой. И Самойлов такой же был. Души не те. Я сейчас читаю новую хрестоматию для старшеклассников, где собрана поэзия второй половины XX века и начала XXI. Там такие поэты есть, во! Вениамин Блаженный, знаете?

Н.И.: Прекрасный был в Минске поэт.

А.Р.: Хотя мне тут сказали, что я лучше поэт, чем Блаженный, — в нем смирения нет. Но все равно замечательный поэт, плачущий поэт. Поэзия плакать должна и рыдать. Вот почему не получился Лермонтов у французов — не рыдает.

Н.И.: А поэзия того же Маяковского или наш XIX век...

А.Р.: ...(*перебивая, настойчиво*) рыдающая поэзия Маяковского!

Н.И.: Я о другом — о смирении.

А.Р.: Это богоборчество. А богоборчество допускает веру. Маяковский — богоборец, он признает Бога, он борется с Ним, а для атеиста нет ни Бога, ни дьявола. Пустота. Когда я маленький был, я деда своего спросил, доктора, он был дарвинист, учился еще у Пирогова военной хирургии, так вот, я спросил: «Дед, дядя говорит, что я от обезьяны произошел, а бабушка говорит, что от Бога. От кого я?» Четыре года мне было. Дед говорит: «От обезьяны». Я говорю: «Значит, маленький я был обезьяной?» Он говорит: «Нет, не ты был обезьяной, предки были обезьяны». — «А кто такие предки?» — «Предки — деды». — «А, дед, так когда ты был маленький, ты был обезьяной!» Вот что такое атеизм. Поэтому я и пришел к Богу потом.

Н.И.: Потом — это когда? В войну?

А.Р.: Я написал об этом в книге своей. Во время войны я задумался о Боге. Потому что все говорило о том, что Он есть. Он меня спасал. Зачем?..

Н.И.: А как вы теперь думаете — зачем?

А.Р.: «Я лежал на четырех ветрах, молодой безбожный вертопрах, почему-то береженный Богом»... *Почему-то.*

Так вот о «немытой России». Вы поняли мою оценку Цветаевой. Она заигрывалась. Но она была великая поэтесса. И Бродскому я многое простил, потому что он за Цветаевой шел, а не за Ахматовой своей любимой.

В русской поэзии действительно есть что-то непередаваемое, не передаваемое ни на один язык. Что? Вот *что-то*. Пушкин и Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Баратынский, Блок... все они... Там плач, понимаете, там скуление. Я об этом написал так: «В России бабы плачут, а кобели скулят». Вы напечатали эти стихи у вас в журнале. «И видно потому-то извечный в горле ком, в душе тоска и смута и говоришь стихом». Скулят. И плачут. В западной поэзии такой открытости нет. Это опять Достоевский идет. Я поэтому сейчас написал в предисловии к книге Кобринского, что все революции, пришедшие с Запада, французские и английские, Кромвель и Робеспьер, несли несчастье людям, перевороты, братоубийство. А об этом никто не задумывался. И Россия приняла это все. Эти идеи.

Н.И.: А к 1991 году как вы отнеслись? Это тоже была революция?

А.Р.: Мне трудно судить, потому что я ждал развала.

Н.И.: «Ждали» — что значит: ожидали или хотели?

А.Р.: Ожидал. Очень давно. Смутно, непонятно почему. Что-то подсказывало, что это должно кончиться. Не может это долго быть. Такой несправедливости, какую мы получили от Сталина и от Гитлера, ни у кого не было. С другой стороны, победить Гитлера мог только Сталин — тоталитарный режим мог победить только другой тоталитарный режим, демократия не могла.

Н.И.: Александр Михайлович, а то, что Советский Союз распался, это вами переживалось?

А.Р.: Империя рухнула. Все-таки жалко.

Н.И.: Когда мы сейчас рассуждаем о нашем прошлом, обычно говорим: ну, это было еще при царе — или там при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине... Жизнь отдельного человека пристегнута к политической эпохе.

А.Р.: Нас учили, что личность не играет роли в истории. Это марксизм. А на самом деле личность играет огромную роль. Сталин и Хрущев определяли эпоху, конечно. Такая эпоха была, она заслуживала Сталина и Хрущева. Так Бог судил.

Н.И.: А для вас самое интересное время было когда?

А.Р.: *(не раздумывая)* Когда я был молодой.

Н.И.: До войны?

А.Р.: И до войны тоже было интересно.

Н.И.:

«Сидел я за столиком в гулком подвале,
приморское лето поило меня допьяна
облаками, огнями, плеском листвы на платане,
красным соком заката, пламенем желтым вина,

осыпало пылающими плодами
в плетеных корзинах,
блеском красивых и некрасивых
ослепительно карих очей,
легким полетом качелей,
саксофонов, виолончелей.

Ну при чем здесь война?
Просто пестрое лето,
Страна Девятнадцати Лет.
Было — и нет.

/.../А потом мы ушли из подвала
навстречу редеющим фонарям,
навстречу ветрам, в уличный узкий проем
мы шагали втроем
походкой, привычной к походному строю,
трое
недавних курсантов,
мальчишки в скрипучих ремнях.
(Где-то ночные сирены
уже ревели ревмя,
где-то уже снаряды свистели,
где-то стреляли по цели).
Шли мы навстречу стрельбе,
навстречу судьбе».

Я когда-то делала интервью с очень хорошим белорусским прозаиком Виктором Козько. Он из поколения «детей войны», на довоенное время выпали вообще какие-то копейки, но именно эти два или три года он считает детством, то, что было потом, — уже война. При этом тогда ему не казалось, что это что-то необычное, нелюдское, для ребенка это было естественное состояние — жить в норах-землянках, прятаться от немцев, когда на тебя охотятся, как на зверя...

А.Р.: Мой племянник, Виктор Николаевич Павлов, сестры моей Софки сын, в Ростове живущий, в Бога не верящий, хороший человек очень, теперь огромного роста, седой, во время немецкой оккупации, маленький, носил красную звезду на шапке. Романтизм...

А война — это была катастрофа, полная катастрофа.

Однажды французский писатель русского происхождения Александр Блот (Подболотников, из белогвардейских эмигрантов первого поколения, он участвовал во французском Сопротивлении) спросил меня: мол, папа был белогвардеец, а я воевал за советскую власть — почему? Да не за советскую власть — за Россию! И он сказал: мы в Париже тоже воевали за Россию в подполье. За Россию — там. Существует такая странная вещь, которая называется патриотизмом. Она заложена с рождения в человеке — любовь к своей улице, к своему двору, к своим мальчикам-девочкам. А ложный патриотизм, он же ведь придуманный, надуманный, эти люди, которые его прокламируют, они никого не любят, без любви живут, поэтому у них поэзии и нет.

Н.И.: А у кого сейчас есть поэзия?

А.Р.: К сожалению, может быть, только в России. На Западе поэзия погибла. Давно. Я прочитал книгу Соломона Волкова «Диалоги с Бродским». Бродский, любя американскую, английскую поэзию, глубоко ошибается — там погибла давно поэзия, и поэтому он, ошибаясь, принимает даже фашизм Эзры Паунда, признает, проговаривается об этом, что Гитлера тоже можно любить — сильная личность. А сильные личности нельзя обожествлять — есть Господь Бог, который несравним с человеками. Смирения нет! Ни смирения, ни любви к ближнему.

Н.И.: Александр Михайлович, а из поколения наших военных поэтов кто интереснее вам всего, кто ближе?

А.Р.: Не Твардовский, он меня всегда раздражал.

Н.И.: Чем?

А.Р.: Сказочки писал. «Тёркин» — это вещь ложная, лживая. Солдат гиб. Поэтому я написал поэму «Начало».

Н.И.: А как же «Я убит подо Ржевом», «В тот год, когда окончилась война»?

А.Р.: Если бы там не было риторики. Позиция правильная. А большой поэт оказался рядом с ним — слепой, не бывший на войне Исаковский. «Враги сожгли родную хату» — вот великая поэзия.

Н.И.: А проза?

А.Р.: Некрасов. Если бы хорошо писал Гроссман, может быть, Гроссман. Но Гроссман плохо писал.

Н.И.: И Сталинград некрасовский — это ваш Сталинград.

А.Р.: Это мой Сталинград. Очень близкий, похожий на мой. И такая же беспощадность к войне.

Н.И.: Ну а Виктор Астафьев?

А.Р.: Не знаю... Мне не нравится военная проза Астафьева за истеризм. Испуганный солдат, который прожил тяжелую войну.

Понимаете, какая вещь... Была ли великая русская проза в XX веке? Была. Небывалая проза. Горький. «Клим Самгин», «Дело Артамоновых»...

Н.И.: Вы делите литературу XX века на советскую и несоветскую?

А.Р.: Я не люблю прозы эмигрантской. Они потерялись. Ну, «Жизнь Арсеньева» Бунина, конечно, хорошая вещь.

Н.И.: А Набоков, Газданов, Осоргин, Шмелев, Алданов?..

А.Р.: Не те уровни... Я видел гибель нации тут. Я понял, каково было эмиграции там, и понимаю, почему не получилась там литература. Весь Набоков — на потребу. Он хотел производить впечатление, а писатель не должен производить впечатление, он должен выражать себя. Но такой человек был Набоков. Мне сказали, что надо прочесть «Дар». Я прочел. Не жалко мне его героев. Он сам никого не жалеет. Безжалостный был. И папу не любил, и маму не любил своих. Такого уровня писателя, как у нас был Платонов или даже Бабель, не было у них... В русской поэзии зарубежья был Ходасевич.

Н.И.: Александр Михайлович, а как вы вообще начали стихи писать?

А.Р.: Маяковский. Да, Маяковский.

Н.И.: Что прочитали?

А.Р.: Да все. «Левый марш». Небывалая поэзия. А потом Есенин пришел. А перед этим был Пушкин — маячил в детстве.

Н.И.: И захотелось самому попробовать?

А.Р.: Да.

Н.И.: А начали писать когда?

А.Р.: Лет двенадцать, наверное, было, тринадцать.

Н.И.: Но после школы все равно пошли не в гуманитарии.

А.Р.: Не думал об этом. Пошел на войну, в пограничное училище. Мама меня уговаривала быть гуманитарием все время. Говорила: «У тебя склад гуманитарный». Она умная была, мама. Кончилась война. Я приехал в Ростов, в Москве не прописывали — как военнопленного. Штрафник. Хотели меня, калеку, послать в ветеринарную академию. Не взяли — опять-таки потому что был в плену. После войны снова начал писать стихи. Почему — не знаю. Поступил в университет. Там встретился со своим другом на всю жизнь Бочаровым. Бочаров был солдат. Высокого роста, красивый. Безрукий. Миша, Михаил Дмитриевич. Я учился на первом курсе на историческом, а он на филологическом факультете. Он писал стихи под Маяковского, вот мы и сошлись с ним на этом. У него хорошие стихи бывали. А потом он в одночасье бросил писать и стал советским профессором.

Н.И.: А вы как раз с тех пор и начали писать.

А.Р.: А я остался. И он все время обо мне говорил с восторгом, Бочаров — вот, Ревич Алька какой, сукин сын, а? Пишет стихи! Неплохие, говорит. Приехал ко мне перед своей смертью. Он в Таганроге, по-моему, служил, был там проректором. Ученик Метченко. И я прочитал ему стихотворение о бабах на войне свое. Он говорит: «Что ж ты делаешь, что ж ты меня плакать заставляешь?»

Н.И.: Как же вы все-таки попали в Москву и в Литинститут?

А.Р.: У меня было две тетки, которые оказались без квартир в Ростове. Из Москвы переехали. Я уже был женат. Я приехал в Ростов учиться, взял свою квартиру и отдал им. И год с ними прожил. А потом вернулся в Москву и поступил в Литинститут.

Вы спросили про поэтов военного поколения. Меня тут недавно студентка моя спросила, чьи это стихи — «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели»?

Н.И.: Гудзенко.

А.Р.: Почему не нужно жалеть? *Надо* жалеть. Надо *жалеть*!

Н.И.: Тут, наверно, и советская идеология, и такая мужская гордыня — жалость унижает.

А.Р.: Он славный был малый, Гудзенко. Он из них самый лучший по-человечески был. В 46-м году мы однажды встретились в Литинституте, он подошел, погладил меня и говорит: «Ты что такой грустный?» Я говорю: «На траву хочу». «Ребенку на травку захотелось», — он сказал. Симонов никогда бы такой вещи не сказал.

Н.И.: А вы ведь ровесники примерно были.

А.Р.: С Гудзенко — да.

Н.И.: Межиров, Слуцкий, Винокуров… — все это ваше поколение.

А.Р.: Самый лучший из них по мне все-таки Межиров. Хотя тоже несостоявшийся поэт. Он это понял сам. Они все не доросли до Бога.

Н.И.: Ну так какая эпоха была…

А.Р.: Почему я составил книгу Сельвинского и написал предисловие? Сельвинский был большевик. Коммунист, не понимающий, что от него хотят. В Бога не верил. Но в нем было какое-то чувство… некой правоты, и он чувствовал *не*правоту. И вся его поэтика создает тот самый «бальзаковский» эффект: монархист Бальзак в своих романах оказался противником капитализма, сам не понимая этого как художник. Когда вы меня спросили, что лучшее в поэзии о войне, я сказал — «Враги сожгли родную хату». И «Лебединое озеро» Сельвинского. Потрясающая поэма.

Н.И.: Александр Михайлович, но ведь Сельвинский в своих убеждениях не одинок — ваше поколение, мальчики, уходившие на фронт, в этом многие признаются, я сама расспрашивала об этом Григория Наумовича Чухрая, они до войны романтически верили в социализм.

А.Р.: Верили. И это беда и всех шестидесятников — романтическая вера в социализм.

Н.И.: Вы тоже так думали?

А.Р.: В социализме есть одна хорошая вещь: он меня научил быть не-собственником, отрицать собственность. И за это бескорыстие мое — спасибо социализму. А больше — ни за что. Потом, я — другой случай. Никто из них не был в штрафбате. А я был. Никто из них не был преследуем Сталиным — за плен. Мне когда-то Шервинский сказал такую фразу: «У вас тема есть — плен». Я тогда это не очень понял. А теперь я понимаю. Я урод среди них всех**.** Вот та школьная хрестоматия, о которой я вам говорил. Кто там хороший поэт? Тряпкин. Рубцов. Межиров ничего. Очень хороший Блаженный. Тарковский хороший поэт. Вот трагедия: Тарковский голодал, и ему какой-то белорусский композитор подсказал — слушай, давай напишем песенку одну с тобой о Сталине, и будешь богатый. «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!»[1] И под этот мотивчик он стал кушать хорошо. Понимаете? А чувства у него к советской власти были плохие — дворянина, да еще украинско-польского, такого, знаете, шляхтича.

У меня был родственник, двоюродный дед — Вениамин Сангурский, знаменитый бас, он в Гранд-Опера и в Ла Скала пел, с Шаляпиным пел, настоящий бас такой был. Когда с голосом худо стало, он вернулся в Россию, старый уже был, и друг его Паторжинский, украинский бас великий, устроил его в Киевскую консерваторию профессором. Приезжал к нам и всегда матом ругал советскую власть. Бабушка моя говорила: «Веня, что вы делаете, вас же посадят!» Он говорил: «Ничего, за правду пусть сажают». Ничего не боялся. И остался жив. Умер уже во время войны от флегмоны. А я слышал это все своими ушами. И папа мой терпеть не мог советской власти.

На моих глазах, с детства, происходила гибель нации. Папины друзья — белогвардейские люди. Сережа Краснов — родной племянник атамана. Лейтенант флота. Они не казаки были. Краснов же был наказный атаман — назначенный туда. Сережа меня учил боксу и борьбе, плавать научил. Спортсмен был замечательный. Потом его расстреляли. Николай Александрович Коренев, полковник генерального штаба, стал

[1] Канонический текст: «Тост наш за Сталина! Тост наш за партию! Тост наш за знамя побед!».

виолончелистом, учился у отца. Он играл в кабацком оркестре, чтобы заработать на жизнь.

Так что я отличался от них, я немножко другой был. И я плохо отношусь к шестидесятникам — они слепо верили в возможность социализма. А я никогда не верил. Так судьба складывалась. Может, я поэтому так и выписывался, понимаете?..

Н.И.: Александр Михайлович, вас ведь очень долго публиковали только как переводчика. А когда вы начали печататься как поэт?

А.Р.: «Так семь десятков лет на свете прожил/ и только на восьмом заговорил». Бога я учуял только сейчас.

Н.И.: В книге «Позднее прощание», таком «избранном» вашем, пожалуй, самый большой корпус стихов, написанных начиная с девяностых.

А.Р.: Ну, я не свалился с неба, понимаете. Во второй половине сороковых и в пятидесятые я написал поэму «Начало», но ее никто не понял.

Н.И.: Поразительной силы поэма. Такое пьянящее чувство жизни в начале, в «Стране Девятнадцати Лет», и этот очень точно найденный ход, когда поэтическая ткань, как скальпелем по живому, прорезается протоколами смершевских допросов:

« — Как же вы, лейтенант, угодили?..
— Очнулся, когда уже был окружен мотоциклистами.
— Но ведь вы не были ранены?
— Нет. Только расшибся, когда убило коня.
— Почему вы не застрелились?..»

И — как продолжение допроса — жесткие вопросы самому себе:

«Может быть, легче — пулю в лоб? —
ни ожиданья, ни муки.
/.../Может быть, пуля — и навзничь в лог —
лучше этих дорог,
этих испуганных детских глаз,
этих безмолвных детских слез,
этих задранных к небу колес,
этих крест-накрест бумажных полос
на окнах заброшенной хаты?..
Лучше этих пылящих колонн,
этих согнутых плеч и колен, этой попавшей в полон,
в плен
разоруженной пехоты?..»

Но и этот, последний по времени, период очень мощный и удивительно интенсивный.

А.Р.: Стал дорастать до себя. А печататься я начал так. Сидел я в ЦДЛ, кто-то из поэтов еще был. Меня раскололи пьяного читать стихи. С нами сидело три человека: мальчик Чухонцев, Илюша Суслов и Юра Ряшенцев. Они все работали в «Юности», Олег Чухонцев в это время стал заведовать там поэзией. Это был, кажется, шестьдесят второй год. Я уже переводчиком известным был. Они обалдели и сказали — завтра к нам, со стихами. Я принес им стихи, и через несколько дней большую подборку поставил в один из очередных номеров только-только пришедший туда главным редактором Полевой. Оказывается, понимал поэзию.

Н.И.: Александр Михайлович, а вы в эти дни не смотрели по «Культуре» цикл воспоминаний Кушнера «о времени и о себе»? Нет? Так вот он там сказал — я поэт без биографии.

А.Р.: Не может быть этого! Поэтому он такой скучный. Умный человек, но этого мало, чтобы быть поэтом.

Н.И.: Биография обязательна?

А.Р.: Без биографии ничего нет — ни Байрона, ни Лермонтова, ни Шекспира, ни Агриппы д'Обинье. Поэзия — удел больших людей.

Н.И.: Но есть ведь люди, для которых творчество — это способ понять себя. Можно назвать это самопознанием, можно — самокопанием (и заскучать). И есть люди, для которых это способ познать мир, сотворить какой-то собственный мир.

А.Р.: Пастернак об этом написал очень хорошо:

«Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха и успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
/…/
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать».

Себя нельзя познать! Поэзия — непонятная вещь. Поэзия — это то, что рвется из горла. Плач. Вот когда Лермонтова переводил, я понял. Когда он написал эти замечательные стихи: «Зачем я не птица, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной?..» Ему туда захотелось романтически, в Шотландию, к своему Лермонту Томасу, прадеду какому-то, а может, он и не был ему прадедом, Лермонтов там, как Ивановых.

Н.И.: Александр Михайлович, вы все время называете Лермонтова, Маяковского. А перечитываете кого?

А.Р.: Пушкина.

Н.И.: Прозу, стихи?

А.Р.: И прозу, и стихи читаю. Гоголя читаю. Достоевского читаю, между прочим, перечитал «Бесов» недавно. Невероятие. Перечитал потому, что писал о революции. Понимал он все-все-все.

Н.И.: Зацеплюсь за Пастернака, которого вы процитировали. Сейчас один из главных критериев при оценке человека — успешность. Для вас это существенно?

А.Р.: Нет. Поэт — это вообще неуспешность. К Блоку пришла женщина, какая-то его знакомая, принесла стихи своего сына-гимназистика. Он почитал. И когда она пришла в другой раз, чтобы узнать его мнение, она его спросила: Александр Александрович, мой, там, Петя может сделать карьеру поэта? Он сказал: к вашему сведенью, поэт — это не карьера, это несчастная судьба. Если этого нет, нет поэта.

Н.И.: Вы все время говорите — «плач», «скулеж», «несчастная судьба»…

А.Р.: А у страдающего человека и радость другая. Поэтому столько пустых успешных мальчиков. Нельзя быть счастливым поэтом.

Н.И.: Не бывает?

А.Р.: Нет. Им только кажется, что они поэты.

Н.И.: О том, что ваши поэмы вырастают из жизни, пишут многие. Но они выстраиваются в некие мемуары.

А.Р.: В мой роман.

Н.И.: Я бы даже подчеркнула определение — биографический роман, роман-воспоминание. И если процитировать того же Пастернака — «и здесь кончается искусство, и дышат почва и судьба», — у вас есть и почва и судьба…

А.Р.: …почва — это великая вещь.

Н.И.: Но в вашем случае и искусство не кончается. Если у Лилианны Лунгиной, чьи воспоминания — одно из событий последних лет, книжка названа «Подстрочник», то тут не подстрочник, тут чистовик получается. Не чистописание — литература, поэзия. Роман судьбы, автобиографический роман в стихах — я такого даже и не вспомню больше.

А.Р.: Пушкин. Сплошной роман в стихах. Весь Пушкин, целиком. С «Дубровским», с «Пиковой дамой», с «Капитанской дочкой».

Н.И.: Но биографии там…

А.Р.: …Арап лезет со страшной силой! Арап. Лермонтов то же самое. Демон — это ведь он.

Н.И.: Но все-таки — заслонившийся героем, придуманным образом.

А.Р.: Не-ет, он. Грузия — а он. Мцыри — он. Этого не понимают маленькие люди.

Почему я не люблю Самойлова. Он написал стихотворение о том, что вот гении ушли, а теперь нам все можно. Ну, вот такое «все можно».

Н.И.: Нет, ну у него же не радость от вседозволенности, а как раз горечь, он же сетует, что планка снизилась.

А.Р.: Потому что он понимал, что он не гений, чувствовал, что он не тянет, не тянет, не тянет!..

Н.И.: Думаю, найдется немало его поклонников, готовых с вами поспорить. А вообще ведь говорят, что сейчас время маленьких людей.

А.Р.: Трудно сказать. Сейчас большие люди бывают. Я встречаю больших людей очень часто. Большим человеком был Аркадий Штейнберг.

Н.И.: В ваших заметках о нем есть очень неожиданное наблюдение, что он из той породы людей, которые находят радость даже в тюрьме и под артиллерийским обстрелом. Кстати, если говорить о ваших «Записках поэта», я, когда читала ваши размышления о Георгии Шенгели, все время думала, что вы пишете о себе: и про «книгу жизни», и про неспособность вписаться во время, и про перекрытый кислород. И когда вы пишете про то, что его замалчивали как поэта, и о его любви к переводческому делу — в противовес расхожему стереотипу о переводе как мучении, идущему от признаний Ахматовой и Тарковского, и о следовании стиховой традиции, и о новом типе поэмы, где стих берет на себя функцию прозы… — все это ведь и о вас тоже.

А.Р.: Совпадение получилось. Шенгели крупный поэт.

Н.И.: И через него вы пытались сказать о себе.

А.Р.: Конечно. Близко мне. И о Блоке писал — тоже о себе.

Н.И.: А что вспоминаете чаще всего?

А.Р.: То, о чем пишу. Припоминается, припоминается, припоминается… Вот вы будете печатать в «Дружбе народов» поэму о девочке Светлане. (*Спросив, есть ли у нас время, Александр Михайлович прочитал мне всю поэму, четким почерком переписанную в большую общую тетрадь*.) Так оно и было. И последний школьный бал. И я действительно встретил нищенку у храма после войны — девочку, с которой учился. Как это страшно… Она от меня отшатнулась, как от нечисти… Вот об этом я и вспоминаю. Вспоминаются разные неожиданные вещи.

Н.И.: Есть какое-то время, которое чаще вспоминается, или люди?

А.Р.: Сейчас пошло детство почему-то.

Н.И.: А кого вы могли бы назвать главными людьми своей жизни?

А.Р.: Все, кто жил со мной. Даже Гинзбург, и тот человек моей жизни, хотя он был моим гонителем, терпеть меня не мог, не знаю, за что, и я его не любил, чужой был.

Н.И.: У вас сложно складывались отношения в среде литературной?

А.Р.: Плохо иногда. Вы знаете, меня любили неожиданные люди. *(Улыбаясь.)* Тряпкин меня любил почему-то.

Н.И.: В литературной среде настоящие дружбы могут быть? Или это исключительно конкурентная среда?

А.Р.: Я хотел дружить со всеми. Не получалось.

Н.И.: Вы по складу одиночка?

А.Р.: Я человек компанейский, но получался одиночкой, выпадал.

Н.И.: Почему?

А.Р.: (*пожимает плечами*) Не знаю. Выпадал.

Н.И.: А друзья есть через всю жизнь?

А.Р.: Миша Бочаров. Илья Крупник, он тоже учился с нами в Ростове, а потом в Москве. Очень хороший рассказ написал сейчас, читал мне по телефону. Всего полторы странички.

Н.И.: Александр Михайлович, а что останется от нашей литературы XX века — от тех, кто не уехал?

А.Р.: Толстой.

Н.И.: Он для вас не в XIX веке — в XX?

А.Р.: В XX. Он умер-то в десятом году.

Трудно сказать, кто еще. Мы можем ошибаться… Хотя что же это я говорю! Горький останется. «Тихий Дон» останется, не важно, кто написал. Шолохов не мог написать, это я точно знаю. Мой отец, воевавший где-то под Польшей в Первую мировую войну, он тогда еще вольноопределяющимся был, говорил: я не могу

понять — мальчику было тогда тринадцать лет, как он мог видеть то, что я видел! Это было написано очевидцем... Но и Шолохов останется. Как ни странно, останется Платонов. Беда советских писателей — они писали о том, что все знали. А Платонов писал о том, что никому не известно. Маяковский останется. Пастернак. Булгаков вторичный, завышенный писатель, но талантливый, он останется. Останется Бабель отчасти — очень сильная его «Конармия», документ жути. Какими-то кусочками Эренбург может остаться — из прозы. Может остаться Катаев — как ломаная фигура. Алексей Толстой. Пришвин... Напоминайте мне писателей, а я буду говорить — останется, или нет.

Н.И.: *Блок, Ахматова, Есенин.*

А.Р.: Ну, останутся, конечно. И Есенин останется обязательно, хотя Ахматова отрицала Есенина, а Пастернак нет. Заболоцкий — может, останется, а может, нет, не знаю. Тарковский может остаться. Неожиданно Штейнберг может возникнуть. Замечательная последняя книга его. Кто еще? Называйте.

Н.И.: Зощенко?

А.Р.: Непременно останется!

Н.И.: Любите?

А.Р.: Это паспорт века.

Н.И.: Домбровский?

А.Р.: Останется, конечно. Хороший писатель. Одно время мы даже с ним дружили, пили водку вместе.

Н.И.: Твардовский, Симонов?

А.Р.: Симонов уйдет, Твардовский останется как явление, понятно, почему Бунин его ухватил — он народен...

Знаете, кого я сейчас читаю? Андрея Белого.

Н.И.: А почему захотелось?

А.Р.: Узел века. Конец века и начало века — это важно. Между двух революций — очень важно. Вообще Белый — великий поэт. Он тоже останется.

Н.И.: «Петербург» — потрясающая вещь.

А.Р.: Это поэма. Стихи.

Н.И.: Тонино Гуэрра, практически ваш ровесник, недавно в каком-то интервью признавался, что отдаляется от тех чудес, которые созданы человеком, даже от великого искусства — он восхищается им, но уже не погружается в него. Гораздо созвучнее, нужнее, важнее для него совсем другие вещи — скажем, дождь. Поразительная фраза, поразительное ощущение: «Это великое событие — дождь. Такое же великое, как снег».

А.Р.: Конечно! Это понимают поэты. Природа и мы едины. Природа действует на нас с такой силой, что мы через это познаем и Господа. Потому древние язычники воспринимали каждое природное явление как отдельного Бога. Вообще монотеизм — удивительная вещь. Я поэтому и написал поэму «Звездное небо». Как это пастух, мальчик мог догадаться о таком — о том, что Бог един.

Н.И.: Вы в церковь ходите?

А.Р.: Я не хожу, но ко мне ходят, на днях ко мне отец Павел должен прийти. Нельзя отрицать одного очень важного явления в вере — соборности. Храм, церковь, соборность — это великая вещь.

Н.И.: Соборность ведь всегда считалась и качеством, присущим русскому народу.

А.Р.: Соборность — это свойство христианства. Потому-то русский народ и принял христианство византийского типа.

Н.И.: Александр Михайлович, а в чем опоры, в чем силы берете?

А.Р.: В детской слепой вере.

Равиль Бухараев

Таежный вертоград

Повесть

Потому-то я и лелею свое бедное сердечко.
Оно ни в чем не знает отказа.

И.В.Гете. «Страдания молодого Вертера»

1.

Озеро и ночью не лежало без дела — творило облака. Над его размашистым плесом порознь складывались из клубящейся над водой дымки причудливые туманные замки, дворцы и храмы; они вырастали, формами становясь все объемистей, а контурами и очертаниями все прихотливей и замысловатее, а потом вдруг, и тоже поврозь, отрывались от темнеющей глади и медленно восходили по вертикали — к мерцающим в бездне звездам.

Если в такое полночное время человек оказывался посреди Озера на лодке без весел и со сломанным мотором, то в полнейшей тишине вполне справедливо сдавалось ему, что он пребывает на самой крайней черте, на самой грани между двумя зияющими черными безднами — звездной и водной, отвесно уходящей в карстовые глубины метров на триста или даже более.

Вода в Озере была такая студенисто-холодная, а звезды над нею казались и были столь безразличными к человеческим печалям, что становилось очевидно — только утлая дюралевая скорлупка, низкие серебряные борта и плоское, дощечками устланное днище ее и уберегают человека от притягательной силы этих двух природных пучин. И если человек оказывался совестлив или хотя бы имел привычку размышлять и задумываться, он быстро понимал, что он такое есть среди извечных вещей вселенной.

Удивительно, однако, как мало людей, обитавших в таежном поселке Яблочном и на считанных заимках и кордонах вокруг Озера с его почти неприступными для туристов скалистыми берегами, вообще вдумывалось в это. У озерных людей хватало хлопот и помимо облачных замков, и разве что Алеша Ничеев, человек в поселке новый и уже нелюбимый, был из тех двух, от силы трех местных обитателей, кто не считал житейские заботы оправданием будничного равнодушия ко всему, чего нельзя в конечном счете съесть, продать или просто пропить без остатка.

Было это лет тридцать тому назад, еще при советской власти, хотя частая, по меркам вечности, смена властей не слишком-то сказывалась на местной приозерной жизни. Жизнь здесь всегда была борьбой за выживание — и русские, и алтайцы

Равиль Бухараев — поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родился в 1951 г. в Казани. Окончил механико-математический фак-т Казанского ун-та (1974) и аспирантуру МГУ по кибернетике. Пишет стихи на русском, татарском, английском и венгерском языках. Печатается с 1969 г. Автор многих книг стихов, прозы, переводов, работ по истории ислама. Постоянный автор «ДН».

перебивались, как могли, незлым браконьерством, били кедровую шишку, собирали на альпийских лугах золотой корень, а на отвесных скалах — мумие, варили на продажу целительное масло из облепихи, рыбачили, а в остальное время делали вид, что трудятся в колхозе и госзаповеднике.

Так оно было, кроме разве колхоза, и тогда, когда на далекой южной оконечности Озера, где вливается в него бурная и стремительная горная река, еще только строился из могучих лиственничных срубов православно-миссионерский монастырь.

Так оно, помимо все того же колхоза, происходит и ныне, тридцать лет спустя, когда вековые срубы монастыря начали бесповоротно разваливаться от полнейшего равнодушия, бездействия и беспредела, наступивших вокруг Озера в новые времена рыночной демократии.

Все, что можно было продать — было скоренько продано на сторону, и на этом рынок как таковой кончился. Демократия, впрочем, осталась — в той ее части, когда каждый безнаказанно ругает власть, которой на все это плевать с растиркой.

Словом, люди есть люди. Все от них — от людей, и всякие исторические эпохи тут, как оказалось, вовсе ни при чем. Оправдание беспределу и бездействию всегда найдется — нечего долго искать.

И вообще — зачем без толку ругать настоящее и со страхом гадать о будущем, ведь и прошлое еще не прошло?

В ту приснопамятную разноцветную осень погоды на Озере весь сентябрь стояли солнечные, и в саду биостанции яблок уродилась неслыханная сила. Это была местной породы антоновка — множественные зеленые яблоки на отягощенных донельзя ветках наливались медовой желтизной и проникались прозрачным светом: крепкие были, словно и впрямь янтарные.

Яблоки, стало быть, удались на славу, но вот высокогорный, щедрый на шишку кедрач на тот год отдыхал, а ближайшие к поселку, поднимающиеся от Озера по крутым склонам кедры были мигом оприходованы и опустошены полосатыми бурундучками, рыжими белками и кедровками.

Поселок Яблочный, он и сам располагался на обширном некрутом склоне, восходя вверх от просторного галечного берега Озера несколькими деревянными, барачного типа домами.

Итак, в тот погожий и безветренный день Озеро, капризное и своенравное, вело себя смирно и мерно дышало — на крупную пеструю гальку с тихим переплеском накатывались его хладные, родниково-прозрачные волны. С пологого прибрежья широкой округлой бухты открывалась вся его полуденнная перспектива — долгим блистающим телом оно простиралось вдаль, притиснутое с обоих боков скалистыми горными массивами…

Ближе к поселку широкая лагуна лежала живым переливающимся зеркалом, и отражались в ней ошую и одесную под пронзительно-синим небом вечнозеленый кедрач и желтые лиственницы таежных холмов, вздымающиеся гранитными ступенями все выше и выше — к ледяным гольцам горного хребта, даже и летом покрытого ослепительно-девственными снегами.

Чтобы добраться до этих нетающих ледников, надо было сначала залезть по осыпающимся под ногами козьим тропам или по отвесным курумным распадкам в разнотравье альпийских лугов, где приземисто росли и матерели одиночные кедры с крепкими, обнаженными на скалах корневищами и пушистыми, игольчато-клубящимися кронами, а после пройти оснеженную горную тундру, густо заплетенную по каменным россыпям высокими травами, карликовой березкой, кедровым стлаником и кустарниковой ивой.

В эти высокогорные края Алеша еще в конце июня, едва минула в тайге ежегодная напасть энцефалитного клеща, удосужился взойти на сбор золотого корня с четой Кондрашовых, Виталием и его женой Ирой, единственными местными старожилами, которых, несмотря на их устоявшееся за годы пренебрежение к *москвичам*, почему-то не раздражали его заумные философствования и прочая бытовая никчемность.

Сегодня вот, по пути из сада в конюшню с подобранным в садовой крапиве

ржавым и прохудившимся ведром, полным яблок-паданцев, он задержался у стоящей на берегу под ремонтом двухэтажной дирекции заповедника и, засмотревшись на далекие вершины, вспомнил, как быстро наплывает и как долго держится там, наверху, сизый сырой туман; как сливаются с его подвижными расплывающимися клубами объемные кроны приземистых, коренастых, мускулистых кедров, и какая-то неведомая птаха все время спрашивает: «Вит-тю — видел? Вит-тю — видел?»

А еще вспомнил, как закатный свет падает на горную тундру — словно через оранжевый светофильтр, и все вокруг окрашивают красные, багровые, карминные лучи уходящего за горный хребет калиново-ярого светила. А позднее из-за кряжей выкатывается луна, и тоже не сразу: сперва над синусоидным профилем гор исподволь возникает и все истовее становится белое лучистое сияние, и уж потом она сама выкатывается колесом на антрацитовое небо: огромная — луна…

— Эй, москвичок! Опять замечтался? — окликнул Алешу с дощатых лесов Бугор, один из рабочих заповедника, вставлявших в ряд три окна во втором этаже действующей дирекции. Окрик был праздный — только чтоб уесть недавнего приезжего, который в своей брезентовой, с затягивающимся капюшоном куртке-энцефалитке неприкаянно мыкался возле стройки с ведром яблок и топтал золотую кедровую стружку кое-как зашнурованными туристскими ботинками.

Алеша, как всякий пришелец, нутром чувствовал, что надо чем-то отметиться возле местных мужиков, но по нескладности и глупой застенчивости своей никак не решался просто присесть на отесанные топором строительные бревна, чтобы вместе с мужиками послушать медвежьи рассказы молодого егеря Полубесова.

— Такая здоровенная машина вчера опять на пасеку приходила! Следы — во-о! — стращал мужиков егерь Полубесов в зеленой форме студенческого стройотряда и сдвигал подошвы рифленых ботинок, чтобы предъявить зрителям ширину медвежьей лапы.

Про медведей — это была чистая правда. Недород кедровой шишки заставил зверей сойти в ту осень с гор к Озеру: они безобразничали и в Яблочном, и на кордонах: ломали яблони, разоряли пасеки и даже задрали одну черную телочку возле самой метеостанции — на верхней оконечности поселка. Егерь Полубесов по такому случаю выпросил у областного начальства, для солидности по рации, разрешение на отстрел и вот уже два дня шатался по поселку в поисках человека, согласного не поспать ночь на пасеке, карауля зверя.

Сам он, сторожа косолапого, досиживал только до часу ночи и засыпал сном младенца. Так он сам говорил. Скорее всего, просто боялся идти на медведя в одиночку.

Мужики — рабочий заповедника Мишутин по прозвищу Бугор и Женька Варнаков, не заслуживший покамест в жизни даже клички-погоняла, с видимым удовольствием сачковали — сидели, свесив ноги, на древесных лесах и дымили бийским «Беломором». Им тоже вспоминались всякие правдивые, но чаще выдуманные медвежьи истории.

— Медведя тоже обижать нельзя, — говорил Женька. — Один вот из вольнонаемных пошел с кордона в тайгу с дробовиком. Мопед у него был — он на нем по колее на лесоповал ездил. Ну, увидел наверху медведя, пальнул сдуру — бок мишке обжег. Тот обиделся — и на мужика, а мужик — на мопед: едет, дымит, трещит, еще и педали со страху крутит! А мишка за ним — вприпрыжку, боком-боком, бежит, догоняет…. Мужик чуть не кончился со страху — не вспомнил потом, где и бросил свой дробовик-то. Ладно еще у кордона мужики сено косили — заорали, отогнали медведя. Тот порявкал, да и и ушел, обиженный.

— Ты бы тоже обиделся, если б тебя — ни за что ни про что — дробью. Развелось стрелков! Убьют — не убьют, только подранят зверя.

— Да подранка сами медведи и сожрут, — глубокомысленно вставил Бугор и пустил в небо дым колечком.

— Хоть бы Виталий поскорее приехал, — сокрушался некурящий, непьющий и всячески берегущий свое здоровье егерь, отмахиваясь рукой от папиросного дыма. — Он-то не проспит, самый заводной парень. Прямо Чингачгук таежный!

— Виталия нет. Обещал еще третьего дня приехать, а все нет, — лицемерно

вздохнул Женька, которого Виталий вечно гонял за душевное безделье и за работу, исполненную из рук вон плохо. Они с Бугром тоже ждали Виталия: мастер на все руки, он должен быть привезти им с ближнего конца Озера, из комбината по производству резных сувениров, накладные карнизы из цветного пенопласта, чтобы здание дирекции совсем уж превратилось в нарядный бревенчатый терем.

Ждал Виталия и Алеша, собираясь, как было обещано, отправиться с ним на лодке на дальний конец Озера за поспевшей уже облепихой. Так уж получилось, что квартировал он нынче на пропахшем высушенными березовыми и дубовыми вениками чердаке его, Виталия, баньки, которая вместе с коровником и свиным хлевом уцелела на отшибе от свирепого пожара, еще зимой сожравшего дом Виталия до последнего резного карниза. Погорельцы и сами еле спаслись, чего уж жалеть об утвари, которой, говорили на Озере, в доме такого хозяйственного мужика было немало. Было — да сплыло. Кондрашовы всей семьей, с семилетней дочкой и пятилетним сыном, перемогались в бане, пока долго и трудно строился новый дом — и опять резной, затейливый, с конусной крышей и высоким на столбиках крыльцом, совсем не похожий на местные избы и бараки.

В тесноте — да не в обиде. В этой спасительной баньке непритязательному Алеше было очень уютно — даже вечерами, при свете единственной свисающей с низкого потолка лампочки, позволяющей листать и почитывать книги — из тех, что остались от сгоревшей, но некогда со знанием дела подбираемой домашней библиотеки. Эти лежащие где ни попадя книги и альманахи, среди которых имелся даже четырехтомный словарь Даля, были бы вполне на месте в городской интеллигентной квартире, но в таежном поселке выглядели чудновато, как и их хозяева. Поговаривали поэтому, что старый дом Виталия сгорел не сам собой, а от чьей-то поганой зависти и лютой ревности к чужому душевному покою. Виталий и сам догадывался, что подожгли, но образа действий не менял, делал, что считал нужным, никого не корил и не поучал понапрасну. Потому, верно, он и был всем потребен, а порою и совершенно необходим.

— А бабка-то пасечница ужас как ругается! — продолжал сетовать Полубесов, — медведь вчера ночью два улика разломал, сегодня уж точно остальные доламывать притащится. Это который большой. А два, которые поменьше, в саду куролесят и поросят у жилья вынюхивают...

— Светка на дежурство ходить боится, — сказал Женька. — Возле самой метеостанции тропа-то у них, у медведей, то есть. Провожать приходится. А что зимой будет?

— Шишка не уродилась, вот они и сошли сюда, — буркнул Бугор. — На будущий год обратно, говорят, не будет ореха. А бабка за медведя медовухи бы выставила — уж точно...

Бугор зримо маялся с похмелья. Накануне приезжал с кордона Чири его младший брат с четвертью первача. Угостились. Брат с утра завел мотор и был таков, а Мишутин пробавлялся свежим воздухом Озера. В самом Яблочном по необходимости действовал сухой закон.

— А вот в прошлом годе работали мы по учету, — снова забалаболил Женька; и без того узкие алтайские его глаза хитро щурились. — Ходили, ходили по тайге, ноги убили, а маралов нет и нет. Наконец, подманили одного с Уховым, с бородатым — помните такого? Чуем, идет пантач, рявкает: притихли — ждем. Вдруг сверху слева — а там валун такой нависает замшелый — медведь как рявкнет! Ухов от неожиданности шапку потерял, переполошился, ну и выстрелил с перепугу. И — попал, вот штука. Подходим, а там в горе щель метров шесть глубиной: медвежья туша, оказывается, туда завалилась и застряла посередине где-то. Замаялись доставать. Ухов сам спустился на веревке; пока обвязал медведя снизу, я за ребятами сбегал — заимка-то рядом была. Ухватили веревку — тянем. Тяжело, мать его ети! Вдруг Ухов как заорет из щели — из-под медведя, значит! Оказалось, из медведя весь испуг полился на Ухова, а не отвернешься — щель-то узкая. Тянем и тянем. Вытянули медведя. Потом Ухова. Полдня отмывался Ухов.

— А что, по медведям разве можно стрелять? — вдруг подал голос Алеша. Он

вообще-то был неразговорчив. Его так и звали за глаза в поселке: «мешком пуганный». Москвичей, как сказано, здесь все недолюбливали за заносчивость и зримое благополучие по сравнению со всей остальной страной. Нервическую нелюдимость Алеши сразу восприняли как гордыню, и соответствующее отношение не заставило себя ждать.

— Статуя заговорила! — изрек Бугор.

— Хэк! — сказал Женька. — Того медведя давно съели, а Ухов уволился. Перед кем отчитываться-то?

— Нельзя в заповеднике стрелять. — ответственно заметил Полубесов. С тех пор как его назначили егерем, он заметно запузырился и заумничал. — Дело подсудное: лет пять можно свободно схлопотать.

— За одни байки, небось, не засудят! — позубоскалил Женька, но поднялся на ноги. Леса скрипнули. — Эх, красота какая, тихо-то как...

— Красотой сыт не будешь. Работай давай! — Бугор начал было по своему обыкновению резонерствовать, но тотчас и сам отвлекся: — Гляди-как, Федота на правеж ведут. Он утром свой «Беларусь» в ручей уронил. Теперь яблоки из сада вывозить не на чем.

И действительно, заведующая садом Космачева вела в дирекцию незадачливого тракториста, погоняя его впереди себя, как теленка, хворостиной.

— Вот бестолочь, вот Пиночет зловредный! — выговаривала она. — Последний ходовой трактор в овраг спустил и хоть бы ему хны!

— Понапрасну обижаете трудового человека, товарищ завсадом, — оправдывался Федот. — Спозаранку туман был. И прошу без оскорблений, без рукоприкладства. Конь о четырех ногах, а спотыкается.

— Да ты и был на четырех! — завопила Космачева.

— Что, горит план, Галина Аркадьевна? — участливо поинтересовался с лесов Мишутин.

— А ты что такой сознательный стал? — подозрительно спросила завсадом. — Вместе пили, небось? При таких работниках через два дня в саду собирать нечего будет: все разворуют люди да медведи.

— Медведям тоже кушать хоцца, — встрял в разговор Женька, — кедрач-то отдыхает.

— Вы, я вижу, тоже отдыхаете?

— У нас деловой перекур. Обмен мнениями, как лучше украсить дирекцию.

— Директор в район отъехал, так вы волю себе взяли?! Ну ничего, я сейчас дозвонюсь, дозвонюсь, — пригрозила Космачева. — Сначала вот с этим врагом выясним, что делать, потом и за вас возьмемся. Иди, саботажник!

Она ткнула Федота в тощую спину, и оба-два зашли в контору.

— Вот язва сибирская! — проворчал Бугор.

— Да и ее понять можно — как теперь с урожаем-то быть? А лошадей нет разве?

— Да выходит, что и нет. Кобылу-то без ума зарезали, а жеребец ейный, Ирбис, до сих пор никого не подпускает. Только этого, мешком пуганного. Блаженных даже зверь не трогает, тьфу.

— Ты, статуя, — пожевав пересохшими губами, обратился Бугор к Алеше, — ехай отсюда на БАМ, чего ты здесь не видел?! Мы тут без романтики живем, мы свое на северных стройках давно отмотали. Вот помню, подходит ко мне на атанге, на заполярной шахте, один такой вот и спрашивает: дядя, говорит, а сколько лет мне тут надо будет работать, чтобы получить Героя Социалистического Труда или хотя бы орден Ленина?

— А ты ему чего? — заинтересованно спросил Женька Варнаков.

— А ничего. Послал его... вечную мерзлоту кайлом долбить. Ты вот, статуя, что в своей Москве делал?

— Учителем был, — ответил Алеша.

— Эт-то сколь же на тебя государство потратило, чтобы ты тут в таежном поселке телефонистом работал? Здесь и номеров-то всего ничего. То-то, без дела шляешься, яблоки ведрами таскаешь. Туристам на продажу?

— Это для Ирбиса, — стал оправдываться Алеша. — А телефон совсем не

работает — обрыв где-то на линии. А что касается БАМ, то мне сюда поехать врачи посоветовали…

— Значит, живешь, как доктор прописал, — попытался съязвить Бугор, у которого голова раскалывалась от вчерашнего. — Чем хвораешь? Не заразный?

Алеша не ответил — отвернулся к Озеру. Сияющий плес подернулся кое-где ребристой рябью, но осенние солнечные кряжи — в золоте лиственниц, в серо-фиолетовых разводах кедров и сосен, с бесшумными молочными нитями белокипенных, ниспадающих со скал водопадов и речек — все так же отражались в темно-зеркальной воде. Слева, над ближней грядой зеленых склонов, возвышалась и уходила вдаль, к монгольскому югу, убеленная снегом и льдами цепь большого горного хребта; справа от Алеши широкая полоса Озера повертывала чуть ли не под прямым углом на запад, где вскоре и завершалась в своей озерной ипостаси — там из него широким потоком вытекала другая, и тоже бурная, порожистая, чистая и стремительная река, которой словно бы не терпелось, сойдясь со многими другими ручьями и реками, впасть в конце концов в полноводную Обь и в единстве с нею добраться до самого Северного Ледовитого океана.

А что он, Алеша, делал на Озере? Куда, в какое единство надлежало ему стремиться?

В Яблочный он приехал из Москвы в самом начале лета, подрядившись поработать на метеостанции. Врачи нашли у него редкую для таежных мест болезнь — нервное истощение. Ничеев никому и не признавался в ней, — и без того хватало насмешек.

Где он надыбал себе такую диковинную хворобу, он и сам бы не сказал: жил, как все, работал, как все, то есть, по его мнению, ни черта полезного не делал. По образованию был он радиоинженер, но в последнее время работал в школе — вбивал в детские головенки законы Ньютона и решал на доске задачи по кинетике.

Психом на учете он не был — до этого не дошло. Не переваривал, однако, когда ему говорили: «Будь, как дома». Сразу съеживался и уходил в себя, как улитка, которую нежданно-негаданно щелкнули по рожкам. В детстве ему жилось невесело: отец втихаря пил, а мать, устав бороться с этим тайным пороком, как-то быстро угасла душою и сделалась ко всему безразличной. Драться отец не дрался, интеллигентность не позволяла, но, случалось, всхлипывал и плакал навзрыд, не стыдясь домашних.

От всего этого обстановка в доме была такая бедная, скупая и унизительная, что Алеша прожил детство до озноба одиноко, не только не заимев друзей, но даже не научась просто говорить и ладить с людьми. Зато он научился хорошо понимать лошадей. Повадился ходить на ипподром на Беговой в школу верховой езды, но больше всего ему понравилось ухаживать за рысаками. С лошадьми он мог проводить время подолгу и очень ценил его, это время.

Словом, Алеша с детства не любил себя самого. Сидя за партой, он часто механически записывал и затем разрисовывал в тетради два навязчивых слова: «нет» и «ненавижу», презирал себя и обреченно страдал от этого, и ничего в его жизни не случилось такого, что восторжествовало бы наконец над этим стыдным мальчишеским секретом. Как-то, уже много после, все же достучалась до него простая мысль, что нельзя никого любить и нельзя никому доподлинно сострадать, не любя и не понимая — себя, не сострадая — себе как человеку среди людей. Но такое отвлеченное понимание пришло, когда уже миновали и детство, и юность, да и первая любовь, отмеченная все той же унизительной нелюбовью к себе самому.

Многое проистекло в Алешиной жизни из этого тайного самоненавистничества, помноженного к тому же на пробужденное в старших классах секретное же честолюбие, призванное избавить его от воспоминаний о тусклом детстве и от вечного одиночества. Подобного рода душевный компот был чреват острыми и скверными депрессиями, когда тьма накатывала ниоткуда и особенно болезненно сверлила сердце мысль, что не своей он, Алеша, жизнью живет, а чьей-то другой, чужой, потому-то к нему, бедному мальчику, и нещадной.

Чтобы избавиться от противной сосредоточенности на самом себе, он даже сподобился жениться, но и это сложилось неудачно и прошло как-то совсем уж

скоротечно. Самым ярким, что ему запомнилось из семейной жизни, был дежурный ответ жены на любую попытку обрести с ней общий язык или, что было бы много ценнее, общее молчание: «Какая же ты все-таки дрянь, Алексей!»

Жена Марина, быть может, и постаралась бы понять его, если бы видела в этом хоть самый небольшой житейский смысл. Она-то была убеждена, не в пример грезящему наяву Алеше, что ему вполне достаточно той, раз и навсегда отмеренной ею порции любви и сочувствия, которую она, не поступаясь своими интересами, могла ему предоставить. Она корила весь мужской род за то, что сдался женской эмансипации, при этом всячески стараясь уберечь от Алеши и собственный круг друзей, и свою внутреннюю, душевную жизнь.

Ссоры были редки, но если уж разгуливалась стихия...

Тогда непобедимая убежденность Марины в абсолютной собственной правоте лишала его самой малой возможности возражений, вымывая из-под него, как из-под дерева в злое половодье, последнюю твердь бытия. Тогда стоял, кренясь, цепляясь за слабую, ненадежную, расползающуюся почву жизни последними живыми корнями, всецело во власти разлива ее стихийного эгоизма — или все же любви?

Но вот что было для него особенно непостижимо: Марина, хоть и умна была — не отнять, словно и не понимала, что он связан с ней узами именно тех самых иллюзий, которые она так старалась разорвать в клочья и развеять по ветру...

Потрепыхавшись пару лет и приучась быть виновным перед женой во всех мыслимых грехах, Алеша отступился. Понял, что заслужил свою участь. Но и обвыкся: после любви всякий зверь печален, как учил все тот же Виталий Кондрашов.

Такое одинокое бытие было, однако, чревато сердечной исповедью первому встречному, и Алеша, ничего этого не желая, окончательно создал вокруг себя полосу отчуждения — растерял последних знакомых и приятелей. Он, впрочем, еще надеялся, что вот-вот разрешится что-то очень главное, что вдруг каким-то особенным образом произойдет слияние его отчужденного прозябания с внешней жизнью и нить кровной связи с миром блеснет, как осенняя паутинка на солнце, и все встанет на свои места, наконец одарив его за терпение и смирение прекрасной осознанностью существования. Правда, в московских городских ущельях эта надежда являлась все реже и реже, и Алеша тревожился и о том, что когда-нибудь она не явится совсем.

После вытребованного Мариной развода Алеша совсем захандрил. Врачи усердно спроваживали его в горы, в благорастворение воздухов. Тут подвернулся этот случайный попутчик в метро — начальник таежной метеостанции, который в своем благодушном подпитии и уговорил Алешу податься на Озеро. Алексею и с ним не до конца повезло: начальника сняли за пьянство незадолго до его приезда, а с новым руководством он, как и следовало ожидать, не поладил в силу своей полной бытовой и житейской непрактичности. Он вообще сторонился казенных домов и казенных отношений: даже водительских прав на военной кафедре не захотел получать, чтобы не оказаться из-за них подвластным гаишной милиции. Он бы вообще ни с кем в поселке не поладил, если бы не Виталий Кондрашов, но то был Виталий, единственная, по скороспелому мнению Алеши, человеческая достопримечательность Озера.

Таким образом, никаких приятелей и никакой стоящей работы у Алексея в поселке не образовалось. Но, раз уж приехал, он устроился при дирекции рабочим телефонной станции. Абонентов в Яблочном было всего десять, а нынче утром межрайонная связь вовсе оборвалась, по соображению и разумению Алексея, где-то далеко от поселка. Пока еще возьмутся ее наладить, да и потом особых трудовых будней не предвиделось .

— Знаете, — сказал он мужикам, уже и забывшим про него, возясь на лесах с оконной рамой, которая у них никак не втискивалась в проем сруба, — в Москве, в Историческом музее, есть одна изразцовая печь — такая цветная, похожа на голландскую, но русского производства, елизаветинских, кажется, времен. Там есть один такой изразец, кафель такой — на нем синий журавль стоит на болоте на одной ноге и надпись: «Невсегда летаю». «Невсегда» слитно написано.

— Ну и чего, — огрызнулся Бугор, давя плечом на раму и пытаясь насильно впихнуть ее в проем. — Чем сам хвораешь-то?

— Да именно тем, что не всегда летаю. Нервное истощение, говорят, у меня.

— Шибко мудрено это для нас.

— Мы, кроме чирьев да похмелья, никогда ничем не болели, — пояснил Женька. Они с Бугром наконец догадались перевернуть раму — и она легко встала на положенное место.

Пока свершался этот будничный трудовой подвиг, Алеша прикидывал, следует ли ему уже удалиться или это будет невежливо: разговор-то как будто еще не кончился. Между тем завсадом Космачева и довольный донельзя тракторист вышли из дирекции:

— Ну как обрезало, не соединяет. Твое счастье, Федот. Иди, чего хочешь делай, но чтобы к вечеру был в саду трактор!

— Бу сделано! — Федот приложил ладонь к козырьку промасленной кепки и тотчас исчез в неизвестном направлении, щелчком по горлу подав общенародный условный знак Мишутину и Женьке. Космачева этого уже не заметила, ее внимание релейно переключилось на Алешу с его ржавым ведром, полным битых яблок. И он был опять сам во всем виноват — зачем обращать на себя ее внимание, разъяренное всей сегодняшней нескладухой:

— Галина Аркадьевна, межрайонная линия оборвалась еще утром… — только и вымолвил Алеша.

— А, и ты здесь?! Телефон, значит, не работает, а ты снова видами любуешься? А это что?

— Это паданцы, для Ирбиса.

Завсадом Галина Аркадьевна Космачева внешне поразительно напоминала Алексею школьного завуча — преподавательницу литературы, с которой он еще весной от нечего делать беседовал в учительской о Шамбале, Рерихе и «Тайной доктрине» Блаватской. Все учителя, а за ними и старшеклассники, за глаза называли ее Баба-Йога. Сходство двух женщин усугублялось визгливостью:

— А ну иди, положь яблоки взад! Моду себе взяли — коней яблоками кормить! Ты их сажал? Ты их ростил? И тащут, и тащут — лошадям, козам, поросятам — весь урожай уже порастаскали!

— Это же паданцы, с земли собраны…— смущенно сказал Алеша.

— Да хоть перепаданцы! — совсем завелась Космачева, — средь бела дня народное добро воруешь, а еще из Москвы приехал, интеллигент! Иди, ложь взад!

— Да я же не себе, я для Ирбиса… — пытался настаивать Алеша.

Космачева, не привыкшая к ослушанию кадров младшего звена и разгоряченная перепалкой, совсем обозлилась и, захлебнувшись чувством служебного долга, пнула ведро ногой.

Яблоки рассыпались по берегу, а одно докатилось до самой воды и плавало теперь, как поплавок, в прозрачной купели Озера.

— Да ты что пререкаешься, езуит! Расхититель социалистической собственности! Для Ирбиса?! Тут яблоки вывозить не на чем, а здоровый конь зря в деннике простаивает. Зарезать его пора — на мясо дурную скотину!

— Вот-вот! Правильно! На колбасу пора коняшку! — поддакнул Женька и подмигнул Алексею.

Но Алеша не понял юмора. Что-то сделалось с ним. Он сначала побледнел, потом пошел красными пятнами и, задохнувшись, сказал:

— Зарезать?! И Ирбиса тоже зарезать!? Так ведь зарезали уже — единственную кобылицу зарезали! А этот мясник, конюх ваш, палач этот взял и содранную шкуру ее на изгородь повесил — Ирбису на обозрение. Убить его мало за это, Семеныча вашего! Конь что — не видит, не понимает? Все понимает, все помнит! Он же в шоке, в потрясении, с ним теперь обращаться надо как с нервнобольным. Ласкать его надо, перевоспитывать, выезжать заново надо — он же уже полгода в конюшне с ноги на ногу переминается, без движения стоит. Как в психбольнице или в концлагере….

— Да, перевоспитаешь его, зверя такого, — сказал Бугор, до того гремевший на крыше жестью и в предвкушении скорого возвращения Федота с медовухой пропустивший начало разговора. — Он же запросто глотку перегрызет. Семеныч вот попро-

бовал его на свет вывести, так Ирбис его полчаса на веревке по поляне таскал, извозил, изгваздал всего, еле отняли. Веревку пришлось перерезать.

— Живодер он, Семеныч ваш! Кто же коня за шею привязывает? — горячился Алеша, — он даже узды не надел! Живодер! С жеребцом уметь надо обращаться!

Космачева почувствовала, что бразды разговора пора забирать назад, в начальственные руки:

— Ты, что ли, умеешь, знаток? Больно много знаешь! Ты где в своей Москве лошадей видел — в кино, что ли?

— На ипподром ходил, в конюшни. С лошадьми разговаривать проще, чем с людьми. У них душа есть.

— Нет, ты подумай, на все у него ответ готов! — и тут нашлась Космачева. — Язык у тебя без костей! Да кто ты сам-то есть? Зря из Москвы сюда не бегут. Натворил чего-то, смылся, а тут москвича из себя ломаешь? Видали мы таких, перевидали. Иди, не стой, работай!

И Космачева быстро ушла по направлению к саду, чтобы невзначай не устыдиться своего пинка по ведру и не уронить авторитета перед кадрами.

Алеша собрал раскатившиеся во все стороны яблоки, выловив и то единственное, что плавало у берега в прозрачной студеной воде, и пошел на конюшню к Ирбису, радуясь уже и тому, что по обеденному времени не застанет в конюшне конюха. Конюх Семеныч ревновал его, но не из великой любви к лошадям: рвение Алексея он понимал как вызов собственному гонору и поэтому злобно гонял Алексея от жеребца. Парень он был вредный.

Алеша ушел, и мужики проводили его насмешливыми взглядами. Впрочем, они скоро забыли про него по счастливому свойству своих характеров — никогда не помнить ничего, что их напрямую не касалось.

Алеша подошел к заднему окну конюшни, убранному решетчатой рамой, в ячейках которой от старости и запустения почти не оставалось стекол. Просунул руку — Ирбис, узнав его, тонко заржал; мягкими губами взял с ладони Алеши яблоко и деликатно захрустел.

О чем Алеша говорил с конем, поглаживая его узкую черную морду с белой звездочкой на лбу, не слышал никто, кроме них двоих. И ни к чему это знать — поделикатней надо быть в таких вопросах. Тем более что тоскующий от любви конь никого, кроме Алеши, к себе не подпускал, и, стало быть, ему не понравилось бы, если б кто-то подслушал эту их сокровенную и чрезвычайно доверительную беседу.

2.

Никто не знает, где проснется на следующий день. Даже тот, кто еще с вечера завалился было на боковую в надежде заспать непреходящие дневные печали. Алеша поступил именно так, но не тут-то было. Едва он залез в спальный мешок в своем пахучем банно-чердачном гнезде, как пришлось и вылазить: как раз с шумом приехал Виталий и без особых церемоний поволок его с собой — выжидать на пасеке хулиганствующего медведя.

Это было очень похоже на него, Виталия. Два месяца назад, в тот первый вечер в начале лета, когда Алеша, повздоривший с прежней хозяйкой и оставшийся со своей чистоплотностью на улице, был принят в семье Кондрашовых, Виталий так-то вот потащил его в ночь-полночь на солонец — в засидку на марала.

Алеша и тогда, два месяца назад, не перечил. Далеко идти им не пришлось — разве что высоковато. Поднялись через чащу прямо от поселка в гору, продвинулись километров на десять, поплутали во тьме и вышли на маралий солонец. На солонце было темно. Крытая засидка оказалась устроенной в неглубокой яме от вывороченной с корнями черной ели, вернее, засидок было две: в первой, под елью, Виктор уложил Алешу, велев не шевелиться и не шуметь, а в другой, подальше, пристроился с винтовкой сам.

И время пошло.

Все бы ничего, если б не комарье. Этой казни египетской, очевидно, нипочем был жидкий рипудин, которым Алеша и Виктор перед походом обильно вымыли лица, шеи и уши. То ли весь рипудин смыло дорожным потом, то ли гнус на этом солонце был какой-то особенный, но доставать начали страшно.

И не прихлопнешь ведь, не прибьешь: марал слышит чутко — за десять верст.

Алеша, чтобы не оплошать и не испортить Виталию охоту, поклялся набраться терпежу, хоть бы его вовсе изглодали в этой теплой тьме. Но ему подфартило — в таежной тишине раздался щелчок винтовочного выстрела, Виталий позвал, и Алеша охотно выбрался из своей засидки.

Ночь к тому времени уже посветлела — взошла луна. В таежном сумраке Виталий сноровисто освежевал и разделал некрупную маралуху, которой возжелалось в ту роковую для нее ночь полизать каменной соли. Алеша принимал от него горячие куски маральей плоти — парного мяса в горячей звериной крови — и укладывал их в рюкзаки, которые вскоре показались ему вовсе неподъемными.

Обтяпывать все приходилось быстро и в полной тишине — дело, однако, было подсудное, и если б не вечный мясопуст на Озере да не растущие дети, Виталий не взялся бы так вот браконьерничать.

Набрав, сколько смогли, мяса и запрятав в выстланный еловыми лапами схрон остатки маралухи, они скорым шагом устремились вниз, в поселок. Это оказалось потруднее, чем лезть в гору налегке. Виталий — тот, держась за лямки рюкзака, привычно перебирал длинными ногами, как варяг, возвращающийся из набега, а непривычный Алеша, закусив губу, задыхался под тяжестью мокрого рюкзака. Маральи ребра или другие какие кости вдруг впивались ему в потную спину, так что тяжеленный рюкзак приходилось то и дело встряхивать; лямки резали и натирали плечи, но подтянуть их не было времени — надо было, несмотря ни на что, торопиться, чтобы не отстать. Но Алеша не ныл и не жаловался, чем, как выяснилось, и расположил к себе Виталия окончательно в ту первую охотничью ночь их знакомства.

Алешины колени уже совсем подгибались, когда они на рассвете дошли до жилья и, озираясь, не следит ли кто, пробрались задами к приозерной баньке.

Тут Алеша впервые попробовал сырой вырезки. Виталий, по-скорому соорудив пряный соус из томатной пасты, разведенной с перцем и солью, стал макать в него тонкие полоски свежего мяса и ничтоже сумняшеся отправлять их в рот. Алеша, колеблясь, последовал его примеру — и не пожалел: вкус у маралухи был отменный — парное мясо таяло во рту...

— А ты, гляди-ка, везучий! — сказал тогда Виталий. — С первой же попытки и вот — зверя добыли. Такая удача и бывалым охотникам нечасто выпадает. А тут, понимаешь, какой-то залетный москвич...

То ли прав был Виталий, восхищаясь Алешиной добычливостью, то ли нет, но с медведем на пасеке тоже вышло удачно. Егерь Полубесов, страшно довольный присутствием Виталия, выдал одностволку и Алеше, хотя тот его и не просил. В три ствола стеречь медведя Полубесову было не в пример сподручнее, однако и здесь ждать долго не пришлось.

Засидку в этот раз устроили на сеновале, под крышей. Только глаза привыкли к темноте, как послышался треск и хруст: медведь вел себя среди ульев как хозяин, видно, привыкнув за несколько ночей к полной безнаказанности. Алеша и егерь, полностью полагаясь на Виталия, не особенно всматривались в темень и расслабленно дремали. Только когда Виталий, высмотрев во тьме возле ульев короткую вислозадую медвежью спину, хладнокровно спустил курок, горе-охотники встрепенулись, наставили стволы во тьму и выпалили наугад из обоих ружей. В итоге каждый смог похвастать перед пасечницей убитым медведем — где там было разобрать, чья пуля свалила зверя.

От бабкиной медовухи все отказались, зная, по чужим рассказам, о ее головоломных качествах. Свежевать медведя им тоже не пришлось. Важно надувая щеки, егерь Полубесов заявил, что мясо надлежит сдать в местный магазин, а шкуру — в заготконтору. Чего, в таком случае, было утруждаться? Одну медвежью лапу егерь все же отдал Виталию за помощь; огромный коготь с этой лапищи долго служил ему потом брелком для ключа.

Очередное приключение, стало быть, закончилось, тут бы Алеше и забраться обратно в спальный мешок, но у Виталия опять оказались другие планы. Вступило ему в голову тотчас же, в ночь-полночь, ехать через Озеро по самым важным делам. Он и там, на дальней заимке, кому-то что-то обещал.

А уж после, сказал, в Долину курганов — за облепихой. Там рядом.

Так что действительно никто не знает, где встретит следующий день. Лучше, решил Алеша, и не загадывать.

3.

И все-таки это ни с чем не сравнимое переживание — мчаться на дюралевой моторке под звездами по ночному Озеру. Так высоко и так торжественно вокруг, что не хочется ни единым словом нарушать молчание, хотя б и не мешал беседе ревущий шум лодочного мотора, оставляющего позади, в черной воде, две кипящие, журчащие и расходящиеся веером бело-пузырчатые струи...

Горы на обоих берегах Озера сливаются — вот уже совсем слились с кромешной тьмой и навсегда было растворились в ней, но тут на небо высыпаются и рассеиваются по нему горстями многократные путеводные созвездия; после этого ночь полной грудью вдыхает свежести звездных высей — и земное пространство Озера вновь обретает надлежащий ему вертикальный, всеохватный, беспредельный и бесконечный объем.

И тогда утомительное и убаюкивающее разум передвижение по незримой, едва осязаемой, разграничивающей две гибельные бездны водной линии вновь получает направление, смысл и цель, хотя если чувствовать направление, то можно, оказывается, обойтись и без цели, и большой кудлатый пес Байкал, смиренно восседающий на носу лодки и неукоснительно смотрящий вперед, в набегающую сырую тьму, безусловно, подтвердил бы справедливость последнего замечания, если бы имел в этом самомалейшую нужду.

«И не надо цели, не надо даже смысла, найти бы по звездам то единожды и навсегда утраченное направление к своим разбазаренным грезам», думал Алеша, сидя на срединной лодочной скамейке и зябко кутаясь в одеяло из захваченных для ночевки на открытом воздухе: «И не надо секстантов и астролябий всяких, нужно просто смотреть и видеть: если есть звезды, значит, не все скоротечно, не все тленно и не все пойдет прахом. Значит, есть вечность, на которую можно надеяться и на которую нужно равняться... Все природное, живое, должно, озираясь на звезды, чувствовать свое вселенское родство и жить в этом родстве, и смерти быть не должно, жизнь должна просто переливаться из одного творения в другое. Тогда и я — я весь умру, но не весь исчезну. Что-то останется от моих мыслей, терзаний, что-то сольется с природой, растворится в ней... А иначе — на хрена все? И правда — на хрена?»

Рев мотора вдруг оборвался, и сначала настала журчащая тишина, а потом Алеше показалось, что где-то шумит проливной дождь, но небо было все такое же чистое и звездное — ни тучки, ни облачка. Лодка пошла по инерции, теряя на вираже скорость, и вскоре заскрежетала дюралевым днищем по прибрежной гальке.

Байкал, маша хвостом, бодро соскочил с ее носа на берег и скрылся среди ночных деревьев.

— Давай-ка лодку повыше подтянем, — скомандовал Виталий. — Озеро на вид тихое, но как низовка налетит — только держись! Унесет, расколошматит о скалы.

Они вытянули лодку на берег и привязали тугим узлом к тяжелому комлю неопознанного дерева, когда-то вынесенного на берег верховкой — сильным теплым ветром с южной оконечности Озера. Ветер с нижней оконечности назывался на Озере низовкой, и если верховка при всем своем коварстве приносила сухую и ясную погоду, то низовка, наоборот, вздувала Озеро свинцовыми штормовыми бурунами...

Косматый Байкал прибежал обратно, опять дружелюбно виляя седым хвостом. Вскоре в лесной тьме замаячил, шаг за шагом приближаясь, качающийся свет керосинового фонаря. Подняв фонарь на уровень лица и опасливо вглядываясь при его

неверном свете в ночных визитеров, на берег вышла немолодая простоволосая женщина с алтайскими чертами лица.

— Кто это? Кто вы?

— Это я, Вера Петровна, я, Виталий. С приятелем, из самой Москвы.

— Ой, как хорошо, свои! А то мы с Павлом Ивановичем уже намучились сегодня. Ужас, что было. — Вера Петровна зашептала что-то Виталию на ухо.

— Да вы не стесняйтесь, Вера Петровна, Алексей — он вроде как человек божий. Самого себя дичится. Что, опять со Степаном неладно? — спросил Виталий.

Он, похоже, не спешил уходить с берега, хотя и ему наверняка хотелось в тепло — от ночной воды Озера тянуло предрассветной зябкой свежестью.

— Ой, вы не представляете, что было! — взволнованно заговорила женщина, — Работали мы в саду, вдруг слышим — моторка. Павел Иванович говорит — опять, наверное, гости. А мотор все ревет и ревет, да натужно так. Пошли на берег, видим — а по Озеру моторка ходит кругами, а в ней — Степан, уже совсем без памяти, мотор бросил, спит! Газ раскручен на полную силу, лодка ходит мимо водных камней, вот-вот заденет. И ведь разобьется, так сразу потонет — в нашей-то ледяной воде!

— Ну, фокусник просто, — хмыкал Виталий.

— Не знаем уж, как он по Озеру-то доплыл сюда из Яблочного — далеко же для пьяного! — продолжала вслух переживать Вера Петровна. — Пытались мы со скалы веревкой с крюком зацепить, потом хотели его водой окатить из ведра: может, очнется?! Вокруг же соседей нет, а мы что с дедом можем, два старых человека? Лодка по кругу, по кругу, а он спит — и хоть бы что ему!

— Видать, с дружками своими праздновал что-то, с Федотом да с конюхом Семенычем. Эти, пока до чертей не допьются, не остановятся. Да как же вы управились в конце концов?

— А никак. Ждали-дрожали часа четыре, пока в моторе весь бензин не вышел. Потом уж Павел Иванович сплавал на нашей лодке, весельной, привел его на веревке к берегу. Потом, как чуть пришел в себя, вдвоем еле затащили в дом…

— Ладно, хоть так обошлось, — подытожил Виталий. Его, похоже, рассказ этот ничуть не удивил. И то: бывали со Степаном, младшим сыном Веры Петровны и Павла Ивановича, с перепоя приключения и похуже. Спьяну он себя уже совсем не помнил — на Озере давно ждали, что его вот-вот посадят за какую-нибудь шалую провинность. Только родителей жалели. Хорошие они были люди, Вера Петровна и Павел Иванович, хоть и со своими чудачествами.

— Вера Петровна, а мы не зря приехали — я ведь обещал Павлу Ивановичу крышу покрасить, — напомнил Виталий.

— Ой, хорошо! — обрадовалась пожилая женщина. — Нам-то уже самим не залезть. Но где мне вас положить? В доме Степан, там нехорошо. Мы и сами нынче — в оранжерее ночуем. Так уж намаялись! Так намаялись!

— Да вы не беспокойтесь, Вера Петровна, мы и здесь, на берегу, переночуем, — уверенно сказал Виталий. — Мы люди привычные.

— Вы-то да, да вот друг ваш, я вижу, не местный. — засуетилась Вера Петровна. — Сейчас я одеяла принесу.

— Да у нас все с собой. Мы завтра дальше по Озеру поедем, за облепихой, так что всем запаслись. Идите, отдыхайте. Вам отдохнуть нужно.

— Ладно, тогда уж вы здесь сегодня, — с видимым облегчением сказала уставшая от всех треволнений женщина. — А то в доме Степан, там нехорошо.

Свет фонаря удалялся, удалялся и постепенно совсем исчез среди стволов выходящей к галечному берегу таежной рощи. Виталий извлек из недр лодки затасканную оленью шкуру, расстелил ее на песчаной дресве ближе к деревьям и обстоятельно улегся на ней, накрывшись одеялом.

— Давай спать, философ, — сказал он Алеше, который в своем спальнике устраивался на устланном досками днище лодки. — Радуйся, что на берегу гнуса нет.

— А про какую оранжерею она говорила? — вдруг спросил Алеша.

— Про самую настоящую. Они тут все выращивают — помидоры, огурцы, даже цветы.

— И что это за дед таинственный? — продолжал любопытствовать Алеша, уставясь в звездное небо. Байкал между тем взобрался на нос лодки и безмятежно дремал, укрыв патлатым хвостом влажные глаза и черный чуткий нос.

— А дед замечательный, — не сразу отозвался Виталий. — Его у нас на Озере Добродеем прозвали. Он на этом месте, куда мы сейчас приехали, уже лет пятьдесят как живет. И не просто живет, а трудится. Именно что не работает за копейку, а трудится — искренно, честно, как никто уже не умеет. Разучились. Ладно, если не навсегда.

Виталий помолчал и продолжил:

— Иванов его фамилия, деда. Он сюда еще в тридцатых годах объездчиком нанялся, когда заповедник устраивали: тут не спрашивали тогда, кто да откуда. Ну, и остался здесь — понравилось ему. А может, больше деваться было некуда. Всякое же было. Чего он тут не перевидел, чего не испытал! Поначалу тайга кормила, рыбачил на Озере и на речках, шишку кедровую бил. Потом женился на местной алтайке, завел хозяйство — коровенку, пару овец, кур, гусей… И все-то у него в руках горело; через пару лет было у него уже несколько коров, овечек целое стадо, ну, молоко, мясо, творог, сыр. Пасека, опять же. Ясное дело, приехали его раскулачивать. Раскулачили, да и не один раз. А он всякий раз одного просил: оставить ему на развод овечку да барашка, петуха да курочку, чтобы было чего впредь раскулачивать. Комиссары умные были — оставляли. Так они и жили, муж с женой, при всех властях, ночами огня не вели. Осенью медведей гоняли от скотинки, зимой — волков. Пошли дети — детей дед сам у жены принимал.

Но была у деда одна мечта — втемяшилось ему разбить на Озере, на голых камнях, яблоневый сад. То ли помнились ему с юности яблони в цвету, то ли иное что… А тут, веришь-нет, яблок отродясь никто не выращивал. Да и кому — алтайцам не до яблок было, а монастырские — тут, в устье реки, был православный монастырь — тоже о другом думали. Сибирь! Тайга! Глухомань! Какие яблоки?! Все бы давно рукой махнули — но не дед. Веришь-нет, сам на лодке хорошую почву завозил для сада, руками землю растирал, каждый саженец, как дитя, обихаживал, укутывал, от стужи берег. Тут знаешь, какие морозы бывают лютые: ветрище, сугробы — по пояс, все Озеро в ледяных торосах! В одну зиму так-то вот потеряли они одного сынишку: шел из школы через Озеро — тут через Озеро большое село, где монастырь был, и провалился в полынью, и утоп.

Но сад-то — получился! Дед своим потом и кровавыми мозолями какой-то особый местный сорт развел — сладкий, янтарный, зимостойкий! Тут все и накинулись на халяву — лодками увозили урожай-то. Все бесплатно! Дед всем раздавал — бери не хочу! И при биостанции-то сад — из отборных ивановских сортов, с его саженцев все и началось, чем теперь Космачева единолично правит. Спроси ее про деда — взъярится! Все, мол, она сама тут вывела. А деду и это без разницы. Святой он — не зря его Добродеем зовут.

— Так что ж, Степан — это сын его? Что же дети такие пошли неудачные — не в отца? Или не все такие?

— Степан — младший сын, единственный. Остальные — женский пол. Замуж повыходили, потом поразводились, наезжают редко. И поважнее дела есть, чем отцу помочь. А ты спи давай, с утра будешь любопытствовать. Спи!

— Спокойной ночи, — послушно сказал Алеша, но не сразу повернулся со спины на бок и не сразу закрыл глаза. Он, как впечатлительная натура, намеревался под мерный шум незримого ливня еще долго и сосредоточенно устремляться взором в открытый космос, откуда нет-нет, да и срывались, прочертив воображаемую черту по небосводу, запоздалые сентябрьские звезды.

Но усталость взяла свое — Алеша мирно уснул и не увидел, как на Озере наступает рассвет, как вздымается из-за горной гряды искристое, лучистое солнце, как исподволь загорается солнечным огнем роса в кедровых иголках и как, сокращаясь по мере восхода зари, сжимаются в размерах и отступают к противоположному берегу по зеркальной и переливчатой глади Озера темные отражения скальных кря-

жей и таежных распадков. Потом над посветлевшей водой быстро пролетела-пронеслась стайка мелких птиц, и непорочное земное утро настало, как оно часто настает — без лишних свидетелей и словоохотливых очевидцев.

4.

Алешу разбудил Байкал, тяжело спрыгнувший с насиженного места на носу дюральки. На берег, легонько покашливая, спускался дед Иванов — высокий, сухощавый, седой, в круглых очечках. В руках у него были короткие и легкие алюминиевые весла от надувной лодки. Дед думал о своем и сразу не заметил Алешу, высунувшего голову из своей дюралевой колыбели.

— Доброе утро! — приветствовал его Алеша.

— А? Ах да, доброе утро! Это вы с Виталием приехали? Так-так, хорошо. Вы ведь, кажется, не здешний?

— Уже три месяца как здешний, — отвечал Алеша, вылезая из лодки, — я в Яблочном телефонистом работаю.

— Так-так, — сказал дед и присел на топляк, к которому была привязана дюралька. — А могу ли спросить, что вас сюда привело? Извините, конечно. Вы человек молодой, по виду, простите, образованный. Там, в большом мире, все шумит-кипит, каждый день — новость какая-нибудь. А вы — сюда, в тихую обитель?

— Если честно, захотелось в самом себе разобраться, — сказал Алеша, как-то сразу проникшийся к деду непривычным для самого себя доверием. — Там, откуда я приехал, так все напутано, перевернуто вверх дном. Ничего у меня там не ладилось. А здесь у вас — спокойно, благостно даже. Поживу здесь — может, пойму, что я за личность такая, которая везде не ко двору...

— Так ли уж все печально? — то ли спросил, то ли засомневался дед, протирая синим носовым платком свои круглые, чиненные медной проволокой очечки.

— «А вы разве не от большого мира сюда бежали?» — хотел бы сказать Алеша, но сдержался и промолчал. Но дед, похоже, умел слышать не только речь, но и молчание:

— У меня здесь — только радио. И газеты иногда завозит катер биостанции, правда, с изрядным опозданием. Но в целом я себе представляю, что там происходит, в большом-то мире. Ничего принципиально нового. А у вас каковы впечатления?

— Хорошие, вообще-то... — невинно соврал Алеша. — Жизнь другая, люди другие. Вот кассирша в дирекции мне сначала ни за что зарплату не хотела выдавать. Дождемся, говорит, на тебя исполнительного листа. Знаем, говорит, вас! Сюда, говорит, работать только злостные алиментщики приезжают, от алиментов скрываются! Других, говорит, сюда ничем не заманишь. Смешно?

— Действительно, забавно, — сказал дед. — Но потом выдала все-таки?

— Выдала. Еле убедил ее, что детей нет. Мне кажется, я здесь у всех на подозрении. Считается, что какой-то не такой, как все.

— Да, это случается, э...

— Алексей.

— А я — Павел Иванович. Так вот, это, к сожалению, бывает, Алексей, — сказал дед и поднялся с топляка во весь свой рост. — Ладно, пойду я. А вы идите в дом, попейте чайку.

— Спасибо. Это уж когда Виталий проснется, — сказал Алеша. — Может, вам помочь? Где ваша лодка?

— Тут, рядом, в устье речки. Не затрудняйтесь. Мне не впервой в одиночку. — сказал дед и неспешно скрылся за открытым, поросшим желтоглавым коровяком и высокими кустиками чемерицы мысом, за которым, очевидно, и пряталось устье впадающей в Озеро бурливой горной речки.

...Это был, скорее, могучий ручей, ниспадающий с горы крутыми каскадами по отполированному им за века среди замшелых валунов гладкому каменному руслу... Прозрачный, мускулистый, светящийся, пузырящийся на гранитных ступенях, сеющий вокруг росные брызги и звонко гремящий поток и производил тот гул, который с

ночи мнился Алеше шумом нескончаемого грозового ливня. Он еще долго сидел бы на прохладном валуне в этой тенистой таежной роще, напоминавшей природным совершенством японский сад камней, слушал бы грозовую музыку горного ручья и глядел бы, как кипящие струи, разбиваясь о привычные преграды, осыпают повисающими в воздухе мельчайшими радужными брызгами зеленый росистый мох и оранжевый скальный лишайник, хрусткие хвощи и буйные кустистые заросли медвежьей пучки и отцветших еще в июне таежных пионов — марьиных корней, но зовущий голос Виталия вывел Алешу из этого прекрасного бездействия.

— Ты что, и не ложился? — осудительно спросил Виталий, собирая вещи в лодку, чтобы не валялись бесхозно на берегу. — Смотри, быстро спечешься. Работать — не спать!

— Да нет, я спал. Но вообще-то у меня часто бессонница: как начнешь думать, вспоминать...

— Рано ты дурных привычек набрался, — сказал Виталий. — Ладно, я тебя исцелю со временем, дай только срок. Гляди-ка, а дед уже спозаранку сети топит. Вот, Алексей, философия в действии...

Дед Иванов, выплывший на легкой деревянной лодке из-за мыса, и вправду сосредоточенно и аккуратно запускал в Озеро сеть на пробочных поплавках.

— Авось поймается пара-тройка чебаков или таймень старикам на уху, — произнес Виталий и вздохнул. — Эх, не та уже на Озере рыбалка, как раньше. А все эти ученые, колдуны эти высоколобые... Вздумалось кому-то из них клеща в тайге дустом выводить! Ну, и опылили с самолета тайгу. Сколько в речках хариусов и таймешат погибло — не счесть. С тех пор и в Озере, почитай, толковой рыбы нет.

— Да неужели же такие идиоты бывают на свете?! — усомнился Алеша, все еще веривший и в науку, и в технику.

— Не скажи. Еще как бывают, — компетентно хмыкнул Виталий. — А клещ, он, говорят, в чистом дусте живет и хоть бы хны ему! Ладно, пойдем чай пить и крышу деду красить. Покрасим — и вперед, я тебе еще не все Озеро показал.

И они пошли к дому — по восходящей тропе.

На этом широком горном выступе у деда оказалась не простая заимка с избой и сеновалом, а настоящая усадьба: крепкий дом-пятистенок из лиственничного сруба, пристройки, амбар, хлев и, на краю сада, небольшая застекленная оранжерея. Недалеко от летней, открытой, сложенной из побеленных камней печки, под старой яблоней, на которой, среди желтеющей листвы, еще виднелись и редкие неснятые плоды, стоял накрытый веселенькой, в цветочек, клеенкой и уставленный плошками с оладьями, медом и вареньем стол с врытыми по бокам лавками. Отсюда, наполовину скрытое нависающей справа скалой, виднелось и Озеро, и над ним — зелено-желтые горы на фоне иссиня-голубого неба...

— Пейте, Алеша, пейте еще! — потчевала московского гостя Вера Петровна, — это чай особенный, таежный, альпийский — с баданом, с дикой смородиной, с золотым корнем. Настоящий целебный бальзам!

— И от неврастении лечит? — спросил Алеша, потянувшись ложкой за медом, золотевшим в резной кедровой плошке. В меду утопала осенняя алчущая оса.

— Поднимись по ущелью пару раз с набитым рюкзаком, попрыгай по курумникам, закуси снегом с гольца — и забудешь свои медицинские словечки, — ответил за Веру Петровну всеведущий Виталий. — Они ведь ничего не значат — их твои москвичи придумали для самооправдания.

— Не всем же в тайге жить! — взялся оправдываться Алеша, но безуспешно. Виталий, в отличие от него, знал, о чем говорит:

— В любом разе *жить* надо, а не ныть. Сам же человек обвешивает себя, как новогоднюю елку стеклянными игрушками, натужными желаньями, ненужными хлопотами, пустыми заботами — и звякает, и бренчит всем этим. Чем больше побрякушек, тем, дескать, жизнь состоятельнее и весомее. А цели-то нет, для чего все это надо...

Дед Иванов, неслышно вернувшийся из ручейной бухты, деликатно присел за стол и получил свою чашку альпийского чая от Веры Петровны, которая, занимаясь непостижными для посторонних хозяйственными делами, появлялась и исчезала с глаз так же естественно и бесшумно, как и ее муж.

— Вы, Виталий, конечно, человек бывалый, — проговорил вдруг Иванов. — Но дело, мне кажется, совсем не в натужности и не в количестве желаний. Ведь нет желаний — нет и жизни. Плохо другое — когда многого хотят, за многое берутся, но ничего не доводят до конца, бросают на полдороге. Чтобы довести дело до конца наперекор собственным колебаниям, сомнениям, собственной неохоте и лености, нужно выработать в себе терпение и мужество, даже благородство, если хотите.

— Истины, увы, прописные, — произнес Алеша, привстал из-за стола, потянулся и сорвал с яблоневой ветки ближнее к себе яблоко.

— Прописные? У тебя, видно, в первом классе по чистописанию тройка была, — в сердцах сказал Виталий, — ты, наверное, даже прописи на тройку перерисовывал, а про истины говоришь. Лихо! Иди лучше краску замешай, троечник!

— Есть! Только в наше время в первом классе никаких оценок еще не ставили, считалось непедагогично, — сказал Алеша и пошел за приготовленной в пристрое краской.

— Гельвеций, что ли, говорил: «Вся моя жизнь — одно длинное самовоспитание», — задумчиво произнес Павел Иванович. — Вы знаете, Виталий, а ведь у нас сегодня опять визитеры. Едут и едут к нам — отдохнуть на природе! Вот я и забросил сетешку — кормить-то их чем-то надо.

— Кто же теперь вас пожалует? — спросил Виталий.

— Дочь одного руководящего товарища, из облпотребсоюза, — вздохнув, ответил Павел Иванович. — Никак не научусь выговаривать все эти сокращения — за всю жизнь не научился. Этот товарищ раньше сам сюда на охоту в заповедник приезжал, но теперь ему, похоже, не до охоты стало. Времена для него настали весьма неудобные, судя по генеральной линии. Но дочь послал-таки. Мы, конечно, гостям всегда рады, но... — и недоуменно развел руками.

Виталий, с ведром и кистью, забрался по лестнице на крышу дома и принялся красить; Алеша остался, как всегда, на подхвате.

— Я вам очень благодарен за помощь, молодые люди, — сказал дед Иванов. — Пойду, мне еще надо траву между яблоньками выкосить...

— Давайте я помогу, — вызвался было Алеша, но дед не оценил его порыва.

— Видите ли, — объяснил он, — коса у меня одна, старенькая. Я ее сам очень бережно навожу, а здесь встречаются камни, косить надо очень осторожно, так уж вы не обессудьте. Вы погуляйте пока. Если хотите. Можете на скалу сходить — оттуда вид очень красивый. Только когда пойдете по тропе мимо большого валуна, постучите палкой метров за пять....

— А зачем? — поинтересовался Алеша.

— Дело в том, что там у меня щитомордник живет. Когда солнечно, он на валуне этом лежит и греется. И когда чужой кто идет — он пугается.

— Как? Змея? Ядовитая? — переполошился Алеша.

— Строго говоря, да, щитомордник — змея ядовитая, — учтиво ответил Павел Иванович. — Но мы как-то привыкли к нему. Он ведь уже давно здесь живет. Так что смело гуляйте.

— Да нет, я уж лучше Виталию помогу!

— А как насчет родства всего живого, философ? — насмешливо спросил с крыши Виталий.

— Я иду на пасеку, меду принесу, возьмете с собой, — сказала Вера Петровна.

— Только немного, Вера Петровна! — крикнул ей вслед Виталий.

— Мне теперь много и не донести, — ответила она и пошла на пасеку через сад, где уже тихо и размеренно вжикала дедова коса.

5.

В доме что-то загремело, загрохотало, и на свет с большим эмалированным чайником вышел Степан.

— Ох, жизнь! — прохрипел он и стал жадно сосать воду из носика.

— Тяжело, болезный? — осведомился с крыши Виталий.

— Это кто же меня там жрет? — огрызнулся Степан. — Глаз не разлеплю — не вижу. Так это ж Виталя! Не-е, тебе хворого мужика не понять. А мать где?

— Ушла на пасеку. Ну, задал ты вчера шороху!

— Что еще такое?

— Да мать с отцом насмерть перепугал. На автопилоте приехал, уснул за мотором, тебя четыре часа по Озеру носило. Свободно мог и потонуть.

— Не помню, однако, — Степан протяжно зевнул. — Где-то ведь гуляли, с кем-то. О! Вспомнил — с конюхом, с Семенычем! Ну да, помню: не хватило нам — я к матери за червонцем поехал, в поселке–то уж никто мне не дает. Водка, она же нынче дорогая, зараза! А после антиалкогольного указа совсем труба нашему брату — пока еще отыщешь да выпросишь.

— Потонешь ты спьяну когда-нибудь, помяни мое слово. — сказал Виталий. — И вроде не дурак, чему-то ведь учился.

— Да, — поразмыслив, промолвил Степан. — Был бы ты не Виталя, дал бы я тебе в лоб.

— Почему так? — встрял в разговор Алеша.

— У него рука тяжелая на сдачу. А ты что за ферт?

— Это Алексей, телефонист из поселка, — пояснил сверху Виталий.

— Вот это кто! Москвич, мешком пуганный! Слышал. — Степан маялся уже не на шутку. — Ну, где мать, где ее носит?

— А ты залезай сюда — помахай кисточкой, — весело сказал Виталий. — Здесь ветерком с Озера хорошо обдувает.

— Работа дураков любит! Да что б тут вовеки конь не валялся! — свирепел с похмелья Степан. — Тут ни дураков, ни запчастей к ним нет. Время ныне другое — задарма вкалывать не велит. Один отец этого не понимает. И вправду — Добродей!

— Дураков нет, а сад в тайге есть, — опять влез в чужой разговор Алеша.

— Да хрен с ним, с садом этим! — почтил его ответом Степан. — Одни заботы. С тридцатых годов рабствует — и все по зову сердца! Ведь уж и голодал, и обмораживался, и на власть нарывался — все ему нипочем! Добро бы еще продавал мед да яблоки — ведь даром раздает по всему Озеру. А чего землю рыть — тут и без лопаты не худо можно прожить, валом повалил турист непуганый. То им золотого корня впаришь, то маслица облепихового, то медвежьй струи, а они нам, туземцам, — огненную воду. Натуральный обмен!

— По Озеру катер идет. Вроде бы сюда, — объявил зоркий Алеша.

— Ага, гости к Добродею! — возрадовался всем нутром Степан. — Чуял я праздник! У москвича-то — глаз-алмаз!

— Иногда полезней хуже видеть, — заметил Виталий и укорил взглядом Алешу. Потом, завидев сверху возвращение Веры Петровны с большой банкой меда, слез с крыши. Вера Петровна первым делом увидела сына и кинулась к нему:

— Степан! Проспался? Как тебя опять угораздило?! У отца же чуть сердце не разорвалось! Сколько раз тебе говорить, чтобы такой не приезжал! Не доводи отца — поезжай, поезжай уже. Тебя, наверное, в лесхозе ждут, на работу опоздаешь...

— А что, не воскресенье разве? — осклабился Степан, но, чуя, что вчерашняя шалость так просто с рук ему не сойдет, перестал паясничать и что-то зашептал матери на ухо.

— Да нет у меня, Степа, откуда? — заволновалась она.

— Зато у Добродея есть, — напирал Степан.

— И у него нет. Да он и не даст, знаешь ведь, — оборонялась Вера Петровна.

— Эх вы, люди-звери! Ну дай хоть на турбазу чего-нибудь — золотого корня или мумия какого-нибудь, масла облепихового...

— Кому за корнем-то в горы лазать? И за облепихой не ездили еще — не собрались. И здесь дел хватает, однако, — сказала Вера Петровна.

— И чем только вы заняты тут, — возопил Степан, — с утра до вечера в навозе копаетесь, а рубля лишнего нет! Чего это у тебя в банке-то? Мед? Давай сюда — хоть это на турбазу свезу.

— Степа, это же для людей, они же крышу нам... — защищала банку Вера Петровна, — не дам, Степа, и не дам. Без толку пропадет — только себе навредишь опять!

— Нас учили — что? Милостей не ждать от природы! Давай сюда! — Степан силком забрал банку из рук матери. — Докатилися! Родному сыну — меду жалеет! А катер, надо думать, уже тут. Пойду я, — и Степан торопливыми шагами поспешил вниз по тропе — к Озеру.

— Что за тип! — сказал вслед ему Алеша. — Виталий, это же не по-людски все?

— Не сепети, все именно по-людски. В чужой монастырь со своим уставом не лезь никогда. Ты приехал и уехал, а он здесь пасется, как свинья в огороде. Сын ведь. Ничего ты своими эмоциями не изменишь — только хуже будет.

— Не знаю, — признался Алеша. — У меня в таких случаях такое чувство, будто в дерьме измазался, а помыться негде.

— Ничего, отмоешься, будет еще повод. Полезай лучше наверх — надо крышу докрасить, да и ехать пора...

6.

Девиц, доставленных на заимку на катере от гелиодрома турбазы, оказалось целых две. Обе были белобрысые, загорелые, в коротких цветастых сарафанах с открытыми спинами и в белых панамах. Впрочем, заметно было, что одна старалась подражать другой во всем — от одежды до ужимок и жестов.

Из первоначальных учтивых расспросов Павла Ивановича оказалось, что Катерина, дочь важного, в областном масштабе, начальственного лица, учится на последнем курсе факультета журналистики и сюда, на Озеро, приехала, чтобы написать статью, отражающую последние партийно-правительственные постановления — о Продовольственной программе и подлинно социалистическом отношении к труду.

— О чем-нибудь трудовом, — поясняла она Павлу Ивановичу, который, тихо кряхтя, тащил по тропе в гору дамские баулы. — А у меня — дипломное время. Вот папа и порекомендовал мне — вас. Так и сказал про вас: незаметный герой труда. Вот я и собралась к вам на два-три дня с подругой — мы ведь вас не стесним, нет?

— Вы все ей по порядку расскажете, всю вашу жизнь, а она запишет, — тараторила вторая девица, Ольга. — И вам хорошо: в областной газете про вас напечатают. А это ведь престижно. Боже мой, как чудно! Как в кино! Рай! Рай! А купаться можно?

— Солнце и правда греет, как летом, — останавливаясь, чтобы передохнуть, сказал Павел Иванович, — но вода в Озере, к сожалению, студеная, около шести градусов.

— Жаль, жаль! — щебетала Ольга. — Катя, но мы позагораем зато! За три дня молодость не пройдет, а позагорать еще можно.

— Не думайте только, что здесь затерянный мир, — переполошился старик. — Люди теперь всюду живут — и по Озеру ездят на лодках...

— Хоть молодые — люди-то? — заинтересовалась Ольга.

— Молодых меньше.

— Жаль! Жаль! Жаль! Катя, как хорошо! С ума сойти! Какой бы пляж здесь можно было устроить! Зонтиков наставить, автоматов с газировкой. Валом бы молодежь повалила!

— Павел Иванович, Ольга — она восторженная, на нее находит временами, — Катерине явно хотелось перевести разговор в другое русло.

— Мне всегда казалось, что некоторая восторженность к лицу молодым девушкам…

— Ага! — победно закричала Ольга, — сразу видно рыцаря прежних времен! Теперь таких комплиментов не услышать, нет! Чувствуется, что у вас было прошлое, не отпирайтесь!

— Было, конечно, — отдышался Павел Иванович. — И прошлое мое, и настоящее — все здесь, на Озере. С будущим вот стало посложнее. Что касается рыцарства, я, знаете ли, воспитан русской классикой. Кстати, и в вопросах труда — тоже.

— Но это же ску-учно, — заныла Ольга.

— Погоди ты, мне всякое лыко в строку, — злым шепотком осекла ее Катерина. — Надо же проявить внимание к его занудству, иначе он ничего нужного не расскажет… Павел Иванович, а как же — партийные стимулы для созидательной работы?

— Понимаете, Катя, подлинно созидательный труд — это нечто сокровенное. Его, как любовь, нельзя выставлять напоказ. Вот, в газетах нынче пишут об ускорении, о человеческом факторе… Но разве можно придать ускорение тому, что давно уже не имеет никакого направления движения, а может, вовсе и не движется даже?

— А медведи здесь есть? — перебила его Ольга, которой надоело делать серьезный вид. Павел Иванович спохватился, что совсем заговорил девиц, тем более что они почти уже взошли на заимку и нужно было чем-то развлекать этих, по всему, весьма требовательных визитерш.

— Ведь солнышко светит! Последнее, осеннее! Катя! Пойдем погуляем!

— Только вон туда, на скалу, одни не ходите, — предупредил их Павел Иванович. — Там живет наша змея. Еще напугаете друг дружку.

— Змея?! Ай! А здесь их нет? Не укусят? — заверещала, панически озираясь, Ольга.

— Павел Иванович, если это шутка, то неудачная, — недовольно проговорила Катерина. — А если не шутка, то хорошо хоть предупредили. Вы же знали о нашем приезде. Неужели нельзя было избавиться от змеи за все это время?

— В каком смысле — избавиться? — опешил Павел Иванович.

— Да в каком — в самом прямом. Убить гадину. Палкой! Или из ружья. Бумц! — и все гуляют спокойно, — жестким тоном сказала Катерина.

Павел Иванович наконец сообразил, что простой учтивостью не обойтись.

— Я никаких причин для такой жестокости не вижу, мы живем в добром согласии, — сказал он. — Наш щитомордник привык к нам. Тем более что здесь и его земля.

— Катя, дед чокнутый, точно! — зашептала на ухо подруге Ольга. — И катер ушел, вот вляпались!

— Может быть, легко быть праведником здесь, среди камней и деревьев, — непререкаемо изрекла Катерина. — В городе жизнь другая, она учит решительности.

— Это вы жестокость называете решительностью?

— Я не сказала, нужно быть жестоким. Но жестким быть необходимо. У вас, наверное, были не те учителя.

— Своих учителей я бы вам не пожелал, Катя, — кротко ответил Павел Иванович. — Впрочем, некоторых учеников — тоже…

Сверху по тропе спускался Степан, обнимая трехлитровую банку с медом. В предвкушении скорой выпивки его уже обуревал нутряной восторг алкоголика, а при виде девиц, которых, подумалось ему, легко будет лохануть, он внутренне совсем расслабился и возликовал:

— Бонжурьте, красавицы! — и подмигнул Ольге, безошибочно выбрав самую на вид податливую мишень.

— Здрасьте, здрасьте, — та стрельнула было по нему глазками, но, рассмотрев поближе узкоглазую, помятую и красную с перепоя физиономию Степана, почти утратила к нему игривый интерес.

— А вот и местный туземец, — констатировала Катерина. — Про них тоже напишем. — Степан расплылся в многозначительной ухмылке. — Если успеем, конечно…

— Я просил бы вас пройти еще немного вверх по тропе, милые девушки, она

приведет вас прямо к дому, — сказал Павел Иванович. — Не затруднит вас донести ваши вещи остаток пути? А я тотчас вслед за вами...

— Кстати, Павел Иванович, катер сюда часто заходит?

— Обыкновенно один раз в три-четыре дня. А что, вы уже спешите?

— Я вспомнила сейчас, что у меня деловая встреча... В городе... Но, впрочем... Ольга, пойдем, не отвлекайся!

Девицы двинулись вперед, а Степан сразу набычился, готовясь к неприятному и, главное, бесполезному для себя разговору с отцом.

— Степан, — так же отрешенно глядя в погасшее и посмурневшее лицо сына, произнес отец, похоже, давно потерявший надежду унять собственного сына. — Я полагал, нет, я надеялся, что ты уедешь до их приезда. Ведь я категорически просил тебя не появляться у нас в состоянии, подобном вчерашнему...

— Червонец, и сразу уеду, — буркнул Степан, не поднимая на отца блудливых глаз.

— Денег у нас с матерью нет.

— Это я с самого детства слышу!

— Ты же знаешь, что мы еще посылаем твоим сестрам...

— Сестричкам дорогим. Всем-то, кроме меня, ты добро делаешь, Добродей...

— Доброта — она из горестей вырастает, Степан. Ты жил легко — потому и недобрый. Уезжай, — сурово сказал Павел Иванович, отворачиваясь от сына, ссутулившегося под весом отнятой банки с медом.

Томясь с похмелюги, Степан не сдержался.

— Как у вас праздник, так — Степан, уезжай! — взвыл он в спину восходящему по тропе отцу. — Сами всю жизнь ни за что горбатились, впроголодь прожили, и меня хотите заставить? Нет, Добродей, я твоего отцовского отношения не забуду! Кому только рассказать: отец помещиком живет, а сын — рубли сшибает! Постой-ка, — вдруг сообразил он, — третьего дня в Кокташе, в бухте, туристы стояли, это ж всего полчаса ходу. Если с катера бензина дадут, я с пол-оборота заведусь! Эй, на судне! Погоди!

И Степан рванул вниз по тропе, боясь упустить катер, уже запустивший, судя по чихающим звукам, свой старенький дизельный движок.

«Интересно, отчего иные люди дичают на природе? Вот говорят — красота спасет мир. Почему же красота природы — даже явная, очевидная красота, не скрытая какая-нибудь, не сокровенная! — почему же она не на всех действует одинаково? Почему иного, даже и трезвого человека она вообще не прошибает?»

Так размышлял Алеша, сидя на скале, откуда Озеро разворачивалось во всю свою продольную ширь. Полуденное солнце сияло ярко, и ступенчатые горы на той его стороне можно было рассмотреть во всех удаленных подробностях — от береговых обрывистых скал и узких галечных пляжей одиноких бухточек, которыми заканчивались каменистые ручейные и курумные распадки, до первой, таежно-зеленой, в кедрах, марьиных корнях, дикой смородине, сиренево-цветущем бадане и давно отцветшем осеннем маральнике, до второй, высокой, гранитно-каменной гряды, чьи вершинные ущелья, с серыми осыпями и поросшими зеленью торчащими утесами, белели немыми водопадами; а еще выше и дальше, за снежными карнизами и альпийским разнотравьем, молчаливо простиралось плато медвежьей и оленьей горной тундры, упирающейся в скалистые подошвы еще более высоких кряжей, увенчанных в зияющих солнечных высях вечными, нетающими, ослепительно-чистыми льдами...

Над Озером овальными кругами летала высматривающая рыбу скопа, и Алеше казалось, что хищный полет ее повторяет контуры потусторонней береговой линии, точно отвечающей резным очертаниям горных подножий, которые у того берега призрачно отражались в затененной ими шелковистой воде. По эту сторону Озера взлезшая на крутой склон, уже и пожелтевшая лиственная роща заглушала собой громокипящий нижний ручей; воздух по осени был прозрачным до хруста, и тишина была вокруг такая же несусветная, как и красота...

Он охотно просидел бы здесь всю жизнь — в надежде высидеть и вымолчать ответ на вопрос о цели и причине своего доселе бесцельного и беспричинного бытия,

никак не сопрягающегося с красотой и соразмерностью того, что он созерцал и осязал вокруг. Его собственное существование было — что здесь, что в иных координатах — совершенно необязательным, а если так, то какой в нем следовало — да и следовало ли — подозревать смысл?

«Для чего же я, если не бессмертен?» — написал один поэт, так же, как Алеша, ошарашенный когда-то красотой Озера. И он тоже, видать, мучился и терзался этим своим бессмертием в отсутствие любви, никак не постигая, на что же его, такое болезненное и такое очевидное, следует потратить...

7.

— Боже мой, настоящий мужчина! Вот они где отсиживаются — в глуши, на краю света! Неужели правда, что только там хорошо, где нас нет! — восклицала Ольга, обретя, наконец, достойный объект для своих женских восторгов. Этим объектом оказался Виталий, который попался на глаза обеим девицам, когда, весь в земле, умывался после очередной, походя, но честно сделанной работы.

Никаких особых мышц и мускулов у него, сухопарого и сухощавого, не наблюдалось, однако сильные жилистые руки с широкими работящими ладонями, умеющими при случае складываться и в кулаки, и без того говорили, что мужик он не хилый.

Всласть умывшись, не обратив ни малейшего внимания на прибывших девиц и по деревенской справедливой простоте полагая, что гости Ивановых — не его гости, Виталий молча ушел одеваться в дом.

— Нелюбезный у вас помощник, — сказала Катерина Вере Петровне, которая уже вновь хлопотала по хозяйству.

— Но симпатичный. Какой-то супермен на вид, прямо джек-лондоновский герой! — все еще восхищалась Ольга.

— Если бы вы знали только, — доверительно сказала Вера Петровна, — он и художник-резчик, и плотник, и абсолютно все умеет руками — дом построить, сети сплести из крапивы, шкуру снять с кабарги или медведя... И при этом еще книги читает...

— Идеал! — Ольга всплеснула руками и глянула в сторону дома — не возвращается ли Виталий?

— Немудрено так блистать в таежном поселке, — недовольно проговорила Катерина, — поглядела бы я на него среди *наших*...

— Ну вот, скоро и уха будет — только рыбу бросить осталось, — сказала Вера Петровна, снимая кедровой ложкой пробу с кипящей на плите закопченной кастрюли, в которой уже вертелись в пузырях крупно нарезанная картошка и большая белая луковица. — Сейчас Павел Петрович придет и будем обедать. Алеша, как кстати, — спохватилась она, увидев спускающегося вниз гостя, — может, вы сходите с Виталием к Павлу Ивановичу, поможете ему вытащить сети... Не сочтите уж за труд сходить, пока я тут с обедом...

— Какой это труд, сходим запросто! — как всегда бодро сказал Виталий, который и без того готовился спускаться к своей дюральке, на носу которой верно нес свою охранную службу старик Байкал. И они с Алешей ушли вниз по тропе.

— Представляю, сколько по этому хозяйству забот, хлопот, возни, — Катерина смахнула с лодыжки чересчур любознательного муравья. Она сидела за столом с книжкой, но ей не читалось.

— Добровольное крепостное право! — отозвалась Ольга, выпросившая у Веры Петровны одеяло и улегшаяся поверх него чуть поодаль, на травянистом откосе, раскинув под солнцем руки ладонями вверх и закрыв лицо панамой. В складках сарафанчика, подобранного и сбитого до середины бедер, виднелись ее красные купальные трусики.

— Ну, ладно, ну, сад на скалах! Очерк из этого, может, и выйдет, а большего никак не выжмешь... — озабоченно сетовала Катерина, теперь отмахиваясь от жуж-

жащей вокруг нее осы. — Назвать, м-м-м, «Таежный вертоград»! А ведь недурно! Хоть в центральную прессу!

— Зашибись, как хорошо! — вздохнула Ольга, переворачиваясь на живот и ложась щекой на подложенный под голову локоть.

Солнце зашло за облачко; в яблоневых листьях запутался порывистый полуденный ветер. Запахло куревом. И неспроста — на заимке вновь объявился чуть подлечившийся и, не в пример своему первому появлению, развязный Степан.

— Читаем, девушки? — притворно вздохнув, то ли спросил, то ли укоряюще воскликнул он: — Все читают про придуманное! Никто ничего про настоящую жизнь знать не хочет! Как вот отдельно взятый человек живет и вкалывает в тайге, вдали от кинотеатров, ресторанов и прочего кружения действительности...

— Ну и как же?

— В суровой борьбе с природой, с враждебными ее силами. С медведями, к примеру. Медведи заели совсем. Мы на лесопилке от них досками отбиваемся, как от комаров, а они все лезут и лезут. Ночей не спим, однако. А у вас, милые девушки, нет этого, ну, дефицита для таежника и героя труда? Понятно, о чем речь?

— Как не понять, — презрительно хмыкнула Катерина. — Папа послал вашему отцу подарок. Но это — коньяк, марочный. Как быть?

— Отцу, Павлу Ивановичу, все это категорически воспрещено врачами, — засуетился Степан, — вы его этим просто погубите! Но давайте внизу, на природе, возле речки...

— Пикник! — взликовала Ольга. — Я пойду яблок нарву!

— Правильно понимаете вопрос, — одобрил ее порыв Степан. — Но матери — ни слова. У нее кондовые понятия. Осудит.

— Вы идите — я за вами! — повелела Катерина своим обычным, не терпящим никаких возражений тоном.

Пока Степан под руку с хихикающей Ольгой спускались боковой тропкой к устью гремучего ручья, Катерина шустро смоталась в дом и так же стремительно вышла оттуда со спортивной сумкой, едва не сбив с ног вернувшуюся из погреба с банкой маринованных помидоров Веру Петровну:

— Ой, Катя, простите ради бога, — первой повинилась Вера Петровна. — Так... На стол собрать... А кто курил? — повела она вдруг носом, — Степан? Степан здесь?!

— Я не видела. За всем не уследишь, — махнула рукой Катерина. — Пойду, ополоснусь в Озере перед обедом.

— Катя, вы знаете... Я хотела вам сказать, — просительно сказала Вера Петровна. — Мой сын... В общем, ему нельзя потакать... Вы понимаете?

— Понимаю, отчего же не понять, — пожала плечами Катерина. — Но я никогда — никогда не потакаю ничьим слабостям, кроме своих собственных. Ведь современная женщина при ее нагрузках имеет на это право? Скажите — имеет?

— Имеет, имеет... — виновато отступилась от нее Вера Петровна. — Да что же это Павел Иванович так задержался с рыбой? Если увидите, поторопите его, пожалуйста...

Павел Иванович и сам был бы рад поторопиться, но, несмотря на сочувственную помощь Виталия и Алеши, рыбы в затопленной у берега сети не оказалось и пришлось чапать на коротких веслах за полкилометра к дальним сетям. В них попалось несколько толстеньких, серебряных с темной спинкой чебаков и большой лучеперый сиг, но такой незначительный улов только огорчил помнившего гораздо более добычливые времена деда Иванова.

— Куда же делась вся рыба? — жаловался он Виталию, выбирающему из Озера мокрую сеть, изредка выпутывающему рыбу и вновь отпускающему сеть тонуть в прозрачной, ломящей руки воде. — Извели всю рыбу. Тот же лесхоз — чего только не сливают в Озеро, какой гадости... И с турбазы... А ведь раньше в Озеро даже плюнуть не могли — непозволительно было и по шаманским поверьям даже опасно. Куда-то делось, куда-то исчезло чувство родства со всем живым, понимаете? Извините уж за стариковское брюзжанье!

— За что извинять? — нечастым для себя серьезным голосом отвечал ему Виталий. — Даже у местных ничего святого не осталось. День прожит — и ладно.

— Но как, когда это все сталось, вот что мучает меня? Когда все стало ничье? Ведь до германской войны, сдается мне, было иначе?

— А может быть, это просто у вас розовые воспоминания молодости? — задумчиво предположил Виталий.

— Нет, я еще из ума не выжил. Я-то всю жизнь роднился с природой, если и не помогал, то хоть не мешал, великое питал к ней уважение.

— Да о вашей жизни говорить не приходится, — заметил Виталий, — вы-то всегда жили достойно.

— Это как сказать... Я, Виталий, человек очень виноватый... — потупился дед, видимо, вспомнив про непутевого сына, мысль о котором он всячески старался отогнать от себя. И повторил: — Очень я виновный человек.

Совершенно непонятно, что это находило на Алешу временами. Казалось бы, вполне себе нормальный человек, вменяемый, и вдруг взрывало его какой-то истерикой, которая как будто долго скапливалась в нем, как электроэнергия в аккумуляторе, ища только повода подобно молнии вырваться наружу. В деревянной весельной лодке, качающейся под скальным утесом, козырьком нависавшим над озерной водой, словно повторилась поселковая сцена с яблоками для Ирбиса: Алеша опять пошел красными пятнами и начал быстро то ли говорить, то ли кликушествовать:

— Да вы-то в чем виноваты?! Почему это самые совестливые люди всегда виноваты и готовы смиряться с тем, что вечно виноватит их всякое ничтожество, всякая бессовестная и себялюбивая сволочь! За что такая доля?! Если нет вины у хорошего человека — он ее выдумает! «Что делать», «Кто виноват»... Вечная казнь! Ну ладно я, я ничего в жизни не создал, даже семьи, но как вы можете считать себя виноватым, когда вокруг вас все, все абсолютно, считают себя ни в чем не виновными и только виноватят других!

— Да что с тобой? — всерьез забеспокоился Виталий. — Лодку перевернешь, угомонись...

— Да мне самому надоело мучиться неизвестной виной — за все на свете! За лень мою, за нерешительность, за родителей моих — да за все, за все!!! Вот конюх Семеныч Ирбиса мучает, собаку свою убил, и я тоже чувствую себя виноватым... Да вы знаете, как он собаку свою убил? Привязал к лодке, врубил мотор на полную мощь и заволок на веревке в Озеро — так и утопил. Его самого за это утопить надо! В цивилизованных странах за это срок дают, а мы — самих себя виноватим...

— Успокойтесь, Алексей, — положил ему руку на плечо дед Иванов. — Никто никогда зря своей человеческой вины не чувствует. Это значит, что совесть еще не умерла. Но моя вина перед вашей — она и глубже, и обреченней. Это мои дети, которым я не сумел передать ничего из того, чему сам поклонялся всю жизнь. Мне уже недолго осталось — нет, я не боюсь смерти! Это вещь сезонная, как листопад. Не нужно ее бояться. А сад, что ж... Многие создают в жизни свой сад, но не каждый сад можно потрогать руками. Мне повезло и в этом. Растил деревья — растил детей. Но деревья всегда были перед глазами, а вот дети... Не знаю, когда я проглядел их — в школе? Или позже? Мне казалось, достаточно подать им пример...

— Не казнитесь вы, Павел Иванович, — сказал Виталий, который уже перебрался к Алеше и приобнял его, дрожавшего от болезненного возбуждения. — Жизнь их такими воспитала — жизнь и перевоспитает.

— Небольшое утешение, — вздохнул старик. — Вот Степан, сын мой... Он ведь добрый человек — когда не злой. И это не каламбур, в этом — вся человеческая суть его. Он просто распустился, душу свою распустил, избаловал ее потачками. Живет в душевной праздности, все время ищет праздника и не находит его, и не найдет никогда...

Выйдя на берег, Виталий и Алеша стали прощаться — им еще предстояло добраться до южного конца Озера и подняться вверх по впадающей в него горной реке до Долины курганов и ее знаменитых облепиховых зарослей.

— А уха? — напомнил Павел Иванович.

— Спасибо. Ехать нужно, а то засветло не доберемся, — сказал Виталий, отвязывая дюральку от сухого топляка.

— Да вы хоть яблок возьмите с собой! И меда!

— Пожалуй, яблок возьмем, не будем обижать хозяев, — решил Виталий и побежал, как лось, наверх к заимке. Байкал, взлаяв, кинулся за ним вдогонку.

— Павел Иванович, я напоследок хотел сказать вам... — начал было Алеша, но не успел договорить: послышались крики, ойканье, шум и топот, и вскоре на них от устья ручья набежали девицы Катерина и Ольга, обе в растрепанных чувствах.

— Да что ж это, могли бы хоть предупредить, Павел Иванович, что вас такой сыночек навещает, — задохнувшись от бега, просипела Катерина. — Озеро, тайга, мирный уголок! Немедленно прочь отсюда, немедленно уезжать!

— Он что, обидел вас, оскорбил?! — заполошился старик.

— Все было чудно, весело даже. Сначала, — торопливо начала объяснять Ольга, — а потом... Ругаться начал, как припадочный, бешеный стал какой-то! Мы наверх, на заимку — он за нами. Мать оттолкнул, схватил у сарая косу... Куда, думаем, деваться?! Мы опять по боковой дорожке вниз, на ручей, где сидели... Ай, сюда идет!

— Так вы сами дали ему выпить? — наконец понял Иванов. — Зачем же вы?

— Да мы-то в чем виноваты, когда вы с родным сыном совладать не можете! — возмутилась Катерина, которая, похоже, искренне не умела себе представить никакого заслуженного упрека в свой адрес. — Мы же — слабые женщины! И хоть бы один мужчина вокруг на сто километров! Где этот супермен ваш? Как нужен — так нет его, смылся! Как это все сверхсовременно!

Разбежавшийся было с горы Степан, увидев вместо двух девиц целую свору людей, сбавил ход и стал приближаться с косой наперевес — медленно, шаг за шагом…

— Над мужиком издеваться?! Начитались книжек, так в душу плюнуть норовят?! Строят из себя, тоже мне! Да здесь я хозяин, на Озере!

Дед Иванов выступил вперед и заслонил собой девушек. — Степан! Немедленно остынь! Стыдись, на кого ты опять похож?!

— Ай-яй-яй! — закричала Ольга из-за стариковской спины, — поглядите, у него глаза пустые!

— Пусть там, в городе, строят из себя! — Степан продолжал накачиваться негодованием. — А здесь — я хозяин! Я!..

— Да какой ты хозяин — хапуга ты, — ну, никак не получалось у Павла Ивановича вежливо усовестить сына, и старик уже еле сдерживал перед чужими людьми свои чувства.

Степан белыми, невидящими глазами уставился на отца.

— И ты с ними, Добродей?! Мало я от тебя натерпелся! Праведник, бог Саваоф! А сына — в черной рубашке держишь!?

— Да тебя в смирительной рубашке нужно держать, на принудительном лечении! — надсадно закричал старик. — Негодяй! В тюрьме твое место!

— Да не заводите вы его еще больше, он же и так не в себе! — зашикала на деда Катерина. Она бочком-бочком отступала вместе с Ольгой к Озеру, оставляя старика наедине с неуправляемым Степаном.

— Тюрьмой стращаешь, Добродей! — совсем обезумел Степан. — Меня — тюрьмой! — и замахнулся косой на отца.

— Зарежет! — истошно заверещала Ольга и от страха кинулась бежать вдоль берега, мимо Веры Ивановны, которая, спотыкаясь, двигалась с горы на выручку мужу…

— Впутали вы нас в уголовщину, ведь точно, впутали, — укорила ее на бегу рванувшая вслед за подругой Катерина.

И тут Алеша — он потом и сам не помнил, как это было, — вдруг выступил — шагнул вперед и встал между косой и Павлом Ивановичем:

— Брось махать, порежешься, — тихо сказал он Степану, готовому жахнуть косой по чему угодно.

— Алексей, он же совсем обезумел, бегите! — заголосила Вера Петровна, поняв, что не успевает. — Бегите же, не доводите его до греха!

— Брось косу, — все так же тихо сказал Алеша, вчуже удивляясь своей невесть откуда взявшейся бараньей упертости. — Брось косу, Степан. Она еще на другое пригодится.

— Уйди, москвич. — Ненависть ко всему миру и слепое неистовство совсем, видно, обуяли Степана. — Уйди добром. Замараюсь! — вдруг в упоении заорал он, воздев косу, как знамя битвы.

— Брось, — упрямо повторил Алеша, не двигаясь с места и по-прежнему не постигая причин собственного бесстрашия. Степан глядел сквозь него невидящим взором.

— Замараюсь, — орал он, сжав отполированную рукоятку косы так, что забелели пальцы. И не миновать бы, по словам Катерины, скверной уголовщины, если б не подоспел бегом с заимки Виталий…

— Погоди, Степа, не спеши, — сказал он, обнимая Степана сзади за плечи и твердой рукой отбирая у него несостоявшееся оружие. Степан обмяк и пришел в себя…

— У-у-у, чуть до мокрого дела не довели! — завыл он. — Ничего себе — праздник!

Он вырвался из объятий Виталия и с матюками кинулся прочь, за мыс. Вскоре послышался рев мотора, Степанова лодка на полной скорости пошла к другому берегу Озера.

— Неужели обошлось? — спросила притихшая Ольга, на руке которой повисла упавшая духом и униженная позорным бегством Катерина:

— Мне так плохо… Я этого не вынесу… — бормотала она.

— Оля, давайте поможем ей дойти до дома, — сказала Вера Петровна.

— А он не вернется? — вдруг оглянулась Ольга.

— Думаю, теперь долго не вернется, — успокоил ее Виталий. — Проветрится — в страх придет. Ум-то не весь еще пропил. Дело подсудное.

Немного еще потоптавшись, стали расходиться. Виталий и Алеша наконец простились с дедом Ивановым и столкнули в Озеро лодку, на нос которой вспрыгнул косматый Байкал.

— Слушай, а ты молоток, — вдруг сказал Виталий, устраиваясь на корме у руля мотора. — Не ожидал я от тебя, честно говоря.

— Да я и сам не ожидал. У меня до сих пор все внутри трясется, — признался Алеша.

— Внутри — не снаружи, — уточнил Виталий. — У всех много чего внутри делается, а на поступок способен не всякий. Считай, ты на Озере теперь свой человек.

— Ой ли, — усомнился Алеша. А после спросил: — Послушай, Виталий, а сад-то после деда на кого останется?

Виталий отозвался не сразу. Помолчав, сказал:

— Погода меняется. Ехать надо. — И одним движением, с пол-оборота, завел мотор.

Он всегда знал, когда надо было ехать. И куда — тоже знал. И все умел. И ни во что не лез без крайней необходимости. Потому-то Алеша и подчинялся так охотно всем решениям, которые принимал за него Виталий: рядом с ним, вернее, за его спиной прозябать невероятно уютно. Виталий во всем был человек практический, даже чтение книжек не испортило его.

— Ничего не надо придумывать. Жить надо, — говорил он Алеше.

Но чем живая действенная жизнь отличается от выдуманной? Пожалуй, лишь тем, что она, живая, такое выкидывает, что нипочем никому не выдумать. Ведь эта немудреная повесть уже могла бы и завершиться прощальной виньеткой: два положительных героя и верный пес мчатся в лодке наперекор задувающему низовому ветру, предрекающему на Озере неизбежный грозовой шторм…

Однако что делать, если характеры героев еще далеко не исчерпаны? Более того, не могут никакие человеческие характеры исчерпаться одной повестью или

даже романом, когда в жизни всякого человека таких романов, может, два, три, а то и целых четыре.

Это какой-нибудь античный Еврипид, древнегреческий Аристофан какой-нибудь могли обойтись для своих пьес неподвижными масками, выражавшими скорбь, радость, потрясение, изумление, сомнение и все такое прочее. Им такое было позволительно — у них от поступков персонажей ничего не зависело. В роли героя действовал рок, в который ни главные, ни второстепенные персонажи советской — как выдуманной, так и реальной — действительности до конца не верили.

А многие и сейчас не верят.

Ведь разные были типажи и персонажи и тридцать лет назад. И пьяные, и трезвые. И глупые, и мудрые. И бессребреники, и карьеристы. И старики, и молодые. И мужчины, и женщины. Все хотели жить хорошо — каждый по собственным представлениям; все рассуждали и умничали — каждый на свой лад. И каждый думал, что над ним никого нет и он сам свой высший суд.

Словом, каждый жил и выживал, как мог, будучи по воспитанию убежденным, что он сам себе и бог, и царь, и герой, только вот другие этого никак не понимают.

А вышло-то все по Еврипиду, в крайнем случае, по Софоклу.

Взять хоть наших действующих лиц. Скажи им в тот судьбоносный вечер на Озере какой-нибудь алтайский шаман-оракул, что не пройдет и десяти лет, как ни партийно-хозяйственного актива, ни самой Страны Советов больше никогда не будет, а вся обустроенность и устаканенность жизни окажется воздушней и мимолетней творимых Озером облачных замков, ни в жизнь бы никто не поверил.

А кто-то и донес бы куда следует.

Сказано же, умные были все — каждый был себе на уме. Ни оракулов уже не слушали, ни поэтов.

Все были умные. Всем было все равно. Все по-своему чувствовали настроение жизни и для самих себя искали ее устроения.

Так чего жальче то? Бога? Отчизны? Или грез этих, иллюзий, что можно как-то уравновесить жизнь по справедливости, чтобы всем было хорошо и всем всего хватило?

А куда ж тогда денутся человеческое себялюбие и порожденный в очередях страх, что тебе не хватит хорошего и только плохого, как всегда, достанется с верхом?

А может, и вправду — наплевать на все и работать? Она ведь тоже лечит, работа, если не на дядю, а ради чего-то. Но вот чего ради?

8.

Хорошо тем, кто вовек не задавал себе подобных вопросов и не искал философских оправданий своему бездействию; хорошо тем, кто во все времена не столько говорил, сколько делал!

Хорошо людям вроде русского деда Иванова или таежных алтайцев Евдокима и Розы, чей сокровенный кордон Виталий и Алеша вынужденно посетили по пути к облепиховым кустам. Слава богу, что низовка накрыла их лодку холодным дождем с ветром не на самом пошедшем рифлеными волнами Озере, а в устье наливающей Озеро быстрой реки, и Виталий порешил переждать главную непогоду.

Благо было где переждать.

Аил Евдокима и Розы — восьмигранная оседлая юрта, сложенная из отесанных кедровых бревен и накрытая конусной рубероидной крышей — притаился вместе со всем остальным хозяйством в прибрежной тополевой роще под заросшим кустами маральника и смородины скальным утесом, в двух шагах от бело-сине-зеленого потока, плавно и стремительно несущего в Озеро закрученные спирали бурлящих водоворотов. Здесь же, на выселках, стояли просторный зимний дом и прочный хлев на три коровы с открытым загоном для овечек. На этом кордоне тоже все время слышался мерный шум воды, и в сумерках не различить было Алеше, сама ли река так шумела, обтекая валуны, или это горный холодный ливень обрушивался на ли-

ственную рощу из разверзшихся небесных хлябей, где, высекая молнии и гремя, то и дело сшибались лбами несомые ветром черные тучи.

Уже совсем свечерело, когда Роза принесла в аил, тускло освещенный огнем срединного очага, парное молоко и твердокаменный сырчик-курут, что вместе с походной провизией гостей составили незамысловатый, но желанный ужин. Еду запили сваренным здесь же, на кованом тагане, кирпичным чаем, закипяченным с молоком и сдобренным сухим талканом — толченым ячменем, который вместе с молочным сырчиком издревле спасал алтайцев от голода. Говорили мало: было слышно, как по крыше приземистого аила сначала барабанил дождь и как потом звучно падали на мокрую дресву крупные остаточные капли. Хозяева не завели привычки к пространным разговорам, да и гостям прожитый день дался непросто: все разошлись по своим местам и уснули по-деревенски рано.

Зато рано и проснулись. Когда Алеша открыл глаза на своем топчане, Виталия в аиле уже не было, но сама кедровая юрта, не в пример вчерашнему сумраку, была полна света. «Что же мы о себе воображаем? — думал Алеша, спросонья наблюдая, как в ниспадающих полосах лучистого света плавают невесомые пылинки: — Встаем на всякие ходули, чтобы казаться выше, чем мы есть на самом деле? И боимся потом с них упасть? Лишнего шага сделать не смеем? Всего-то и надо ведь, что быть в ладу с самим собой...»

— Опять грезишь, интеллигент? Поехали! — скомандовал, заглянув в аил, Виталий.

— А где Роза, где Евдоким? — спросил Алеша, по выходе из кедровой юрты не застав никого на хозяйстве.

— При делах давно, в тайге. Они, как некоторые, зарю на топчане не встречают, — насмешливо ответил Виталий.

На пути к желанной облепихе они еще приостановились у впадающего в реку аржана — святого родника, над истоком которого стояло жертвенное древо, все увитое привязанными к ветвям разноцветными ленточками — просьбами к *бурхану,* духу родника.

А вот у Алеши не оказалось ни просьб, ни желаний. Ему с самого светлого пробуждения казалось, что после вчерашнего приключения жизнь его пойдет только от хорошего к еще более неплохому.

Он, сидя на корточках, сладко умылся проточной родниковой водой, вытер лицо носовым платком и прислушался — сначала к тому, как вздыхает в поредевшей листве утренний ветер и как осенняя листва отвечает в синем небе золотым переплеском, а потом и к себе самому. Какая-то спокойная тишина, какая-то непривычная ублаготворенность вдруг обнаружились в его душе, и Алеша опять подумал, что отныне все будет хорошо.

И правда, хорошо начинался и этот день. Только кончился плохо.

9.

Виталий смело повел свою дюральку вверх по течению, уверенно лавируя между валунами, когда-то закатившимися в реку с поднебесных утесов. Этими огромными обломками скал были усеяны все рощи и просторные поляны по обоим берегам неуемной реки, временами прижимающейся сильным трепетным телом к отвесным стенам широкого ущелья. Вверх по течению река все крепла, тело ее становилось все мускулистей, мощней, ретивее. Вот в нее ворвался последний крупный приток, пробившийся сквозь нагромождение желтых камней. И тут настежь распахнулась степная Долина курганов, широкая, просторная, со всех сторон окруженная складками каменистых гор, по иссиня-серым склонам которых плавно и неспешно, как сами небесные облака, проплывали их тени...

— А что, тут и правда курганы? — любопытствовал Алеша. — Древние? В Москве знают про них?

— Лучше бы не знали, — буркнул Виталий. — Наехало их сюда, этих гробокопателей...

— В смысле — археологов?

— Гробокопатели они, а не археологи. Рыщут тут кругом. Разроют погребение, просеют землю, а кости — наверх, на отвалы, на солнцепек, под дождь. Хоть бы прикопать удосужились. Ученые!

— Что это ты так ученых-то не любишь?

— А чего их любить? Я вот тут зимой заболел — так вдруг внутри плохо стало, пожелтел весь! — положили меня насильно в больницу в райцентре, стали надо мной колдовать — кровь сосать, давать всякие разноцветные пилюли. Я их сначала брал, принимал — от них мне все хуже становилось, уже еле с кровати вставал.... Потом все стал в окно выплевывать, когда никто не видел: снег стаял — под моим окном целая россыпь этих таблеток, химических пилюль этих... А сам мумие пил, облепиховым маслом лечился, мне жена в больницу привозила. Так и выкарабкался...

Лодка прибилась к пологому берегу напротив крутых скал, вертикальной стеной уходящих вверх, к самому небу. Под скалами, очевидно, было глубоко: речные струи закручивались зеленым пенистым омутом. А по всему степному берегу росла облепиха — высокими, густыми и очень колючими кустами, всплошь облепленными поспевшими желто-оранжевыми ягодами. Это были настоящие заросли — всамделишная чащоба. Правда, за годы в ней протоптали тропки, и получился целый лабиринт.

Виталий и здесь знал, куда нужно идти. Взяв из лодки рюкзаки и изобретенные Виталием гребенчатые деревянные черпаки для счесывания ягод с колючих веток, они двинулись извилистой стежкой к одной заветной поляне, где Виталий намеревался встать лагерем дня на два.

Но человек, как рано или поздно убеждаются все на свете, только предполагает, а располагает кто-то совсем другой. Укромная поляна с кострищем на закраине облепиховых кущ, распахнутая с одного бока в курганную степь, оказалась занятой.

Но если бы просто занятой!

Из наспех сделанного шалаша им навстречу выползал на четвереньках, с всклокоченной головой в сухих травинках, совершенно неожиданный персонаж — Егор Полубесов, егерь из Яблочного. Он был все в той же защитного цвета стройотрядовской форме и все в той же рубашке, в какой был в последний раз на пасеке. Полубесова все еще трясло и корежило от ночной сырости и спанья на старом сене. Видно было, что приехал он сюда вчера без припасов и без теплого спальника, так, словно поспешно бежал от чего-то.

Так оно и оказалось.

— Накатались? — охрипшим голосом спросил Полубесов. — А я тут вас со вчерашнего дня жду. Уж замаялся ждать. Может, думаю, ваще сбежали с Озера?

— С чего это? — удивленно спросил Виталий, а у Алеши вдруг появился во рту мерзкий привкус, и все опять заныло внутри от предчувствия чего-то очень и очень скверного.

— А что мне думать, куда деваться? Вас нет нигде — укатили, а мне прикажете одному в поселке все расхлебывать?

— Да что расхлебывать-то, говори толком!

— Что, что! А то, что мы с вами человека убили, вот что! Конюха, Семеныча, убитым нашли на пасеке, вот что! Утром и нашли, сразу после нашей стрельбы. Кого-то из нас угораздило по ночной темноте.

— Да ты что? Как? Кто нашел?

— Нашли уж. Федот тракторист и нашел. Не надо было попусту в темноте стрелять. Господи, не хотел ведь я с этими медведями на пасеке связываться, не хотел... Чуяло мое сердце...

— Погоди ты ныть, — в сердцах сказал Виталий. — Расскажи толком.

— Чего уж там! Вчера с утра пошел к магазину, чтоб распорядиться насчет мяса — больше двух кило в руки не давать, а там уже Федот всем талдычит: «Семеныча, мол, убили! На пасеке в кустах труп валяется!» Я дальше и слушать не стал — дал деру! Только ружья и успел из дому забрать да рацию запереть в комнате! Вроде на учет маралов поехал.

— А сюда зачем приперся?

— Как это зачем?! Надо ж обговорить втроем, что делать теперь. Ладно еще

телефон в поселке не работает — хоть следователей никто пока вызвать не может. Рацию я, говорю, в своей комнате запер. Есть маленько времени — обговорить, какая такая будет наша версия...

— Ни хрена себе. — Виталий сел на землю у потухшего костра. Байкал, почуяв озабоченность хозяина, подошел и лег рядом, положив седую башку на передние лапы. Но размышлял Виталий недолго:

— Назад надо ехать, разбираться. Чего тут сидеть?

— Куда назад? — перепугался Полубесов. — Да там сразу заметут — и на цугундер! И разбираться никто не будет. Космачева, что ли, будет разбираться?! И вообще, я в воздух стрелял! А вот вы куда стреляли? Ты вот, москвич, куда стрелял?

— Куда все, туда и я, — у Алеши оборвалось сердце, упало и застряло где-то в трясущихся кишках.

Внутри него словно вдруг резко убавилось света, и в сумерках души замаячил самый страшный призрак его жизни — призрак равнодушной, жестоко безразличной к его укромному существованию машины, призрак казенного дома и казенных разбирательств.

И надо же, чтобы это обрушилось на него именно, на природном просторе, где свобода Алеши — да всего лишь минуту назад! — ограничивалась только его собственным чувством самосохранения, а не чьим-то властным произволом.

Да, вчера он не испугался Степана с его косой, но ведь он *сам* не испугался, *сам* пошел на рожон. А теперь?

«Надо было загадать желание у того родника-аржана, — жужжала у виска Алеши навязчивая мысль, — надо было загадать, чтобы все было хорошо! Зачем было думать, что и так все будет хорошо, зачем?»

Теперь-то он точно знал, чего надо было пожелать. Только свободы, свободы — сколь угодно малой и скудной, но — свободы! Чтоб можно было, если вздумается, отойти в степь посмотреть на раскопки или, пусть даже с опасностью для жизни, забраться на крутой утес и оттуда, сверху, глядеть на эту долину с ее окаменевшими курганами и выветренными холмами, с ее синим небом в редких облаках, где, вольготно распластав крыла, кружат и кружат коричневые ястребы...

А можно бы и не идти, не лезть никуда, а просто сидеть и рассматривать, рассматривать до конца жизни простые земные растения — хотя бы вот этот, торчащий прямо перед глазами сухой кусточек — степной омелы с мельчайшими звездчатыми соцветиями, подобный слаженному из проволоки каркасу с горящими на нем крошечными белыми лампочками...

Алеше стало жутко.

Невероятно страшной представилась ему эта внезапная участь — вдруг утратить едва обретенную свободу действий и оказаться в полной зависимости. Причем не в благодатной зависимости от Виталия, мастера и умельца, не в противной зависимости от собственных черных депрессий либо капризных настроений нелюбящей женщины: все это было либо желанно, либо уже терпимо. Нет, до изнеможения в желудке ужасала Алешу надвигающаяся на его жизнь казенная подчиненность роковым, не подвластным ему обстоятельствам. Как будто он мальчик, беспомощный, зависимый мальчик, для которого каждый взрослый, будь он хоть последний идиот, — беспрекословный начальник и полный командир.

Мысль об этом была невыносима, но отогнать ее от себя он уже не мог: она кружилась и жужжала, как осенняя оса, которой так хочется напоследок ужалить кого-нибудь побольнее.

— А как они докажут, чья пуля? — вдруг вслух проговорил он и вновь ужаснулся тому, что говорит. — Как вообще докажут? И что будет?

— Пуля, если ее найдут, она как отпечаток пальца — по пуле определят ружье, а там и стрелка. Все просто, — хмуро сказал Виталий. — Ну ладно, Алексей, поехали. Нечаянно ведь все вышло, не нарочно. Догоняйте! — и он пошел обратно к лодке, закинув за плечо рюкзак со скарбом.

— Послушай, — горячо зашептал Полубесов Алеше, едва Виталий скрылся за высокими облепиховыми кустами. — Послушай, москвич. Тебе туда ехать нельзя и не

надо, тебя первого к стенке припрут: ты с конюхом не ладил и вообще — не местный человек, подозрительный. Тебя и отдадут на расправу, и увезут, и посадят.

— А почему не тебя? Не Виталия? — не шибко соображая от обуревающего его страха, подумал вслух Алеша.

— А потому что я даже в воздух не стрелял, понял?! Я ваще не стрелял! Так и скажу — такая будет моя версия. Я ведь успел, дома оба ружья почистил — и свое, и твое: как будто мы оба просто сидели-спали на чердаке, а стрелял вроде один Виталий.

— И мое тоже почистил? Что добрый такой?

— А потому, что спросят, зачем ружье дал малахольному? И службе моей — кранты. А я ведь жениться собрался...

— Так мы же такую пальбу устроили — на все Озеро было слышно!

— Это ничего. Бабка глухая, пасека — на отшибе, за садом. От жилья далеко, за деревьями — не разберешь, сколько выстрелов было. Да и спали уже все. А кто не спал — не пойдет на своих доносить. Ему же самому тут потом житья не будет!

— А Виталий?

— А что Виталий? Он мужик местный, на Озере его все знают, характеристики все положительные. Сразу скажут, что не нарочно убил. Обойдется. Не то, что с нами: мне карьеру испортят, а тебя вообще посадят, не разбираясь. Не любят у нас москвичей, сам знаешь. За всех москвичей на тебе одном и отыграются!

— Логично. Да что же мы Виталию скажем? — Алеша вдруг содрогнулся от мерзкой неизбежности предательства, тем более что Виталий уже дважды звал его с берега.

— А что — а то и скажем, что не хотим пока ехать, — быстро проговорил егерь, завидев возвращающегося Виталия:

— Алексей! Ну, где вы там?

— Я — это... — промямлил Алеша, отводя глаза, — я не готов пока... Надо подумать еще. Не готов я сейчас ехать. Не готов...

Виталий посмотрел на него долгим взглядом, все-то про него понял и пожал плечами:

— В таких случаях бесполезно умствовать, — сказал он, — но вольному воля, спасенному рай. Насильно волочь за собой не стану — тебе решать. Решаться, однако, все равно придется, так я думаю — лучше побыстрее, чего зря-то кота за хвост тянуть..

Виталий замолчал, глядя на Алешу, но тот тоже безмолвствовал. Чего-чего, а отмалчиваться он за свою жизнь научился. А потом выдавил из себя:

— Подумать — мне подумать надо.

— Знаешь, Алексей, — только и сказал тогда Виталий, — одно тебе скажу: думай не думай, умничай не умничай, но уже ошибся ты — не того ты сейчас товарища выбрал, не того. Идем отсюда, Байкал! — и старый преданный пес медленно побрел за Виталием к лодке.

Взревел мотор, а потом стало совсем тихо, если, конечно, не считать безучастного журчания воды у покрытых мхом скальных глыб...

10.

После отъезда Виталия сговор не сразу, но состоялся.

Порешено было подъехать в Яблочное через пару дней, когда с Виталием уже *разберутся*.

Никто же не видел, как Алеша с Виталием уезжали в позапрошлую ночь на моторке из Яблочного. Да и кому до Алеши дело? А если все-таки спросят, почему не вернулись обратно вместе с Виталием, то они, егерь с Алешей, имели же право остаться в тайге — вести учет маралов.

А почему бы и нет? Они ж не стреляли и ни в чем вины своей не видят.

Что бы Виталий ни рассказал властям, их было двое против одного, а поспешно вычищенные шомпольным маслом ружья свидетельствовали в их пользу.

Главное, чтобы улеглась суматоха, а там... Словом, надо держаться уговора, и не дрейфить, и все будет тип-топ.

После этого разговаривать с егерем стало не о чем, и Алеша молча ушел в степь, к раскопанным курганам. В степи действительно зияли то тут, то там прямоугольно разрытые погребения, в отвалах которых среди комков каменистой дресвенной земли порой и вправду белели искрошившиеся обломки человеческих костей.

Рядом с одним раскопом Алеша поднял из сухой серебряной травы крохотный позвонок ребенка, похороненного здесь многие столетия назад, когда люди здесь жили по другим устоям, однако небо, степь, окрестные горы, река, а также понятия верности и вероломства были все те же, и еще не выветрились, как некоторые отдельные холмистые образования, состоявшие, как оказалось, из мягких горных пород.

Исподволь наставал новый вечер — в закатной, отсыревшей и горьковато припахивающей полынью степи начали покрикивать мелкие ночные птицы. Но Алеше все не хотелось возвращаться. Ему казалось, что в одиночестве ему легче уговорить себя, легче затушевать в душе смешанное чувство страха и внезапной предательской измены.

Да так оно и было, чего греха таить. Так оно и было.

Возвращаться, однако, пришлось, поскольку возвращаться всегда приходится. Солнце закатилось за горную гряду; несмотря на багровеющее небо, в степи быстро смеркалось.

И Алеша отрешенно побрел — назад, на брезжущий свет костра.

Подойдя к облепиховым кущам, он похолодел: возле вьющегося огня ходили и громко переговаривались двое. «Следователь! — промелькнуло в голове Алеши, — уже! Как быстро! Как же нелепо все!»

Но это был не следователь. Это был Виталий, который громко отчитывал егеря Полубесова:

— Это надо ж быть таким идиотом, ничего не проверить, не узнать! И зачем сразу было когти рвать, ты же лицо ответственное, мать-перемать!

— Труханул я, Виталя, — оправдывался егерь. — Кто бы не труханул — ведь вся жизнь вдруг на волоске повисла!

— Ладно еще, на Озере катер встретил — ребята все рассказали. Пошел теперь вон отсюда, не погань мне место! — круто и кратко скомандовал Виталий, садясь у костра. — И приятеля своего с собой забери, — еще жестче добавил он, завидев подходящего Алешу. — Нечего ему тут делать, — и отвернулся, гладя Байкала по широкой кудлатой спине.

Алеша понял, что делать здесь действительно больше ничего не придется. Есть ошибки, которые нельзя исправить, только отмолить можно, да и то, если знать, кому молиться. Он понуро последовал по тропе за Полубесовым.

Река еще светилась в загустевающих сумерках, и надо было спешить, чтобы успеть выбраться в Озеро, пока темнота не упала окончательно.

— Скотина пьяная! — хмыкнул, рванув поводок мотора, Полубесов. — Надо же так напиться, чтобы тебя от мертвого отличить не могли! Какого страху из-за него нетерпелись, сколько времени потеряли!..

11.

Оно, конечно, прекрасно, что конюх Семеныч оказался живой. Конечно, вел он себя не по-людски. Стыда и совести не имел. Животных мучил. Но — человек ведь. Душа ведь — темная, рядовая, необученная, но все-таки живая. Тогда, тридцать лет назад, это еще что-то значило.

Тогда многое еще что-то значило.

Егерь Полубесов сумел-таки и в полутьме вывести лодку в Озеро. Правда, наскочив в самом устье на мель, чиркнул винтом о донный камень и сорвал напоследок шпонку, благодаря чему их хоть и вынесло спасительным течением далеко на озер-

ный плес, лодка осталась там, между высоким небом и глубокой водой, без руля и без ветрил.

И, как выяснилось, даже без весел. Полубесов ведь, когда сдрейфил и сбежал, в страхе своем и не подумал о веслах. Так пришлось им всю ночь дрейфовать по Озеру, пока не настало светлое утро и их не заметила проходящая моторка…

Егерь от всех переживаний скоро прикорнул на корме и засопел, вздрагивая от ночной сырости. А Алеша все думал, думал… Наверное, про нравственное чутье или, паче того, про тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого человеческого поступка…

Тогда-то ему и явилось, как Озеро творит облака. Они вздымались над Озером и вертикально уходили прямо к мерцающим созвездьям, но там, в тех высях, быстро редели, расплывались на отдельные туманные клочья и, как все мимолетное, исчезали, не застя взору огромного, вечного и очень высокого звездного неба, которое посильно отражалось в темных, прозрачных, ледяных и глубоких озерных водах.

Так Алеша все темное время суток провел на тончайшей грани между двумя звездными пучинами, носясь по воле вод и постигая свою малость, беспомощность и гадкую вину перед Виталием, а заодно и перед красотой и великолепием небесного устроения. Что еще постиг он, осталось неизвестным, потому что всему, кроме звездных туманностей, есть пределы, даже праву безнаказанно копаться в человеческих душах.

Впрочем, что бы он, вконец озябнув и усовестясь, ни надумал для себя в ту осеннюю ночь на Озере, какую бы покаянную дорогу себе ни выбрал, это вряд ли успело свершиться.

Вскоре настала другая эпоха, и все светлые грезы и темные грехи остались в прошлом, которое, хоть и не прошло, еще никого ничему не научило. Даже тому, что всякий человек в конечном счете поверяется только одним — ведет или не ведет он себя среди людей по-людски, по временам оглядываясь на вечность и абсолютную справедливость небесных устроений.

Ведь вечность — она таки существует, и, бездействуй не бездействуй, отмахнуться от этого простого научного факта ни у кого уже не получится.

Как не получилось это ни у кого и тогда — лет тридцать тому назад.

1980—2010

Ника Джорджанели

В обход родимого края

С грузинского.

Перевод Алексея Цветкова и Максима Амелина

Условное наклонение

Выходит в конечном счете,
что условное наклонение выбилось в лидеры.
Оно, если речь о несбывшемся счастье,
пребывает в своей стихии.
Если о неминуемом несчастье —
то и тогда приоритет за ним.
Оно бестелесно как воздух и заметней огня.
Оно притупляет поступок и сбивает с толку субъекта.
Оно патрулирует перепутья содержания.
Оно — сердце языка и мера реальности.
Оно большей частью монолитная правда.
Как убедительно звучит, например, такое:
«Случись взрыв на несколько секунд раньше,
жертв бы не было»,
или, допустим, это:
«Если бы у тебя были деньги,
мы непременно были бы вместе».
Условное наклонение!
Желательность, предположение, возможность...
Пусть так. Но и одно: Истина!

Джорджанели Ника — поэт, переводчик. Родился в 1978 году в г. Тбилиси. Окончил Тбилисский ун-т им. Ив. Джавахишвили, ф-т западноевропейских языков и литературы по специальности германистика. Преподавал немецкий в школе, грузинский в Московском лингвистическом ун-те. Автор книги стихов «Раздражение от бархата» (2003). Лауреат международной премии «Содружество дебютов» (2008).

Цветков Алексей Петрович — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1947 году на Украине. Учился в Одессе и Москве, в МГУ. Один из основателей поэтической группы «Московское время». Арестован и депортирован из Москвы (1975). Работал на радио «Свобода». Автор нескольких книг стихов, прозы и эссе. С 2009-го живет в Нью-Йорке.

Амелин Максим Альбертович — поэт, переводчик, издатель. Родился в 1970 году в г. Курске. Учился в Литинституте в 1991—94 гг. Печатается с 1995 года. Автор книг стихов: «Холодные оды» (1996), «Дивіа» (1999). Издал сборник переводов Катулла «Избранная лирика» (1997), а также книгу стихов, переводов и эссе «Гнутая речь» (М., 2011). Живет в Москве.

То, чего мы хотим, но не происходит,
и то, чего не хотели, но произошло —
и первое, и второе
под контролем условного наклонения.
Оно ставит нам условия,
слишком сложные условия,
нам, стремящимся к счастью.
Им явлено на свет изъявительное наклонение,
им обусловлено,
оно лишь сопутствующее событие.
Если вдуматься толком в изъявительное наклонение,
то оно, мы заметим в момент констатации счастья,
по сути малодостоверно,
и это — результат несоблюдения условий,
поставленных условным наклонением.
Воспоем же условное наклонение!
Смягчим его суровость!
Расслабим его бдение
вялым и валким изъявительным наклонением!
Во избежание подозрений с его стороны
временами развеем его и убогим повелительным!
Да не расстроим этот мрачный контекст событий.
Да не прогневим его всуе.
Да не погибнем.

Перевод Алексея Цветкова

* * *

Там, в полусумеречном углу вечера,
ты поешь колыбельную запряженному веревкой,
уже наполовину сомкнувшему глаза дракону.
Звезды, эти междометия вселенной,
рассыпаются в небе над тобой.
Твоя неприступность несравнима
с неприступностью сказочных темниц,
ты куда дальше, чем они,
за морями в нескончаемых волнах
по ту сторону песочного детства,
там, куда даже свет, зажженный тобой для меня,
долго не попадает своим ходом,
и куда тянутся из теплых стран,
в обход родимого края,
перелетные птицы.
Там,
у ворот
кладбища,
ты стоишь с ветром в волосах в ожидании меня,
не желая ничего, кроме
моего выхода.

Перевод Алексея Цветкова

Стансы

I

Мозг мой разлука гложет:
справиться — не способен;
вечности день, что прожит
мной без тебя, подобен, —
выпь голосит средь нощи
воплем о том гортанным.
Мне ж обернуться проще
каменным истуканом.

II

Я не терял рассудка, —
жаль его непотерю!
Страсть ожививший, чутко
вслушиваюсь и верю
той тебе, что как совесть
вечно казнит, коль плохо
мной творимое, то есть
стук о стенку гороха.

III

Отдаленная, лучше
мой раскрываешь дар ты, —
сам себя, как заблудший,
я при помощи карты
одиночества к цели
вывожу. — К стихоплету
проявляешь ужели
сквозь пространство заботу?

IV

В предстоящем зерцале,
праведном и глубоком,
жрицей ты через дали
зришь всевидящим оком,
где я, силен ли, слаб ли,
мучишь, коришь как хочешь, —
скоро меня по капле
каменного источишь.

V

Я коробок размокший
спичек в осенней луже
вспомнив, пою. — Потекшей
вниз по щеке, снаружи
мертвенной, той подобно
счастье одной слезинке, —
ведомо нам подробно,
наизусть, без запинки.

VI

Что поделать, я — тот, с кем
тяготишься союзом
и духовным, и плотским
ты, как ненужным грузом.
Ни меж собой мы сами,
ни с отчизной — не родня,
разве став мертвецами,
в зазеркальном «сегодня».

VII

Времена не похожи
друг на друга нимало, —
хладнокровней, до дрожи,
прежних — то, что настало:
шум его беспрестанен;
жаром страсти объятый,
я амуровой ранен
не стрелой, а гранатой.

VIII

В мыслях твое насто[ль]ко
мной изласкано тело,
что от удара тока
кто другой, оголтело
тронув тебя, отпрянет,
но, себе разъяренно
боль причиняя, станет
ждать ответного стона.

IX

В лед обратиться, в иней
жилам, суставам, коже,
ведь без тебя — с пустыней
хладной пространство схоже,
но лежать, снегопадом
тешась, как бы хотела
ныне с тобою рядом
каждая клетка тела.

X

Воздух порвать бы в клочья! —
Нас представить в пределах
розных не мню точь-в-точь я
черными клавиш белых,
ангелов ли хохмящих.
Хлопьев ты кружишь ватой
в поле зренья, маячишь,
словно кадр двадцать пятый.

XI

Саваном плотным скрыты
у надежды, у счастья
и чело, и ланиты, —
пульса ни у запястья
пальцами, ни губами
не прощупать на вые.
Рвешь ты сердце, как знамя,
на лоскутья живые.

XII

Мрак. Пустынные виды.
Я по гиблому краю
не планеты — планиды
астронавтом ступаю,
но, зане не разъемлю
яви с вымыслом звенья,
некому ждать на землю
моего возвращенья.

Перевод Максима Амелина

Светлана Михеева

Тетенька и слон

Повесть

Всем без исключения Степанам Петровичам
посвящается эта коротенькая повесть...

... А сегодня очень хочется рассказать одну замысловатую историю про нашего современника, замечательного Степана Петровича Тетеньку. Конечно, мы могли бы сочинить сентиментальную повесть о том, как Степан Петрович Тетенька повстречал прекрасную Людмилу Сергеевну Дяденька. Можно было описать их роман, как они поженились, как родились у них дети, взявшие двойную фамилию Дяденька-Тетенька — или, наоборот, Тетенька-Дяденька, как угодно. Но это будет неправда. Тем более что жена у нашего героя уже имелась. Или могли бы наплести поучительную историю о тяжелом детстве Степана Петровича. Но ведь и без того ясно, что иным и не может быть это беспечное, полное радости время при такой-то удивительной фамилии. Однако мы предполагаем в тебе, читатель, ум пытливый, желающий постичь не только и не столько казусы быта, сколько тайны бытия. Поэтому с великим нашим уважением к читателю, а также к Николаю Васильевичу и Михаилу Михайловичу, не желая никого поучать или вводить в сентиментальный соблазн, поведаем правдиво и просто.

Итак, Степан Петрович Тетенька вышел из дому, когда утро только набирало силу. Лунный рогалик еще просвечивал в нежной синей высоте. Как человек твердых принципов и правил, Степан Петрович сначала умылся, ровно две минуты уделив очищению ротовой полости, гладко заправил постель, съел геометрически правильный бутерброд, украшенный веточкой петрушки, и только потом спустился на улицу. Собственно, на улицу он вышел на минутку — опустошить в зеленый облезлый контейнер розовое мусорное ведро. Нельзя проживать новый день со старым мусором. Опустошив, поднялся к себе в квартиру и снова — о, ужас! — лег спать.

Мы не можем ответить на вопрос, что побудило его улечься спать снова. Это, честно говоря, нас самих изрядно озадачило. Ведь Степан Петрович имел железобетонные устои, согласно которым вставал он всегда в восемь утра, будь то летний день или вьюжный зимний. Скорее всего в этот раз он сильно не выспался, так как до позднего вечера гладил постельное белье, желая, чтобы к приезду жены оно пахло не только свежестью и чистотой, но и трудами человеческих рук. Или, возможно, он переутомился, играя половину дня в шашки сам с собою. Или вечерние новости произвели на него столь глубокое впечатление, что он ворочался до утра, представляя себе заседание «большой восьмерки». Впрочем, что бы ни было причиной его недосыпа, нужно сказать прямо — этакое поведение Степана Петровича было из

Светлана Михеева родилась в 1975 в г. Иркутске, где проживает и поныне. Закончила Литературный институт им. Горького (отделение поэзии). Пишет стихи и прозу. Является одним из организаторов Фестиваля поэзии на Байкале. В «ДН» печатается впервые.

ряда вон. А это навевает нам авантюрную мысль: в этот день в жизни нашего героя должно бы произойти что-то необыкновенное.

Тем более что Степан Петрович, несмотря на свое глубочайшее почтение ко всему правильному и основательному, очень любил также все необыкновенное. Прямо скажем — тянулся к нему с детским задором. Он загорался радостью, когда жена привозила с дачи этакий помидорище или морковку, формой напоминающую нижнюю часть женского силуэта, или когда обнаруживал он на книжной полке книгу со склеенными листами, которую никто до сей поры не прочитал. И он кидался читать фолиант — к слову сказать, книгой был справочник мастера холодильных установок — и приобретал неожиданные теоретические познания.

В его организме любовь к порядку и тяга к удивлению ничуть друг другу не противоречили. Даже напротив, чем больше узнавал Тетенька удивительных вещей, тем более крепла в нем привязанность ко всему правильному. И наоборот, чем более размеренную и четкую жизнь он вел, тем больше удивлялся посторонним вещам. Увидит дерево в лунном свете или кота на заборе, который смотрит на него, Тетеньку, будто человеческим взором, — и неделю ходит под впечатлением красот и чудес. Тягу к чудесному Степан Петрович всегда подкреплял научным фактом. Для этого пустил дома Интернет и со всяким трудным вопросом лез за советом в мировую паутину.

Самой большой и неразрешимой загадкой на протяжении долгого времени оставался для Степана Петровича один природный факт: почему же слоны — огромные, неповоротливые — так хорошо плавают. Как же они загребают воду такими ногами-тумбочками? Непонятно. Степан Петрович изучал этот вопрос, но нигде не мог получить достаточно убедительного ответа. То есть ответы у научного сообщества имелись, но по сравнению с масштабом проблемы, которую развернул для себя Степан Петрович, все они казались какими-то ненадежными. Например: у слона много жира, вот он и плавает или — ноги у слона широкие, вот он и загребает ими как следует. Ну что это?! — с одной стороны, слон, гигант суши, величие животного интеллекта — а с другой — жир. Тьфу, что такое, а не ответ.

Разочаровавшись в научном объяснении, Степан Петрович устраивал народные опросы, мучая знакомых и родственников. Увы, никто не имел сколько-нибудь оригинального объяснения слоновьей плавучести. Въедливый натуралист однако ж не оставлял надежды проникнуть в тайну.

Дело жизни Степана Петровича было ничуть не удивительным и даже более чем прозаическим — он охранял склад готовой продукции. Не то чтобы ему это как-то особенно нравилось. Но охранять склад было, по кодексу Тетеньки, настоящим мужским делом. Склад имел правильную квадратную форму, что тоже приносило Степану Петровичу некоторое удовлетворение — его обязанностью было обходить территорию по периметру. Он выискивал дыры в заборе и забивал их дощечками, что также давало ему право честно смотреть в будущее. Да, признавался он себе, временами здесь скучновато, даже более того, от скуки выть хочется. Но духом не падал. Тем более что жизнь умудрялась и на службе преподносить Тетеньке удивительные сюрпризы. Раз, прогуливаясь по периметру охраняемого объекта, он заметил в небе необычной формы облака. Они напоминали лежащие и сидящие фигуры. «У природы удивительное чувство юмора, — рассуждал Степан Петрович. — Как смешно видит она нас, людей. Ну, ясно, мы для нее ничтожества и больше ничего». Ему было так приятно думать о величии природы, что он забыл охранять объект. На следующее утро начальник потребовал написать объяснительную, потому что в дежурство Степана Петровича кто-то спер целый ящик готовой продукции. Степан Петрович очень расстроился, ведь железные внутренние правила предписывали держать слово — а исполнение служебных обязанностей (ровно как и супружеских, общественных и других прочих) в его кодексе было записано под пунктом: «выполнение обещания». С тех пор Степан Петрович утроил бдительность, не позволяя себе отвлекаться на службе.

Но все же вернемся поскорее к тому дню, который, по нашему мнению, сулил Тетеньке необыкновенные происшествия.

Итак, день выдался ясный и грозил к полудню сделаться жарким. Когда Степан Петрович проснулся окончательно, близилось уже к десяти часам. Он навел посред-

ством компьютера справки о погоде, надел бодрые и аккуратные джинсовые шорты, майку, кепку козырьком назад, повесил на тело маленький цифровой фотоаппарат, замкнул обитую черным дерматином дверь и постучал к соседке. Соседкина дверь робко приоткрылась, на стук просочился на площадку вихрастый курносый мальчик. Степан Петрович решительно взял его за руку, и они зашагали вниз, на улицу. Пошли прямо, к автобусной остановке, а выйдя из автобуса, зашагали и дальше. Было воскресенье, и Степан Петрович шел воплощать свою заветную мечту.

* * *

Может, вы подумали, что заветной мечтой Тетеньки было украсть соседкиного мальчика? Тогда мы вынуждены вас разочаровать. Степан Тетенька был честным человеком и никогда ничего не крал. Более того, он был человеком законопослушным. Ни за что не переходил улицу на красный и даже на желтый. Ни за что не напивался вдрабадан и не хамил соседям. Ни за что не выплевывал жвачку на тротуар, а только в урну и считал, что за плевание жвачки в общественных местах нужно налагать на граждан крупный штраф. Некоторые вольнолюбцы даже сочли бы его слепым исполнителем государственной воли, деревянным, не рассуждающим человеком, заклеймили бы как врага свободы. Но и у Степана Петровича насчет этих вольнолюбцев тоже имелось свое мнение.

Так вот, Степан Петрович долго и спокойно мечтал о довольно простой вещи. Он мечтал сходить в зоопарк. Но простенькая мечта все никак не могла осуществиться — для этого у него не было детей. А идти в зоопарк без детей для Степана Петровича было нелепицей, стыдобой и кощунством. Потому что, разве не безобразие! — Степан Петрович гуляет по зоопарку в шортах, рассматривает зверей, дразнит мартышек, кидает булки и морковки в пасть бегемоту. Чудилось в этом Степану Петровичу что-то неестественное. Будто бы проявление чувств на людях, а этого он себе никогда не позволял. С ребенком — дело другое. Приставленный к ребенку взрослый как бы при деле, не праздный гуляка, пусть он даже легкомысленно одет в шорты. Такой взрослый может со спокойной совестью кидать морковку в какую угодно пасть (признаемся, Тетеньке очень хотелось это сделать), как бы показывая ребенку правила прицеливания.

Накануне вечером Степан Петрович разложил гладильную доску, распределил белье по кучкам — наволочки с наволочками, полотенца с полотенцами, аккуратно плюнул на подошву утюга. Слюна подпрыгнула мячиком, швыркнула, испарилась. И вот тут-то мечта подкатила куда-то к горлу Степана Петровича. Бороться с нею не было никаких сил. Он сию минуту загрустил синей грустью, от которой негры поют высокохудожественные блюзы, а все прочие банально хандрят, заражая все вокруг болотом. Но тут в квартире отключили электричество. А потом включили. А потом заискрила вдруг розетка. Степан Петрович метнулся выдернуть шнур, но запнулся и упал. И тут его осенило!

Нам со своей стороны кажется, что это были сигналы из космоса, которые время от времени слышит каждый, но не каждый способен им внять. Степан Петрович оказался чутким приемником. Организм его собрал весь возможный интеллектуальный ресурс — и родилось: сходить к соседке Анне и выпросить у нее ребенка взаймы. Тем более что жена Степана Петровича, которая ни в коем случае не одобрила бы такой поступок, еще в пятницу отбыла на дачу и до ее возвращения оставалось минимум часов десять. У нее были какие-то отдельные, не совсем понятные Степану Петровичу соображения относительно соседок репродуктивного возраста. Скорее всего она ревновала ко всем женщинам, которые, по ее подсчетам, могли увести Степана Петровича с тем, чтобы родить ему ребенка. Она сама, кандидат в доктора каких-то технических наук, сделав достаточную карьеру в своем научном институте, начинала теперь иногда печалиться из-за отсутствия в их трехкомнатной благоустроенной квартире хотя бы одного ребенка — дабы оправдать социальный статус семьи для их со Степаном Петровичем долголетней связи. Но все же сама не спешила с решительными действиями. И завела пока что, на пробу, пекинеса.

А Степан Петрович был искренне увлечен своей жизнью — удивительными явлениями, шашками, книжками, пробежками, рыбалками, тайно и безнадежно, потому

что в паспорте стояла отметка о данном им слове, — Людочкой из соседнего подъезда. Из-за чрезмерной увлеченности жизнью дети так и остались для него малопонятной мелочью, сопливыми козявками. Когда во дворе выкатывался ему наперерез какой-нибудь представитель козявочьего племени, Степан Петрович сторонился: мало ли чего ожидать, вдруг укусит.

Так что если что в соседках и привлекало его, то меньше всего — способность к репродукции. Вот Людочка, например, нравилась ему из-за того, что в ее круглых больших глазах всегда удивительно четко отражались окружающие предметы и сам Степан Петрович — когда здоровался с Людочкой утром возле мусорного бака. У нее тоже была привычка выносить мусор непременно утром.

Он все рассчитал, прикинул, во сколько надо вернуться, чтобы успеть приготовить ужин для себя и супруги. И пошел договариваться с соседкой насчет ребенка. Соседка Анна, обширная, кудлатая и одинокая работница банковской сферы, в это время пила чай и размышляла о превратностях своей единоличной жизни. Степан Петрович пришелся весьма кстати — девать своего мальчишку в воскресенье Анне было совершенно некуда. Поэтому отдала она его с удовольствием. А сама стала строить планы, как провести выходной: для начала — поспать как недосыпающей работающей женщине, а потом еще и сходить к подружке на булочки, а потом, может, и в кино, и, кто знает, может, и на свидание...

«Вот сейчас заберу мальчишку и рвану в зоопарк», — радостно воображал Тетенька утром в воскресенье, доев бутерброд и принимаясь за веточку петрушки. «Вот, сейчас, сейчас...» — предвкушал Степан Петрович, выпадая из автобуса и волоча дитя за собою. А оно ныло, требуя сбавить ход. Но Тетенька не сбавлял. А оно ныло. А он бежал и бежал, перебирая короткими плотными ногами, будто на соревнованиях по спортивной ходьбе. Мальчик рассердился, вырвал из дядькиной потной ладони свою ручонку — и категорически отстал. Только тогда Степан Петрович удивленно остановился. Мальчик, этот разрешительный документ для входа в зоопарк, насупился, пыхтел, весь красный, вспотевший, злой. Странное существо, подумал брезгливо Степан Петрович. Но ход сбавил. Он был в пяти метрах от осуществления своей мечты.

Козявка, которую арендовал Степан Петрович, входила уже в разумный возраст, и от этого на лице у нее проступало нагловатое выражение. Но Степан Петрович не умел различать выражения лиц козявок, не было опыта. Поэтому он счел, что мальчик родился с таким наглым выражением лица, и прикинул, что отец его, должно быть, подлец и негодяй — потому, что мальчишка нисколько не походил на мать. Степан Петрович пообещал ребенку столько мороженого, сколько тот сможет съесть. Тогда мальчик уверенно и крепко вцепился в руку Степана Петровича — и тот опять удивился.

* * *

...Не хотелось бы отвлекаться от основного повествования, поскольку оно достойно самого пристального внимания. Но мы чувствуем, что читатель уже несколько напряжен. И догадываемся, что он с минуты на минуту ждет, когда же начнет, по выражению классика, стрелять то самое ружье. Говоря проще, когда же начнутся мытарства героя, связанные со столь необыкновенной его фамилией. В ином случае, отчего бы нам не назвать его Степаном Петровичем Егоровым, или Степаном Петровичем Петровым, или, если уж наше авторское самолюбие страдает от затасканности подобных фамилий, Степаном Петровичем Козыдло? Да и вообще, современное общество дает нам невиданный размах в свободе поименования. И назови мы героя Джоном Смитом, или Брюсом Уиллисом, или хоть Кларой Цеткин — это будет так же обыкновенно и никто не усомнится, что он — полноправный российский гражданин. Но, напомним, мы стараемся следовать жизненной правде. А правда в том, что Степан Петрович своей фамилией гордился. И гордился вопреки всему. Вот, скажем, занимался он восточными единоборствами, делал успехи — но тренеру было странно, что на кубке области, а то и страны объявят: первое место занял Степан Тетенька, клуб «Восход». Поэтому спортивных успехов юноша не сделал, участвуя, по воле тренера, только в мелких соревнованиях. Однажды на состязаниях, видя, какой он

ловкий и сильный, к нему подошел бравый майор и предложил поступить к нему в военное училище. Степан аж загорелся от счастья: как мужественный юноша, он, конечно, хотел защищать Родину.

— Как фамилия, курсант? — бравый майор уже достал записную книжечку.

— Тетенька, — четко, вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал юный Степан Петрович. Майор недоуменно поднял бровь, прикидывая, не пытаются ли его оскорбить или, может, перед ним не парень, а девица — их в наше время не очень-то разберешь.

— Моя фамилия Тетенька, — гордо повторил юноша.

Майор все понял и отчего-то смутился. Пробормотал: ну, ничего, ничего. И отошел. И фамилии не записал. И его можно понять: сержант Тетенька, лейтенант Тетенька — это еще куда ни шло, но майор Тетенька, полковник Тетенька, а тем более генерал Тетенька — это уже форменное безобразие. Не разберешь, где тетенька, а где генерал.

К слову сказать, жена Полина Ромуальдовна посчитала, что по ее имени и так ясно, что она женщина, да так и осталась Огурцовой.

Так почему бы Степану Петровичу не сменить фамилию в таком случае? Был бы он Степан Петрович Огурцов, чем плохо? Справедливое замечание, уважаемый читатель. Но мы повторяем, Степан Петрович был человек твердых, мы бы даже усилили — твердокаменных правил. Степан Петрович совершенно не обижался на тренера и абсолютно не расстроился из-за того, что майор не записал его в свою книжечку. Возможно, просто не понял, что фамилия сыграла с ним злую шутку. А вот решение жены его, конечно, огорчило. Ну вот, подумал он, женщина никогда не видит дальше своего фантастически хорошенького носика — такая глупая овощная фамилия останется теперь за ней на всю жизнь. А его гордая фамилия Тетенька, с которой он родился, с которой и подвиги совершит, если придется, и в гроб ляжет в свое время, такая фамилия могла бы украсить анналы технических наук, в которых Полина Ромуальдовна была, без сомнения, дока.

Может быть, именно благодаря фамилии Степан Петрович мог позволить себе твердые принципы и счастливо ясный взгляд на мир. А это, знаете ли, роскошь, доступная в наши неустойчивые времена очень немногим.

* * *

...Итак, Степан Петрович и его маленький спутник подошли к зоопарку. Степан Петрович подумал, что если мальчик потеряется, то нужно будет его покричать и спросил:

— Как твое имя?

Мальчик назвался Славиком и потащил дядьку-соседа к павильончику с мороженым.

Самым желанным местом в зоопарке для Степана Петровича был конечно же слоновник. Или как сам Степан Петрович именовал слоновий дом — слонярник. Он исходил из того словообразовательного казуса, что крупный, сильный, превосходящий других слон есть, по правилам русского языка, слоняра. Именно самый большой слон был пределом интереса Степана Петровича — поскольку чем больше слон, тем, по логике Степана Петровича, он должен хуже плавать. Но наука твердит о противоположном!

Естественно, он не мог наблюдать в слонярнике плавающих слонов, но хотел последить, как они движутся, какая у них шкура, как устроены ноги. Короче, хотел познакомиться с природными данными гигантов — с тем, чтобы в дальнейшем делать эмпирические выводы о плавательных способностях самых больших сухопутных животных.

Славик не разделял страсти взрослого товарища к слонам и предпочел конечно же обезьян, на которых был сам умопомрачительно похож. Свое пятое мороженое он с восторгом скормил макаке с наглой рыжей мордой и категорически отказывался отходить от клетки. Слоны жили в глубине зоопарка, а наша компания за час не продвинулась дальше нескольких вольеров с обезьянами, которые заманивали посетителей на входе. Давно подмечена странная тяга наших сограждан к этим вызываю-

щим существам. Зверюшки не зверюшки, человечки не человечки. Есть в них какая-то назидательная хитреца природы, которая в какой-то момент заставляет стыдливо отворачиваться от клетки с милыми созданиями — в тот момент, когда они особенно похожи на нас. Вот и Степан Петрович хоть не особенно жаловал обезьян, но стоял и смотрел на них не отрываясь. Когда парочка мартышек нежно искала друг у друга насекомых, а найдя, сосредоточенно их поедала, наш герой вспомнил свою супругу Полину Ромуальдовну. Фу, содрогался он, если бы они с Полиной Ромуальдовной в приступе заботы нежно выискивали друг у друга, скажем, вошь... Отчего бы вдруг в голову Степана Петровича пришли такие дикие мысли? Отчего представил он Полину Ромуальдовну в такой странной обстановке? Не оттого ли, что она смахивала на мартышку? Зная о жене Степана Петровича абсолютно все, заверяем, что от мартышки в ней не было ни одной черты, к тому же она носила очки и была блондинка, хотя и ненатуральная.

Непредсказуемый зигзаг мысли Степана Петровича мы оставим на его совести. Хотя, к чести Степана Петровича, стоит сказать, что подобная нелепая чудаковатая мысль, как обычно, подстегнула в нем волю к порядку и он решил на обратном пути непременно купить жене цветов — то есть поступить так же, как на его месте поступил бы любой приличный муж. Он видел, как бабушка возле оградки зоопарка продавала крупные садовые ландыши.

Когда Тетенька отлепил Славика от обезьяньей оградки, воздух в зоопарке уже начал закисать от испарений и солнца. Мужчина и мальчик пробрались мимо тигров-волков-бегемотов. По дороге отправили в пасть живой цистерне по маковой булке, поскольку моркови поблизости не нашлось. Потом Степан Петрович прочел надпись «Кормить животных строго воспрещается», покраснел и потащил Славика подальше, в глубь зоопарка, где было значительно меньше народу. По дороге мальчик наслаждался видами, дразнил хищников и пакостил, писая в утиный водоем, Степан Петрович находился во власти стыда. Он был буквально выбит из колеи своим проступком, хотя и совершил его по неведению. Незнание закона однако ж не освобождает от ответственности — это Степан Петрович знал как дважды два. Он пытался дать оценку своим действиям, определить степень своей вины, в нем работал внутренний следователь — даже два, классических: один хороший, другой плохой. Один его порицал и призывал раскаяться, другой твердил, что все-таки преступление не велико и надо бы себя простить. Славик шнырял под ногами и мешал работе внутренних следователей, снова и снова требуя мороженого.

* * *

Степан Петрович, впрочем, так и не успел принять сторону того или другого следователя, поскольку уткнулся носом в огромный вольер с низкой загородкой. В глазах его помутнело — так он досадовал на себя за опрометчивость: ведь мог же, мог догадаться, что кормить зверей нельзя! Что питаются они строго по рациону! Это ведь государственное и научное учреждение! Что если не дай бог кто-нибудь задумает отравить бегемота! или... или слона! Боже, боже! Степан Петрович поднял глаза к небу. На него плыло серое облако, дождевая жирная и дряблая туча, и помахивала перед собою длинной серой кишкой, а по обеим сторонам этой кишки трепыхались неровные, оборванные кожистые крылья. Тетенька не сразу понял, что перед ним. И вот в этом месте, именно в тот момент и произошло то самое, что мы с полной уверенностью могли бы назвать необыкновенным происшествием: сознание Степана Петровича, так же как и его глаза, замутилось — и вновь прояснилось. Обычно так протирают очки — подышат, а потом протрут рукавом или платочком, у кого что найдется. Вновь проясненное сознание Степана Петровича фантастическим образом искажало действительность. Мир потерял обычную геометрию, деревья стали кривее — но красивей, выше и зеленее, небо разлилось безграничной кляксой, но стало синее и глубже. Звери смотрели на Степана Петровича разумно и узнающе, вот, мол, ты, Степан Петрович, какой, а мы тебя ждали, ждали, а ты все не приходил, приятно познакомиться. И теперь не отдельные вещи питали удивлением душу Степана Петровича, а самое существование вещей. Ведь раньше он, например, не задумывался, что оно такое — небо, а только увлекался рассматриванием на нем замыс-

ловатых облаков. Про деревья он раньше никогда не думал, насколько стары они и что могут помнить чьи-то прикосновения, — а только удивлялся прямизне веток, вычурности листвы. Теперь он будто видел на коре отпечатки рук живших когда-то людей. А ногами боязно переступал — парк раньше был кладбищем, и под землей клубились неведомые энергии телесного распадения. И все камешки, и все песчинки и лучики слились в бесконечное движение, и от этого Степану Петровичу сделалось с непривычки дурно. А может, его хватил обыкновенный солнечный удар. Намочив в питьевом фонтанчике носовой платок, Степан Петрович сел на лавочку, наложил платок на лицо и замер. Прохлада приятно затревожила щеки. И в голове вроде просветлело. Но все же конкретная мысль никак не могла сформироваться в его мозгу — все только текучие образы, которые он пытался уловить. А ведь удивительное он укладывал на полки своей жизни именно конкретными мыслями, имевшими правильную форму. И полки висели правильными рядами. И были аккуратно выкрашены казенной зеленой краской.

Подошел Славик, который уже отдразнил все окружающее живое, и теперь, утомившись, подошел законно требовать следующей порции сладкого. Трижды позвал он дядю Степу. Но дядя Степа, похоже, уснул под своим сопливчиком. Славик поднял камешек и метнул в голову сидящего.

То ли Степан Петрович метафизически наследовал Ньютону с его яблоком и Славик этим воскресным днем стал рукой Провидения. То ли вибрации от удара камня в лоб благотворно повлияли на мозг. Как бы ни было, но конкретная спасительная мысль пришла: что он, Тетенька, охранник склада готовой продукции, человек энциклопедических знаний в области холодильных установок, до этой минуты знал о слонах? Ни-че-го!

Хм, довольно странная мысль, не кажется вам? Вся сложная гамма чувств, эмоций и размышлений, которые испытал Степан Петрович с того момента, как врезался в слоновий вольер, и до того, как очнулся от удара камешком, все было сведено к одной правильной, выкрашенной зеленой казенной краской мысли: Степан Петрович Тетенька ничего не знал о слонах до этого воскресенья.

Но спешим обратить ваше внимание, читатель, что за этой фразой, в ее тени притаилось гораздо больше, чем в ней самой. Подумайте только, что значит: ничего не знал. Ведь признавать ничтожность своего знания учил, по свидетельству Платона, еще великий Сократ. Ведь Степан Петрович этим «ничего» объясняет нам, что ему открылось вдруг многое. А в интересующем его вопросе о плавании слонов — может, даже все до конца. И что в этом «многом» для Степана Петровича скрыто важное, возможно даже, смысл жизни.

...Ну кто, кто опять отвлекает, дергает нас за рукав! О, это нетерпеливый зловредный читатель... Ах, еще и писатель!.. Прискорбно... Еще и с филологическим образованием?! Ну, тогда точно, начнет сейчас требовать, чтобы стреляло, наконец, это несчастное ружье... Что? Почему не стреляет? Не заряжено...

* * *

— Ни-че-го, — удовлетворенно произнес в пространство Степан Петрович.

— Дядя Степа, чего ничего? — встревожился козявка, подозревая, что мороженого больше не будет. И заныл: «Давай купим еще, ну давай...»

Степан Петрович отодвинул Славика таким широким уверенным жестом, что мальчик понял серьезность положения и предпочел спрятаться за близлежащий столб, переждать.

Потом он рассказывал матери, что испугался, когда глаза у дяди Степы сделались безумные и выпучились, как у лягушки, и он долго-долго стоял с такими вот выпученными глазами. Но мы хорошо знаем Славика и смеем заверить, тем самым обеляя репутацию нашего героя, что если мальчишка испугался, то только самую малость. А когда оказался под защитой столба, то замер и приготовился ждать, не выкинет ли дядя Степа чего-нибудь этакого. Он, как и любой малолетний прохвост, знал по опыту, когда от взрослых следует ждать «этакого».

Попробуем заглянуть в затуманенное сознание Степана Петровича и выяснить

все-таки, что же стало причиной его искривления. Это очень важно. Потому что, когда общество лишается своего трезвомыслящего члена, который не переходит улицу на красный, не изменяет жене и старательно выполняет служебные обязанности, писатель не имеет права обойти молчанием это скорбное событие. Тем более что дальнейший поступок Степана Петровича Тетеньки ни в какие вообще ворота не лезет и запротоколирован в райотделе милиции и в штабе городского управления внутренних дел.

Итак, когда Тетенька поднял подернувшиеся пеленой раскаяния глаза, казнясь за две булки, скормленные по его воле бегемоту, то подумал, что приближается гроза. Небо затянуло густым серым — так бывает, когда гроза зреет моментально и выкидывает белые тонкие молнии, похожие на паучьи лапки. Но вроде грозы не обещали, да и слишком внезапно наплыли эти тучи. Какие же все-таки серые! Надо же! Природа всегда выкидывает коленца, вот даже грозой умудряется удивить, а ведь он уже сорок три года живет на свете! — сделалось приятно Степану Петровичу. И вдруг увидел он у самого носа шевелящийся серый шланг, или канат, или даже скорее пожарный рукав. И крыло, обтрепанное по краю. И маленький карий глаз. Это был, само собою, слон. И никакой грозы, само собою, не собралось над головами посетителей зоопарка. И то, что Степан Петрович принял за явление стихии животное, — сиюминутная ошибка, которая тут же выявлена сознанием и исправлена: Степан Петрович видит слона. Но мы обращается ко всем, кто когда-либо влюблялся. А поскольку таких людей большинство, то, надеюсь, дорогой читатель, ты примешь дальнейшие объяснения за чистую монету. Со Степаном Петровичем произошло то, что происходит со всеми влюбленными.

Если вы подумали, что сейчас мы станем рассказывать небылицу, будто Степан Петрович влюбился в слона, то признаемся заранее, что обманули ваши ожидания. Слон ему вблизи даже совсем не понравился — морщинист, неопрятен. Именно так признавался потом в документах Степан Петрович. Дело в другом. Он принял слона за стихию и был покорен и удивлен ею. И теперь, когда узнанным в роли стихии оказался слон, заочно уважаемый Тетенькой в числе всех других слонов мира, громадность стихии перенеслась на живое существо — так великое чувство любви переносится на предмет, который всегда безусловно мельче и проще, чем его воображает влюбленый. Но если любовники могут прозреть, обнаружив мелкость, а то и ничтожность своего предмета, то в случае Степана Петровича дело осложнялось тем, что слон был фигурой крупной и молчаливой. А теперь Тетенька видел в нем не только тяжелое животное, которое по чудесной логике природы способно преодолевать большие расстояния вплавь, но саму Стихию.

Что же он, Степан Петрович Тетенька, знал до этого дня о слонах? Ни-че-го. Теперь же он видел не отдельные вещи в мире, но сам мир, в котором взаимосвязь всего была животворна. Удивление в обыденном, самом простом его виде, в том самом, к которому Степан Петрович давно привык, оказалось бессмысленным глупым сентиментальным аханьем. Теперь удивление порождало само существование (читайте, как хотите). И в слоне проявился весь этот сложный мир. И это был уже не слон — а то, о чем Степан Петрович не знал ни-че-го.

Когда широким жестом руки наш герой задвинул Славика за столб, когда встал и двинулся к толстой сетке слоновьего вольера, сам собою в голове Степана Петровича решался — и решился! — вопрос о плавании слонов. И в этом вопросе уже не было удивления, но существовала справедливая бесконечность круговорота вещей и энергий. Мир ожил. И Тетенька понял, что сейчас он может совершить только один правильный поступок. Слоны жили почти на краю зоопарка, дальше, за забором, густели ивовые заросли, а по утрам здесь стояли туманы от узловатой, в островах, широкой и довольно глубокой реки, на берегах которой и раскинулся большой город.

* * *

Через некоторое время после описываемых событий, может быть, недели через две, в Заречное отделение милиции нетрезвый пенсионер гражданин Терентьев при-

нес огромный предмет, требуя выловить всех мутантов, которых нынешнее правительство поразвело на горе мирным гражданам.

— Я имею права! — кричал пенсионер, испуская спиртовые испарения, как утюг испускает водяной пар. — Я не хочу быть съеденным заживо! Это зачистка социально неблагополучных территорий! Это геноцид! Правительство в отставку!

Милиционеры оторопело смотрели на Терентьева, которого знали здесь как облупленного еще со времен ЛТП. В другом случае они поместили бы его на пару часиков в обезьянник. А то вызвали бы наркологическую скорую, чтоб та отловила белок в голове пенсионера. Но их очень смущал предмет, который достал гражданин Терентьев из мятого пакета. Молчание затягивалось.

— Кость! — победительно сказал Терентьев, указывая рукою вперед, точно как вождь мирового пролетариата. Обнаружив смущение вечных своих гонителей, он злорадствовал про себя: вот вам! будете меня еще в кутузке держать. А вслух кричал:

— Долой, долой!

Действительно, то, что принес Терентьев, было похоже на кость. Но только похоже — слишком уж велико.

— Гипсовая. У меня сынишка в художественном учится, у них чего только нету, — пробормотал неуверенно седоватый милиционер.

— Динозавры, что ли, завелись? — неуверенно хихикнул другой, молоденький. Терентьева погрузили в «бобик» и повезли отыскивать место, где был им поднят вышеозначенный нераспознанный предмет. Сам предмет отослали экспертам. Терентьев место нашел легко — на краю города, на пустыре, заросшем полынью и кучами мусора. В мусоре тут же откопали еще пару больших белых предметов, но другой формы. Расследования однако ж не потребовалось. Через пару часов вся городская милиция знала о том, что найден пропавший слон — точнее то, что от него осталось.

В землянках на пустырях, которыми, как лишаями, был покрыт Заречный район, отловили нескольких бомжей , которые со страху подробно поведали историю «охоты на мамонта», показали запасы мяса и даже поделились рецептом по засолке его впрок. Слона завалили в тот же день, едва он пересек реку. Всю ночь разделывали тушу и мясом одарили всех своих, и еще осталось — отвезли как гостинец жителям городской свалки.

Досталось всем помногу. Мясо продавали на городских рынках, предлагали знакомым. Почти обогатились. Из костей хотели наварить холодца, но посуды такой не нашли, которая могла бы вместить громадные кости. Поэтому и выкинули ценный продукт. Но потом сожалели, очень сожалели. Можно было на части распилить. Бомжей тот же час закрыли в кутузке. Вызвали следователя. Бомж Гряба, бывший лаборант в институте географии, описал следователю процесс ловли.

— Это, понимаете ли вы, способ этнографический, известный некоторым — и весьма диким — племенам знойной Африки. Осуществляется он с помощью тонких веревок, завязанных особыми узлами. О, если бы вы видели, как грандиозно выглядит ловля слонов в саваннах Черного континента, когда красно-желтый шар раскаленного солнца наполовину уже опустился за горизонт. На его фоне слон и люди, стремящиеся поработить гиганта и попросту его съесть или продать нелегально куда-нибудь, выглядят черными силуэтами, как будто нарисованными на какой-нибудь древней вазе. Я не удивлюсь, если наши с вами предки занимались ловлей слонов, да-с. — Гряба выразительно поднял кверху длинный грязный палец. За неимоверно длинные пальцы его и прозвали Грябой — вроде как не руки, а грабли.

— Но-но, ты не обобщай! — повысил голос следователь. Он и его соратники по правоохранительной работе внимательно слушали Грябу, вспоминая, как месяц назад по тревоге, поднятой директором зоопарка, трое суток бесцельно обследовали весь город на предмет исчезновения животного. Слон как сквозь землю провалился средь бела дня. Дело приобретало размах скандальный, директор зоопарка давал вопиющие интервью на телевидении, в связи с чем милицейское начальство ожидало «по шапке» — за бездействие. И вот на тебе, слона-то съели. В любом, значит, случае зря искали.

Следователь опросил еще нескольких бездомных, а также бичей, проживающих

в вонючих лачугах частного сектора, а также парочку дворников, а также еще кучу всякого народу. Зареченский народ, неприглядный сверху, но внутренне справедливый, выразил полнейшую солидарность, признав съедение слона действием неэтичным — вроде как сожрали общественное достояние, внушающее уважение размерами и редкостью. Но, с другой стороны, бесхозный слон может наделать бог знает сколько убытку тому же государству, не говоря уже о заречных жителях. Он и так разрушил одну землянку. А землянка была капитальная, досок на нее много пошло, трубу от печки слон непоправимо погнул. И где людям жить? А сколько огородов в частном секторе мог потоптать? И счастье, что только два потоптал и семь заборов повалил — уж больно улочки узкие, собака и то еле проходит.

Следователь уже изрядно устал. И все-таки ни на шаг не приблизился к разгадке — как же слон из надежного вольера переместился в Заречный, на другой берег. Река широкая, брода нигде нет. Надо сказать, что следователь не имел представления о плавательных возможностях слонов. Более того, он откровенно заблуждался, полагая, что гора кожи и жира не может передвигаться по воде иначе, как в клетке на океанском судне. Эту картину еще в детстве он видел в каком-то фильме. Следователь был непрошибаемо уверен, то слона украли и в Заречный привезли на машине. И в этом направлении работал.

Чуть позже он позвонил жене, с прискорбием сообщил, что придется ехать в зоопарк, опрашивать администрацию, поскольку преступление пока не поддается раскрытию. Супруга стала возмущаться, но в трубке завизжали — наверное, опять подрались дети. Жена что-то гавкнула в последний раз — и раздались короткие гудки. Следователь аккуратно опустил трубку на красненький телефонный аппарат, со вздохом подумал, что, наверное, сейчас подруга жизни оделит детей подзатыльниками, а потом, вне всякого сомнения, своевременно накормит их обедом. А он тут беседует с отбросами городского дна. Чертов воскресный день!

* * *

Бомжам для морального оздоровления прописали исправительные работы — по очистке зареченского пустыря от мусора. А пока они отрабатывали сожранного слона, по городу разнеслась весть о найденных костях. Газеты сокрушались по поводу утраты габаритного выставочного экземпляра, прикидывали, сколько денег нужно, чтобы купить нового, спорили, кто будет гасить зоопарку убытки — мэрия или администрация района, где и произошло преступление.

* * *

Степан Петрович тем временем охранял склад готовой продукции. Добросовестно ходил себе с пистолетом вдоль забора. Только теперь он уже не радовался сосредоточенно пленительным особенностям природы и не разглядывал мечтательно облака. Жизнь его претерпела изменения. И теперь он смотрел куда-то внутрь себя.

Полина Ромуальдовна отмечала, что муж стал рассеян, по утрам его всегдашний бутерброд не радовал свежей зеленью, да и форму приобрел кособокую. Но даже и эта достойная женщина не умела постичь всей роковой глубины происшедших изменений. Да и сам Степан Петрович не думал, что теперь он, по большому счету, уже не тот Степан Петрович Тетенька, а совершенно другой Степан Петрович, хотя по-прежнему, безусловно, Тетенька.

Мы, нахально пользуясь авторским правом кроить и перекраивать историю как вздумается, опять вмешаемся в повествование и расскажем о том, как Степан Петрович получил страшное известие о кончине слона и что было с ним потом.

Когда Степан Петрович и насытившийся мороженым Славик вернулись домой, было довольно поздно. Степан Петрович сдал Славика матери. Анна после бурно проведенного дня не имела любопытства расспрашивать сына о походе в зоопарк. Славик молча поужинал, потаращился в телевизор и уснул. Под подушкою он поместил новоприобретенное богатство — от Степана Петровича он получил денег на неделю безбедного существования возле ларька с мороженым и жвачками. Степан

же Петрович поблагодарил Анну, умолчав об испытаниях, которым подверг Славик обитателей зверинца. Потом ушел к себе в квартиру, где, поужинав, также лег спать, поцеловав вернувшуюся с дачи жену. Поскольку произошло это в восемь часов вечера, а Степан Петрович всегда укладывался спать в десять, Полина Ромуальдовна забеспокоилась и, волнуясь за мужа, выпила на ночь три бутылочки валериановой настойки.

А утром Степан Петрович впервые за многие годы супружества забыл положить на бутерброд веточку петрушки. Полина Ромуальдовна взволновалась, кинулась было к шкафчику с лекарствами, но валерианки больше не нашла. Вы, может, упрекнете ее в слабонервности, даже в истеричности. Но ведь она, в отличие от нас с вами, даже и не знала, что Степан Петрович ходил в зоопарк. И позже, когда Полина Ромуальдовна читала в милиции бумагу, написанную чужой рукой со слов ее мужа, волосы на ее голове шевелились от мысли: как легко безумие уничтожает прекрасную человеческую личность. Степан Петрович надиктовал: «Я, Степан Петрович Тетенька, паспорт номер такой-то, серия такая-то, невоеннообязанный, пришел в зоопарк с целью ознакомиться с выставкой животных. Цели похитить слона изначально не имел. Похищение произошло в связи с помутнением сознания».

Полина Ромуальдовна поплакала в протокол, размягчила и бумажку, и сердца милиционеров, которые тоже думали, что вот мужик, попал как кур во щи, свихнулся, видать, от солнца. Припомнили, что жара в тот день стояла страшная.

* * *

Степан же Петрович после визита в зверинец не вспоминал о слоне две недели. В сердце его царило приятное и необъяснимое смятение. Рассудок подстраивался под новую форму существования души. К концу второй недели искривление сознания уже не доставляло особенных неудобств. Степан Петрович за это время успел передумать о многом — обо всем, кроме слона. В голове его возникали самые разные картины из детства, юности и зрелости. Он переоценивал ценности и на более точных весах взвешивал свои поступки. Но слона его память почему-то не транслировала, словно выбросила или потеряла.

И тем страшнее было для него получить печатную новость. Полина Ромуальдовна принесла ее из института в виде газеты, где на первой странице рассказывалось о случае казусном и вопиющем. Она зачитала: украденное животное — слона поймали и съели неблагополучные горожане. Подумать только, сколько мяса! — Полина Ромуальдовна как раз доставала из супа большой кусок говядины и размещала в тарелке мужа. Степан Петрович хмуро посмотрел на жену, аккуратно, не торопясь, свернул газету, сунул в карман форменной куртки и, ни слова не говоря, вышел из квартиры, оставив Полину Ромуальдовну стоять с открытым ртом и парующей тарелкой в руке. Снизу на тарелку смотрела, обливаясь слюной, мелкая рыжая собачка пекинес, которую Полина Ромуальдовна воспитывала вместо ребенка.

Придя на службу, Степан Петрович разгладил газетный лист на обшарпанном столе. Прочитал. И задумался. И в задумчивости вдруг вспомнил все.

Он видел этого слона, который гордо и плавно, без усилий, точно зеленую бумагу, прорвал ивовые заросли и, не останавливаясь, вошел в воду. Степан Петрович остался на скользком, поросшем травой берегу и смотрел, как слон, выставив над водою хобот, медленно плывет к огромному раскаленному солнцу. Солнце облизывало противоположный берег, плотно заросший зеленью. И слон будто уносил с собою в неведомые счастливые края, на тот берег, весь мир. Уносил, спасал его от ржавых клеток, от сеток вольеров, от зарешеченных окон, от человеческих условностей и общественных ценностей. Слон спасал мир от зеленых полочек в сознании Степана Петровича. Он растоптал полочки и теперь окончательно освобождал его — и миллионы других таких же Степан Петровичей, которые только и делали в жизни, что подменяли необъятное прекрасное удобным прекрасным и расточали себя по пустякам.

Когда деревья на том берегу сомкнулись и слон исчез, Степан Петрович посмотрел на часы, вернулся к вольеру, отлепил Славика от столба, и они пошли прочь из зоопарка. Степану Петровичу отчего-то было спокойно и хорошо...

Теперь же перед ним лежала печатная новость. Степан Петрович думал над ней. Ах, если бы слон для него был, как и для всех, толстым экзотическим животным, которое, переминаясь с тумбочки на тумбочку, за загородкой уныло машет ушами и тупо пережевывает морковку! Но, увы (а может быть, и к счастью), романтическая душа Степана Петровича, которая теперь жила вразрез с квадратом разума, наделяла слона теми самыми качествами, какими могли его наделить туземцы Берега Слоновой Кости. И он не думал о гибели слона, словно подразумевал это само собой разумеющимся и даже необходимым. Он сожалел о тех, кто сожрал животное без оглядки и зазрения совести. Они увидели в слоне всего лишь бесформенную кучу еды, всего лишь повод наполнить желудок. Степан Петрович не порицал их. Он даже понимал — и думал, что будь он там, на том берегу, и сам претендовал бы на часть добычи. А уж как рада была бы Полина Ромуальдовна! Степан Петрович вспомнил тарелку с куском мяса, которую жена собиралась поставить перед ним на стол — и его передернуло. Где взяла она это мясо? Да, да! И он бы жрал, с аппетитом, часть мира, который приоткрылся ему. Он бы жрал самого себя! Степан Петрович подумал, что если человек захочет есть, то съест все — и оставит пустошь. И он, Степан Петрович Тетенька такой же в точности оглоед.

Тогда Степан Петрович свернул потуже газету, опустил комок в карман и, бросив без пригляда склад готовой продукции, отправился в милицию.

* * *

Следователь, ковыряя карандашом газету, которую расстелил перед ним Тетенька, устало спрашивал уже в десятый раз:

— Вы что же, утверждаете, что слон мог переплыть такую большую широкую реку?

— Да.

Тетенька отвечал спокойно, но глядел куда-то в стену, и это настораживало следователя.

— Значит, утверждаете, что переплыл?

— Утверждаю.

— Утверждаете, значит... Расскажите, где вы взяли машину для перевозки животного?

— Попробуйте мне поверить. Слоны умеют плавать.

— Мы не в церкви, — выдыхал следователь утомленно.

Он все допрашивал и допрашивал Степана Петровича. Добивался правды о том, как при свете дня удалось погрузить слона в машину и вывезти через весь город в Заречье.

И главное, он хотел знать — зачем, зачем, с какой целью! Все, что рассказал Степан Петрович и что было, как мы с вами знаем, чистой правдой, для следователя выглядело гнусной закоренелой ложью. «Нет, братец, шалишь! Выведу тебя на чистую воду!» — кипел про себя следователь. Но внешне оставался вполне любезен.

— Итак, вы утверждаете, что слон сам переплыл реку...

Наконец, Степан Петрович, сообразив, что разговор зашел в тупик, вспомнил про Славика.

...Славик утер нос и не заставил себя долго ждать с маленькой, жалкой, щенячьей местью, какою дети мстят взрослым за презрение. В Славике запищали маленькие подлые птички, требующие рассказать всю правду. И Славик, нащупывая в кармане штанов последние монетки от щедрого подношения соседа, важно изрек:

— Я видел, как он слона выпустил.

Анна, которая сопровождала сына, округлила глаза, схватила Славика и долго его рассматривала. Искала, наверное, дефекты, которые могли появиться после общения со странным антисоциальным, а то и сумасшедшим соседом. Славик (которому на секундочку сделалось стыдно за предательство человека, щедро накормившего и одарившего его) ковырял в носу и посматривал искоса на Степана Петровича, который глядел мимо него, куда-то в стену: он представлял себя слоном, который плывет по большой шумной реке и вплывает в океан, двигаясь навстречу красному заходящему солнцу.

Следователь утер лицо ладонью, шумно выдохнул и в тупом раздражении сел заводить уголовное дело.

* * *

Ну вот, история наша завершается и... Что? Ах, да. Ружье... Тут мы должны со всей ответственностью заявить, что не каждое ружье стреляет. А хотя бы только то, которое заряжено. А если не заряжено, то хоть дави автор на курок, хоть об стену бей — ничего. Но, помятуя народную мудрость о том, что раз в год стреляет и палка, спешим обрадовать читателя.

Итак, Степана Петровича в интересах правосудия обследовали психиатры и не нашли у него никаких отклонений. Уголовное дело было отправлено в суд. Судья, старый, мудрый и лысый, похожий на древнего плешивого ворона, счел дело ничем не доказанной галиматьей. Может быть, выслушав рассказ Степана Петровича, он что-то понял про подсудимого. А может быть, с юридической точки зрения, все это и впрямь была сплошная галиматья. Беседуя после заседания с возмущенным следователем, судья пошутил как будто: мол, подсудимого с такой фамилией жестоко отправить в места не столь отдаленные — негуманно, знаете ли, поместить человека с такой фамилией туда, где исчезают остатки условностей. И мы склонны думать, что именно фамилия Степана Петровича и послужила той самой каплей, которая заставила судью человечно обойтись с Тетенькой.

* * *

Жизнь Степана Петровича с тех пор сильно изменилась. Точнее, мы не сомневаемся, что она изменилась, но как, в какую сторону — это нам абсолютно неизвестно. Некоторое время он еще отправлял службу на складе готовой продукции, но дома уже перестал мастерить по утрам бутерброды и регулярно забывал вынести мусор. Однажды Полина Ромуальдовна , будучи не в силах выносить искривление мужниного сознания, позвонила знакомому психиатру. Он, посочувствовав горю, обещал приехать. А когда прибыл, Полина Ромуальдовна плакала в пекинеса, как в носовой платок. Больного в квартире не оказалось. По настоянию жены Степан Петрович утром отправился опустошить розовое мусорное ведро в зеленый уличный контейнер. Он что-то напевал, был бодр. Но глаза его смотрели мимо жены, мимо двери, мимо розового ведра — мимо всего, что было ему до недавнего времени дорого. Да, мы забыли сказать — накануне супруга почему-то купила Степану Петровичу прекрасные новые тапочки и халат. Старые тапочки и халат были еще не изношены и вполне годились. Но, видимо, Полина Ромуальдовна хотела сделать мужу приятное. Утром он примерил халат, надел тапочки. В таком виде, с ведром в руке, отправился вниз по лестнице. Больше Полина Ромуальдовна не видела Степана Петровича. Он исчез, пропал, растворился.

Но она и по сю пору не оставляет попыток найти супруга. И вот, собственно, для чего затеяли мы весь этот рассказ, да простят нас взыскательные читатели, требующие от автора объективности и полной незаинтересованности. Мы же заинтересованы, и еще как.

Поэтому обращаемся с личною просьбой и, как говорили в галантную старину, с нижайшим поклоном. Если вы встретите вдруг Степана Петровича — а узнать его, поверьте, нетрудно, и вдруг заметите в его глазах тоску по дому или он обмолвится невзначай, что, мол, неплохо бы навестить родные пенаты, передайте ему, что Полина Ромуальдовна все еще не оставляет надежды на его полное излечение. Он поймет.

Алексей Коровин

Осьмушка неба

Короткостишия

* * *

То ли выспались плохо,
то ли Чехов зашиб наповал, —
не по вкусу эпоха!
Но в другую никто не позвал.

Мы бродили по свету,
изучили все *против* и *за* –
хоть сейчас проповедуй.
И не поняли в нем ни аза.

* * *

Всю ночь хохотала вьюга,
раскачивала фонарь.
Стою на крыльце, а ну-ка
попробуй меня ударь!
Мне нечего, вьюга, прятать
и не на кого роптать.
Ты призвана бить и падать,
а я — на крыльце стоять.

* * *

Начало поста,
домой волоку арбуз.

Жизнь тоже проста
и также сладка на вкус.

Ребячий галдеж,
жмурки — поди поймай!
И не разберешь,
где начинается рай.

Коровин Алексей Александрович родился в 1972 году в Москве. В 1994 г. окончил МАИ. В 2000—2003 гг. учился в Литинституте (семинар Г.И.Седых). В 2011 г. окончил Advanced Management Program Гарвардской школы бизнеса. Работает в ОТП Банке. Автор двух поэтических сборников: «Нотации» (М., 2003; совместно с Арсением Замостьяновым) и «Сказка о Прекрасной Даме» (М., 2011). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

Нагрянут новые хозяева,
возьмутся с гиком
тягать ковры, полы надраивать
и мебель двигать.

И ветхий домик наш алабушевский,
так милый детям,
присядет на коротких лапушках...
А мы — уедем.

* * *

Чем ты заплатишь за роскошный
ошеломляющий закат? —
ничем, хоть выпрыгни из кожи,
хотя б ты был как Крез богат.

Доверься небу — не обманет
и медяком не обнесет,
и никогда не перестанет
слепить с пугающих высот.

* * *

наступила погодка пиши не хочу
полной грудью дыши не боясь отравиться
на дороге похлопал меня по плечу
обгоревший каштан с хитрецой украинца
я на велеке еду незнамо куда
только мокрые спицы на солнце сверкают
жить как дерево петь как речная вода
всех любить все прощать жизнь простая такая

* * *

Люблю фотографировать детей —
Ивана, Машу, Симу, Ксюшу,
цветы, собак и кошек всех мастей,
и глыбы снежные, и лужи.

Цветы увянут, дети подрастут.
Останутся в моем архиве
мгновенья счастья, пригоршни минут
и слезки на собачьей гриве.

* * *

Мне подарили снегиря
с причудливым крылом,
и на изломе декабря
пахнуло вдруг теплом!

Искрится в клюве у него
рябиновая кисть —
так побеждает волшебство
и злобу, и корысть.

Небесным гостем средь зимы,
весь в голубой пыли,
снегирь явился, чтобы мы
надежду обрели.

Нина Сарапиан

Рассказы

Эгоисты

Есть люди, которым комфортно в мире всегда.

Как во время дождя, который удерживает их всех вместе,

Под крышей или за стеклом, по которому текут косы скрученной воды.

А в укрытии во время бомбежки им уютно даже без чая.

Ведь ничего уже не сделаешь.

Но есть и другие, которые вечно спешат.

Их напряженные мышцы создают неудобство, сигнализируя, что мир необходимо изменить, мобилизуясь даже в бомбоубежище, когда никуда нельзя отлучиться.

И таких ничем не утешить, даже раздавая горячие напитки.

А когда первые, после очередной бомбежки, попадают к Богу,

Он, недовольный ими, вспоминает слова поэта Туманяна, укоряющего всех, кто оседлал хребет мира, а не нес на себе его тяготы.

Вторые, прилетая к нему, вместо похвалы выслушивают назидания и советы жить правильнее и спокойнее.

И только третьих Бог встречает с радостью, сразу же приглашая сесть за стол.

Эти третьи — эгоисты.

Живя для себя, они дружными сотами распространяют благо, которое приходится каждому на квадратный метр.

И так возводится здание,

Восхваляющее Бога.

Зеркала

На длинные электропровода, напоминающие черные нотные линейки, мягко и беззвучно падали круглые воробьи.

Они садились друг за другом или все вместе плавной волной.

А рядом, на ветках, точно так же садился снег и таял.

Воробей с детства был уверен, что жизнь круглая и белая.

Ведь сколько бы он ни летал, все равно оказывался на ветке, внутри хрустящей пористой снежинки.

Но когда растекалось лето, над ним пролетали орлы.

Нина Сарапиан родилась в 1982 г. в Ереване. Училась в специальной музыкальной школе им. П.И.Чайковского, в 2006 г. с отличием окончила Московскую государственную консерваторию. С девяти лет уже выступала с регулярными сольными концертами, а также в ансамблях и в сопровождении оркестра. Лауреат национальных и международных конкурсов. С детства пишет рассказы и пьесы, оформляя их своими рисунками. В 2009 г. в серии «Библиотека “Огонёк”» был опубликован рассказ «Анжелотти» вместе с рисунками автора. Живет в Ереване и в Москве.

Они рассказывали, что жизнь не круглая и белая, а протяженная, с резкими, длинными, как восточные сабли, раскинутыми крыльями.

И снежинка становилась заброшенной, будто воробей действительно полетел за орлами в опасную глубокую тихую ночь.

Этот другой мир воробей воспринимал болезненно, как оскорбление.

Не веря в него, он не понимал:

если уже есть один, зачем еще так много миров?

Разница в возрасте

Серый перекресток, расширяясь по мере моих шагов, становится бескрайним.

Похожий на туман асфальт жидкий под ногами.

Дороги вызывают страх однообразием, неизвестностью и тем, что их нельзя вернуть назад.

Страх суживает лоб до переносицы и болит там, где фонарь у шахтера.

Идти не трудно, сложнее — думать — куда.

Любовь скрашивает серый асфальт своими красными пятнами,

и в зависимости от судьбы и мировоззрения людей

Они становятся пятнами крови или цветов.

Большие и маленькие, яркие, светлые, с ущербными стеблями и лепестками, готовыми засохнуть или расцвести.

Серая, бегущая дорожка не пускает назад,

как на поднимающем вверх эскалаторе, проглатывающем ступени, нельзя побежать вниз.

И от этой невозможности

любовь с разницей в возрасте становится огромной и перезрелой, как роза с бордовыми, воспаленными крыльями.

На нее оглядываются люди, как на больного агромегалика, чей увеличенный красный рот, со смещенной очередностью языка и зубов, вызывает ужас и отвращение.

Но я знаю, что эта любовь еще долго будет раскрытой и красивой,

в тайном удовольствии расточая тяжелый аромат.

И ее маргинальная уязвимость рождает чувство благодарности.

Старый дом

Мысль приходит ко всем, из глубины или с поверхности.

Желательно внезапно.

Но иногда она появляется, вымученная размышлениями.

Мысль приходит в молодые, старые

и даже в бритые Тибетские головы, думающие, что у них нет мыслей.

Именно здесь ей особенно тяжело:

затаившись, пытаясь быть невидимой, еле дыша, она смотрит на пустоту блаженного воздуха...

Оказавшись в новом месте, Мысль не нашла блаженного воздуха.

В коридоре было темно и пахло старыми вещами.

Над дверью висел ряд зубов и поблескивал, указывая путь.

— Если бы они были прозрачными и разноцветными, — подумала Мысль, — то вполне могли стать похожими на витражи в соборе.

Она на ощупь прошла вперед.

На кухне вспыхнул свет.

Здесь регулярно становилось тепло, и Мысль вспомнила свою бабушку, которая вставала в шесть часов утра, чтобы приготовить чахохбили.

Рядом же располагалась комната, где, наоборот, было всегда сыро.

Около пяти часов дня здесь начиналась тревога.

Становилось холодно, и напрягались мышцы, застоявшиеся на лбу,

а руки и ноги леденели так, словно кровь внутри нас согревается и циркулирует только благодаря радости, а не физическим особенностям.

Мысль не стала заходить сюда,

Но сразу поняла, что изменить здесь ничего нельзя, так как пространство для страхов уже создано.

Ей стало немного грустно.

Впереди стояла деревянная лестница, поднявшись на которую можно было увидеть весь дом,

а включив свет, озарить все уголки.

Правда, выключатель находится слишком высоко.

— Подпрыгнуть, включить свет и воткнуть флаг на еще не завоеванные участки сознания

— вот мечта любого человека, — с гордостью подумала Мысль,

представив все известные и неизвестные способы, как дотянуться до выключателя.

— Голодание, медитация и даже некоторые виды наркотиков…

Когда ее внимание отвлекли два миндалевидных экрана, уже шли титры. Заканчивалась какая-то мелодрама.

— Женская голова, — догадалась Мысль

И пошла по знакомому коридору, держась за влажные стены.

Постучала по белым керамическим плиткам и ушла по красной дорожке языка.

Она не знает, когда еще вернется в этот дом,

Но ей очень жалко всех этих заложников временной темноты.

Импресарио

Что делает волосы рыжими?

И что заставляет их виться?

То же, что движет рукой, откидывающей прядь со лба, думающего о делах.

— Дела? — переспросил англичанин с длинными ногами.

Как смешно учить с ним слова.

А еще смешнее учить его неправильно.

Это незнание делает его, солидного джентльмена, ребенком.

А с ребенком все становится новым, даже язык.

— Вавилонская башня, — говорит он с грустью.

Тогда и ей становится грустно, ведь скоро они приедут.

На перроне их ждет…

— Мрачная женщина, — с улыбкой говорит англичанин.

Эта женщина хочет быть его импресарио.

Но называет аппликатуру распальцовкой.

В ее глазах светится стальная влажность, животное отвращение, ведь в них размножаются бактерии — ее жадность.

Рыжей девушке становится страшно.

Она знает, что ничего нельзя сделать против остановившегося слизистого моллюска, сидящего в голове женщины, — ее мозга.

Но толпа, единственным желанием которой было войти в поезд,

изменила ход событий:

Мрачная женщина уехала, внезапно оставшись за стеклянными дверями вагона, сомкнувшими как свои створки,

так и двух смеющихся романтиков.

Самоубийство

Умереть сложнее, чем родиться, когда есть только один способ выйти из аквариума — плавно и бессознательно.

А чтобы попытаться вернуться обратно, есть тысяча способов.

«Выпить снотворное, — стало мелькать в голове.

— Легко, но вызывает страх задохнуться, утонуть на опасной глубине;

как некоторые фокусники, не рассчитавшие задержку дыхания,

тщетно биться о стекло, которое закрывает озеро льдом».

Или застрелиться, как молодой Шаляпин.

Но желательно, так же «неудачно» — быть остановленным в последний момент окликом друга.

«Заморозиться. Как Врубель», — отозвалось в голове,

забитой примерами, ищущими поддержки.

Я открыла дверь на балкон. Холодно.

Спорщики в голове стали паниковать.

Значит, решение еще не созрело.

В окне напротив плавными движениями машут рукой,

прощаются или нет, моют окно так поздно.

Все говорят, что надо радоваться жизни, птичкам, которые действительно от мысли, что их больше не увидишь, становятся фантастичными, как золотые деревья или люди с головами лягушек во время обрядов.

Я так и не узнала, как отражаются солнечные зайчики в том, другом, мире и с какой все же планеты приходила музыка к Прокофьеву?

Неужели отсутствие своего дивана со многими другими вещами

и нос той дамы, который она воротит, совершая траекторию в воздухе, заставляют меня стоять здесь?

А таланта и любви не хватает, чтобы утяжелить весы в другую сторону, облегчив сомнения.

Время сейчас пока зависит от тебя.

Как во время концерта, который снимают на камеру.

Ты — внутри действия.

Можно вернуться в комнату, где горит лампа.

И от решения, которое придет, будет зависеть, как она горит

— щемяще однообразно

Или большим желтым кругом.

В окне напротив модильяниевская рука устало лежала на чьем-то лбу, поддерживая стекло.

Красиво.

Бедлингтон

Как странно — думала душа и напевала про себя.

Собака была большая, лохматая, даже напускающая страх, но душа у нее добрая, а характер робкий и слабый, унаследованный от дедушки — единственного интеллигента во всем роду, кудрявого Бедлингтон терьера.

— Какие живучие у него гены, — возмущалась Собака после очередной неудачи, но тут же жалела о своем раздражении.

И вообще, она старалась мыслить позитивно, ведь сейчас все об этом пишут, а Собака умела читать, чтобы отличать ювелирный магазин от продуктового.

Сейчас, в эпоху глобальной герметизации, сделать это по запаху очень сложно.

И снова ноги, ноги. Быстрые, медленные, толстые, худые,

На каблуках, на платформах, в чулочках...

Каждый день. Такая жизнь в переходе.

Если бы Собака была склонна к философии, как некоторые охотничьи породы, она бы подумала, что в принципе, от рождения и до смерти,

Вся жизнь есть переход, и, может, впала бы в депрессию, как экзистенциалисты-сеттеры, но она смотрела на все прямо,

Зная, что изменить что-то не в ее власти.

Так проходили годы, иногда вспыхивая сахарными косточками, которые были желанны всегда, и поэтому Собака считала их абсолютными.

Но однажды, хоть и не любившей пустые размышления Собаке стало не по себе.

А что если свершится чудо и сахарные косточки будут ей попадаться каждый день,

неужели тогда они перестанут быть такими прекрасными?

И еще одна тоненькая мысль, напоминающая кардиограмму,

пробегала в голове Собаки:

может, надо бороться за них?

Но это ощущение сразу же убивалось

не склонными к выживанию генами дедушки, который, широко улыбаясь, шел за хозяином играть в гольф.

А Собака качала головой своему мысленному образу и спрашивала его:

как ты мог убежать из этого парадного подъезда,

Ведь жить дома — это почти совершенство?

Вой сирены, который ночью заменяют не менее тревожные мигающие фары, привез за собой клетки с собаками и кошками.

Город очищали от них.

Собака не могла и подумать, что когда-то будет скучать по переходу.

Даже случайно ударившая нога теперь казалась родной в этих жутких стенах, облицованных холодным кафелем.

Нудное опоясывающее чувство страха становилось привычным,

и Собаке оставалось совсем немного, чтобы по своему обыкновению смириться со случившимся.

Но тут злость к своему мягкотелому предку, на которого она так была похожа, взяла верх, и к удивлению всех несчастных животных, лежавших по соседству, спина у Собаки выпрямилась,

шерсть стала блестящей, как у ухоженных лабрадоров,

а добродушное, грустное выражение

сменилось наэлектризованной, радостной тревогой доберманов, нюхающих воздух.

Только сейчас Собака поняла, как неправильно было думать, что от нее ничего не зависит.

Ясная картина прошлого укоряла ее в пассивности.

Да! Конечно, надо было бороться за сахарные косточки

и бежать, рваться за теми людьми, которые нагло забрали у нее щенков.

Даже сейчас можно все изменить.

Острым взглядом Собака вырвала из темноты маленькое окошко

и, не раздумывая, прыгнула…

А утром снегоуборочная машина убрала ее вместе со снегом.

Царство

— Рахат-лукум! — Воистину лукум! — Таким оригинальным возгласом приветствовал гостей тучный хозяин с черными локонами.

Среди гостей были два средневековых раритета и одна неизвестная поэтесса.

Когда роли были распределены, началось празднование Рождества.

Легких споров о том, когда же оно все-таки началось,

двадцать пятого декабря, шестого или седьмого января, было больше, чем салатов, и время прошло незаметно.

Но утро — это тихое, свежее, раннее время, воспетое всеми, кому не лень, было тяжелым.

Большое количество еды или ее полное отсутствие приводят к одинаковому результату:

человек не может работать.

А когда человек не работает, он начинает философствовать.

И если философствуют от безделья — утро становится мучительным.

— Воистину лукум, — сотый раз отвечают благодарные гости остроумному хозяину,

ведь имя его — изобилие.

И не важно, что за это изобилие заплатил Второй деликатес в стареньком костюме, который, возможно, будет еще долго переживать, но роль его бессловесная, а в глазах сквозят подозрительность и страх, охраняющие трусость и делающие его мишенью для шуток.

Первый средневековый мужчина садится за рояль.

Ему грустно, но это грусть человека, привыкшего к своей грусти.

Царство звуков, которые похитили его и оставили в средневековье,

здесь, в царстве торгов, превратились в дым от кальяна, долгие годы даря то радостные галлюцинации, то щепетильный, тяжкий труд.

Но он не смог перебросить мост через эти два царства и стоял светлый, чувствуя катастрофу времени, все же улыбался деликатной улыбкой, перешедшей к нему через балы и революции от бабушек, переживших тонкости своих сложных времен.

Улыбка эта как белая простыня охраняла от ветра.

— Открывать настежь окна и двери своей души, даже когда там не убрано.

А не убрано было.

Малоизвестная поэтесса, в зависимости от спроса, растягивающая свой диапазон — от святой девы и до...

— Я познакомлю тебя с ним, — подкинул хозяин карту, которую она взяла, блеснув белыми изящными зубами, ровность которых скоро будет оценена.

Я люблю тебя наизусть

Ползучая письменность страхует каждую деталь, так как лежа легче отсканироваться.

А устные — стоят, без страховки, дугой мостика, в основном не прикасаясь к земле, — наизусть.

Елена была спокойна, как в редкие безоблачные времена, и все, что окружало ее, поддерживало это спокойствие невидимыми мягкими руками, то поднимая, то опуская на теплых волнах.

А она сидела, окруженная благоприятными течениями и медленно «листала» своего мужа как хорошо изданный дорогой журнал.

Но сердце, не умеющее читать, как ребенок с хорошим слухом, начинающий учиться музыке, не знает и не хочет знать ноты,

хотело любить наизусть.

Лодка плавно качнулась — ей надо бежать.

Когда она вышла из своего «аквариума», где дул прохладный воздух,

отрегулированный сверху, как в самолете, резкая смена температуры сорвала с нее шарф, и радость стала щекотать живот.

Как тогда, когда двое дрались из-за нее, а она чувствовала гордость, пока не поняла, что из богини превращается в маленькую статуэтку, достающуюся победителю.

На вокзале смена температуры дошла до края, а радость — это азартное ощущение жизни, которая совсем рядом, — перестала щекотать здесь, в толкотне возгласов и тел, где при таком общем шумном празднике — все чужие.

Вдалеке появилась фигура Родного. Полного, с черными волосами и немного озабоченным лицом.

Он доставлял боль. Сердце, которое запоминает места не хуже, чем лица, вспомнило эту скамейку и, сделав последнее вращение, остановилось.

— Может, вернуться? — спросил мозг, который не умел молчать.

Вернуться туда, где белая шуба и нет маминых глаз, ищущих работу.

Нет, она простила.

Даже те сомнения, когда-то остановившие его кровь, без которой он не мог быть родным и любимым наизусть.

Письмо жигало

«Здравствуй, моя милая! Это я,
Ароматизатор, идентичный натуральному.
Запах ванили и кориандра,
Упакованный в стеклянную бутылочку,
В которой нет ничего, кроме воздуха,
Продаваемого туристам умелыми армянами.
Ты спрашиваешь, для кого я?
Для тех, кто ищет вкус шашлыка, обещанный на упаковке
С маленькими, высохшими картофелинами странной формы,
И благодарит меня потому, что верит:
— Смазаны они настоящей сметаной.
Ты думаешь, их мало?
Найдутся те, которые скажут:
Нет! только зеленый, здоровый салат?
Может быть.
Я не встречал таких.
Разве что тебя.
Скажешь, опять слова?
Но я же вижу.
Сейчас ты на пшеничном, желтом поле лежишь,
А колосья, такие осязаемые,
Ласково царапают твое лицо и остаются в волосах.
Солнце странное, бледное, тоже как будто пшеничное,
Слепит глаза.
Ты зачем-то приподнимаешься на локте,
Машешь лучам рукой...
Узнала в них меня?»

Полутон

Как темперация уравняла оттенки оттенков — до диез или ре-бемоль?

Оргазм или мышечное сокращение?

Так компьютер выравнивает наклоны букв, лишая графологов колдовства предсказания, когда почерк, будто червь, выползает из-под хиромантных линий-пальцев жизни-ладони.

Он, выравнивая, лишает оружия,

как если бы полоски зебры не размывались при беге, вводя хищников в обман.

Все выживают:

У кого-то клыки или стервозность, а у кого-то способность размываться,
исчезать в шапке-невидимке своей интуиции, которая не менее хищна, направляя во все стороны свои лучи-когти…

Как в детстве бездумно лишают муху крыл, думая, что лапки ее станут передвигаться быстрее,
так Бог разумно раскрывает наши резервы,
Отрывая клык за клыком.
Но интуицию отобрать нельзя, ведь ее невозможно поймать и опознать,
Она — то потустороннее, что происходит при беге с полосками зебры,
Та ополосованная любовь
— так называемый первородный грех, который своим переплетеньем рук и ног вызвал в раю новый образ змея, а не наоборот,
когда якобы сперва был змей,
и уже потом переплетение тел.
А также воздуха с водой, с землей или с огнем.
Но революция-темперация разделяет и стихии на четыре части,
хотя они смешаны,
и Бог как волк
— смотрят его не четыре,
а изо всех углов глаза.

Дыхание

Мозг дышит носом, а сердце ртом.
Нос — прохладной струей, строгим счетчиком, офисным кондиционером.
Рот же — жаром, чем-то лишним, как допингом.
Становится носом, только когда задерживает дыхание,
или берет его в тени — в запретной зоне висячего язычка, наподобие певцов.
В любом случае, все вниз — к легким.
Легкие не дышат, а гребут, разбухая, как в воде, расширяясь в бока ребрами-веслами.
Натыкаясь на айсберг — трахею — антенну,
в которой остается воздух, даже если дом рухнул.
Цепь питания — принцип природы, по принципу домино.
Когда гнется растение к рыбе, а рыба к тюленю.
Но при виде подонка наша первая мысль
— зачем для него растет пшеница?
Становится нежно-физически жаль ее.
Он нарушает цепь дыхания кашлем.

Звук

Голосовые связки соединяются, но не делятся на гласные и согласные буквы, которые пишутся так же, как внутри горла — объединяя палочки.

Визуально никогда не поймешь глухо или звонко, пока не грянет гром, нарушая равенство стрелок молнии.

«Молния — точность иголки в сене,
Иди, ищи ее в целом небе».

Беззвучная религия — религия света.

Будда от слова заБуду, как истинное самопожертвование, вместо желания нацарапать свое имя Мессии на лбах, прикрывая ладонью объектив третьего глаза верующих.

Как связная телефонная трубка перекрывает ухо, разъединяя с миром вокруг.

Жизни, которая была под заклятьем борьбы плавательных движений страха утонуть,

Религиям — Брассу, Кролю, и по течению,

Будда подарил новые законы:

философское переворачивание — умение плыть на спине.

Это не было сублимацией, когда, нажимая на капилляры, заставляют кожу белеть и временно исчезают синие круги под глазами

— его законы были точностью верхушки, лишающей возможности развернуться, точностью отсутствия других вариантов уникального рождения.

Высота Будды ни в чем не была вслепую;

Он нарушил пост, попробовав то, от чего отказывался.

«И хоть засомневавшись, совесть достигнет половой зрелости,

Будда знает точно:

БезБашенны поэты —

Без вавилонства.

Без крепости разных языков и национальных флажков».

И правда — все из огня, из чувства, но Sensus блуждает и разбавляется в своих окончаниях. *(То сенсуализм, то сенситивность.)*

И только отсутствие всех вариантов делает чувство Sensацией.

Обними меня, Боже,

До невесомости, как хруста,

До впадения перепонок уха —

Плавно, как шахта под ногами звука.

Фраза

Некоторые изречения, даже точные и искренние, входят в сердце через сырое помещенье левого полушария.

Такие изречения хоть и ценны, но неровны, как разделанный барашек на прилавке, не сравниваемый с живым.

Тело — четно по стороны-груди, мысль нечетна, как гиря, поставленная на противовес.

Так как человек стихосложен ритмично, то ровно по продленным в объятиях рукам ложится на него поэзия, плавно усаживая его вместе с собой в такое же стихосложенное, с двух сторон, кресло.

Он облокачивается на спинку, откинув голову, которая от возвышенных мыслей вытягивается в пирамиду.

С верхушки же только один выход — с чистого листа-моста прыжок.

И с него изречения перестают казаться и ровными-стихотворными и не ровными, разделанными.

Они становятся вплотную приближенными к чему-либо, когда все кажется новым, без скрытого просмотра кадров с дальней кабины.

Ведь любовь, когда лицо удивляет, будто в первый раз увиденное, а все потому, что с близи.

Так в старом мае, вине и пальцах — новые стихи смотрят на Мандельштама.

Смотрят — так как не пустой звук тот, что имеет глаза.

Закрытые глаза нот раскрываются песней, как нейроны-*записи* в голове, *исполняются*-чувствуются в сердце-*на сцене*.

В некоторых изречениях кипяток песни остывает, и хор раскрывает рты слаженно, но беззвучно.

А в других — температура бойко сохраняется, но бурлит отрывисто,

Как на вечной репетиции, то и дело строя хористов — возбужденных солдат без целой войны.

От кипятка творчества убегают в тень, а выдерживают его — только нежные поэты.

Подготовленность же к открытой струне, от которой многие убегают в тень, считая ее местом под солнцем, дается потребностью, которая вспахивает-выворачивает душу, подготовленную собой, как возбуждаются рецепторы вспаханной ладони, медленно приближающейся к щеке, и вздрагивание их соединения десятибалльно.

Осознание

Нож ранит или затыкает рану, удерживая на себе потерявшего равновесие?

Надавливая, как хватаясь за сердце, думают, что облегчат себе боль, и от холодного металла тоже, сердце растает-вытечет как глаз.

Вообще, легче держать сердце под рукой:

ставя ладонь фонендоскопом на спину говорящего, можно услышать,

Как, вибрируя, сердце мешает губам, дублируя их речь спереди, своим бурлящим резонансом на спине.

Осознание — осязание,

вместо того чтобы «думать» — укорачивая мысли по всему телу до узкой стенограммы, бегущей по лбу.

Мысли сердца удивительно живучи.

Они напоминают фантастические фильмы, где слово «целую» в конце письма оживает, собравшись, как гусеница, в гармошку, и, по-кошачьи выгнув спину, выпрыгивает из отглаженных бумаг.

Пока человек «думает», что спит, его осознание осязает, и вздрагивают губы во сне, как рыбьи рты без слов с желанием сказать.

Осязают клавиши в благодарности музыке за возможность признаться и не умереть от нерастраченной нежности,

но роет туннель, касаясь клавиш, желание любви, а не секса, заменяющего касание на чесотку пальцев, как десен при режущихся зубках.

Время

В эмиграции сын похож на отчима —
Криво сетка паспортная ловит нас,
Пока без церкви,
Прямым не станет Отче наш.

Часовые пояса ворочаются с боку на бок, засыпая в разное время.

Так лицо стягивается в мешок профиля, отворачиваясь.

А открытая, дружественная ладонь анфаса, где черты выставлены, как свежесобранный урожай на белой скатерти,

это мир без лиц национальности.

В первые секунды жаль, что мигающие полоски эмиграции заглушатся и кружева языков разгладятся в высокий звук.

Им больше не нужно будет скрываться в складках своеобразия.

Но все — своевременно:

Разглаженные звуки-великаны, и исчезнувшие профили, в обменных процессах жизни, не смогут променять себя на наше чувствоосознание, и останутся ни с чем...

Все постепенно:

мы не можем тянуть на себя спасательный канат, но он осторожно отрывает нас от земли:

сперва земля стояла на слонах — была на ногах,

потом подмяла их под юбку-клеш и закрутилась.

Обнаженное

Странно, что чувствительных людей часто изображают нервными, тогда как сводит с ума, наоборот, хватание мелких вещей грубыми перчатками.

Не понимая, что в руках, люди трут шершавыми, обернутыми в резину пальцами и воют от распирающей неизвестности.

И чудным видением проходят мимо их носа быстро текущие кровеносные сосуды, которые не дают заледенеть пальцу, утолщаясь верхним слоем эпидермиса.

О, это пропитанная тонкая кожа, возбужденная и информированная, только прикоснется к ней неизвестный объект, а она, выпуская сок, в полный круг заскользит по нему и узнает, а не тупо-арктически в него уткнется.

Так что быть чувствительным одно удовольствие.

Влюбчивость — отпечаток.

Удар лицом печати в лицо бумаг.

Желание целовать бога в губы.

И все благодаря обнаженности вселенной.

Голое — идентификатор.

Как открытая мышца сердца сводит удары к нюансам и в зависимости от ситуации стучит тучно, на самом дне, пригвоздив человека к постели или маяча сиреной, выкачивая больше крови, чем у него есть, осветляя ее густоту суетой и усталостью.

Обнаженное находится в вечном движении, пока не остыло как керамика, которую уже невозможно раздеть.

Заметив свою наготу, Ева стала основоположницей разнообразия,

ведь только голые деревья темнеют после дождя, меняя краску.

Жизнь

Говорят, изначально, свет был во всех людях, но он мутнеет.

Занимающиеся живописью относятся к этому менее строго.

Белый цвет у них — Блик.

Не из-за быстрого его исчезновения, а от того, что он не белый.

Голубой, желтый...

Блик на небо, блик на землю...

Собирающимся на землю дают завет:

«Не любить последние аккорды симфонии,

Бегущих к тонике, как угорелые сперматозоиды,

Не знающие, что, попав в жизнь, они еще не в финале и

Им только предстоит свои искать в списках фамилии».

Подвесной потолок небес скрипит над головой.

Долго думали, куда разместить эту стенку — впереди мешает, сзади толкает, а под ногами скрипит.

Люди всегда отгоняли мысли о смерти во все стороны,

И так появилось понятие «верха» — самое невидимое место.

Все же жизнь есть везде, даже в сонной, мертвой луже, отражающей день человека, просто она бывает увеличена до полусмерти-полускуки, в которой живое разбавлено, случайно.

И это увеличение уменьшает, мешает, оставляет за бортом своей лупы вишни, захлебываясь маленьким растущим кусочком тарелки.

И за бортом остается человек, разрастаясь в толпу, а женственность не умножается в феминизме, а отрезает свои волосы.

По-настоящему же увеличивает фокусировка.

Не утыкается в тарелку, а превращает в сгущенку все живое, что нашлось.

Как любящий целует в губы, даже когда в щеки,

Ведь улыбка их разрезает углами губ,
А целуя шею, стоит под балконом подбородка, куда выходят губы…
Точ-ится грифель-душа
Чистится косТочка абрикосная —
Только Точность бывает съедобная.
А случайность — это точность без идеала.

Чудо

Ощутив эффект чуда на своей трезвой коже, хочется попробовать еще.
Но эти эксперименты, словно гормональный крем:
необходимо все время менять — кожа привыкает.
В роли кожи — сознание.
Оно требует, чтобы вера в цель была беременна многими ракурсами.
Капля точит камень одинаково, но уговорить ее на это можно только с разных сторон:
то из моря, то из-под обычного крана.
Предугадать сложно.
Есть люди, которые любят тяжесть.
Она придает им сил, как брат боксер, или фамильная книга с переплетом в половину комнаты.
Им нравятся иконы, так как они весят что-то.
А есть и те, которые культивируют легкость.
Они выбирают иконы-гербарии, ходят по волоску берега, что от слова гербера.
Но и придавленные золотом икон, и воздушная высушенность листьев и волос — это близнецы, просто разнотональные, то есть не похожие друг на друга, но принадлежащие к одной солнечной, мажоро-минорной системе.
Да, цветы — это берег, край, волосы, аббревиатура.
Но их высыхание должно насторожить,
Как дистрофия от неправильного голодания в йогических занятиях.
Герои, ушедшие в сыроедение дальних путешествий,
сколько бескровной злости вы испытываете от мысли, что земля круглая.
И толстый бородатый дьячок, с крепко замурованными ногами, словно увековеченные ладони кинозвезды, фамильярно бьет вас — одуванчики, по спине, и, через пух разглядывая, называет братом.
Недаром человек от пылающей своей середины распыляется к прозрачным сухим конечностям — ногтям, волосам.
И только вечно живой кончик носа ищет и вынюхивает Чудо.

Дмитрий Верещагин

Клакеры

Рассказ

1

Олег Николаевич Ефремов курил всегда крепкие сигареты — «Памир». «Нищий в горах» называл он их за то, что на рисунке (на пачке-то) был изображен турист с рюкзаком за спиной и, по замыслу художника, этот турист собрался уже туда — на самый верх Памира забраться.

До того крепкие были сигареты, что уже от одной глубокой затяжки у меня голова начинала кружиться, хотя я, надо сказать, курильщик тот еще: мы, деревенские пацаны, сажали специально табак на огороде, где почва у нас черноземная — до бани, а далее до реки, из которой поливали грядки с огурцами и помидорами, лук и капусту, почва была нечерноземная, но тоже и на ней родилось все у нас хорошо. А за сараем, это уж как правило, мы с братом Волей, а по-культурному он — Валентин, Валентин Иванович, сеяли табак дюбек и серебрянку. Это так делал наш отец, который не вернулся с фронта, и теперь мы сеяли табак на самом том месте, где он всегда сеял, завет мы его так исполняли! Это такой крепкий сорт табака, что от одной затяжки голова шла кругом, меня даже сперва рвало. И вот поэтому мы, я и мой брат Воля, разбавляли его, такой крепкий дюбек, серебрянкой — это, знаете, как спирт разбавляют водой, ведь один чистый спирт пить очень тяжело, меня даже сперва рвало, — словом, мы, Олег Николаевич и я, курили «Памир», и иногда пили спирт в чистом виде, и с нами пила Светлана Коркошко. Она тоже курила «Памир». И с нами курила министр культуры Екатерина Фурцева, прозванная Екатериной Третьей, потому что она, как и Екатерина Вторая, очень любила настоящих мужиков, каким был Олег Николаевич Ефремов. Бывало, помню, Коркошко, наша Света, дрожит перед выходом на сцену, как осиновый лист, знаете, дрожит, так что я скорее, скорей ей наливаю полстакана водки — и она дернет водочки, да еще сделает глубокую затяжку «Памира» и, перекрестившись, теперь выбегает на сцену; а я, когда идет генеральная репетиция «Чайки», бегом, скорей бегу в темный зал, и там, сев в кресло на первом ряду, наблюдаю следующее. Наша Светлана Ивановна, слегка покачиваясь, начинает читать тот гениальный монолог, благодаря которому вся эта пьеса Чехова, знаете, делается крепкой, как дюбек. Понимаете? Наша Светлана Коркошко меня всего пробирает, бывало. Так что я кричу из темного зала:

— Гениально!..

Светлана даже просияет вдруг вся, как электролампочка, и начинает уже теперь читать так, что Олег Николаевич, замяв и заплевав очередную сигарету, в тарелке, которую я принес ему из буфета, кричит:

— Здорово! Светлана, здорово!

Дмитрий Иванович Верещагин, прозаик. Родился в 1941 г. в Пензенской области, с. Ильмино. Окончил Пензенское художественное училище и Литературный институт. В 1970—80-х гг. публиковался в периодической печати, преимущественно детской. В 2004, 2005 и 2007 гг. в журнале «Крещатик» печатался его роман «Больница». Лауреат конкурса национальной литературной премии «Заветная мечта» (2008 г.). Живет в Москве. В «ДН» печатается впервые.

Все упомянутые факты, а также связанные с ними имена автор оставляет на совести рассказчика.

А когда, если рядом со мной в темном зале сидит Екатерина Третья, благо она любила приезжать к нам в театр на генеральные репетиции, тоже кричит:

— Бис! Браво!

И мне шепотом:

— «Памир» есть?

— Есть.

— Дай сигаретку.

И к нам подошел Олег Николаевич. Он говорит ей:

— Екатерина Алексеевна, это ничего, — говорит он ей про меня, — что он кричит из зала?

Она, дыша на меня табачным дымом:

— Ничего. Он кричит всегда как раз в точку. Именно так и надо кричать. Пусть он в театре будет старшим клакером.

— А что, — говорит, — это идея. Благо наш старик клачный уже совсем занемог. Хорошо. Вот и замена ему достойная нашлась.

Кстати, я того старика клачного довольно хорошо знал. Но я об этом расскажу как-нибудь в другой раз.

— Вот и хорошо, — говорит Екатерина Третья, — замена достойная нашлась! — и мне шепотом: — Дай еще сигаретку. — И Ефремову говорит: — Я чего думаю, мой друг.

— Да, — откликнулся наш чуткий Олег Николаевич.

— Завтра к нам приезжает Ван Клиберн. Вы, Олег Николаевич, отдадите мне его.

— Зачем он вам нужен?

— Пусть он также кричит из зала.

— Как? — спросил Олег Николаевич.

И она объясняет нам, как надо будет кричать:

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

— Три раза? — спросил Олег Николаевич.

— Не три, а семижды семь.

— Ты понял, — говорит мне Олег Николаевич, — как надо кричать?

— Да, — отвечал я, — я так и буду кричать. Даже еще громче, чем тебе, Света.

— Вот и хорошо, — говорит министр культуры. — Вот это будет наша, русская клака!

2

Теперь о Ване Клиберне. Он появился на сцене совершенно не так, как принято появляться артистам; они появляются из-за кулис. Нет, этот артист появился из зрительного зала. Он бегом подбежал к сцене, к рампе, положил на край ее руки и сделал стойку на голове, знаете, как акробат, потом — смотрим — уже стоит на сцене и, подняв руки над головой, кричит: «Рос-сия! Здра-ствуй!» Никто этого не ожидал, что так он будет нас приветствовать. Мы — особенно я — закричали все дружно:

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

Он сел играть, сразу же сел играть Сергея Рахманинова «Весна идет!». Нет, он не просто играл, он доставал из рояля звуки, как достают из колодца воду. Это мое сравнение к нему очень даже подходит, потому что как блестят капли родниковой воды на ведре в колодце и, блеснув на лету, они летят вниз, в глубину колодца, — вот также и его звуки, которые он доставал из рояля: они блестели у него на руках, на пальцах, длинных, как у Сергея Рахманинова; он так же доставал звуки из рояля; он точно проливал их через всю клавиатуру. Он играл так, точно вспоминал свое детство. Я слушал его и вспоминал себя тоже еще маленьким. Он даже клушку изобразил своими звуками: она точно барыня, вся в расфуфыренном платье. Он изобразил даже и то, как я побежал впервые, первый раз в своей жизни за околицу. Представьте: ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное. Он звуками изобразил еще и то, как жаворонки звенят в небе; он изобразил еще и то, как воркуют зобастые голуби; он изобразил еще и то, как молча реют ласточки в небе; он изобразил еще и то, как лошади фыркают и жуют; он изобразил еще и то, как собаки в жару страдают: они не лают, они молча стоят, высунув красные языки изо рта, и смирно повиливают хвостами. И дымкой-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько — кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный воздух. Я точно

видел, слушая его музыку, такое лето, будто последний день июня месяца; я видел, слушая его музыку, на тысячу верст кругом Россию — родную Пензенскую землю!.. Слушать такого мастера, такого виртуоза — это было так здорово, что у меня даже сердце билось учащенно, уже оно готовое выпрыгнуть из груди. И я, опять, не выдержав, закричал:

— Ваня! Ва-ня!..

Он, видно, тоже родился в деревне, как и я, — он снова стал рисовать колодец так, что я, закрыв глаза, снова увидел наш деревенский колодец; он стоял совсем рядом с нашей избой на Большой улице.

— Ой, вкусна! Ой, вкусна! Ой, вкусна!

Так поет колодец, когда крутишь барабан за ручку. Когда же ладони держишь на самом барабане, на зеркально-гладком месте, он поет немножко по-другому, уже веселее. Так что если в первом случае это была песня неторопливая, по-русски протяжная, то во втором случае почти что, можно сказать, плясовая:

— Попей! Попей! Попей!

И когда так поет, ты заглядываешь туда, в колодец, и — во-он улыбается — видишь себя на дне, далеко-далеко, точно бы это длинная просека. Если, принимая ведро, из рук прольешь, брызги, блеснув на лету, летят бесшумно и так долго, что можно успеть подморгнуть самому себе. И — глядишь — там подмаргивает в ответ. Как вдруг: плюх! Никогда не знаешь, когда там — на дне — плюхнется. И лицо разбивается. Вот принимаешь ведро. Даешь задний ход цепи и, поставив его на планку, сдунув самые крупные соринки, начинаешь пить. Пьешь, пьешь — до тех пор, пока ноги босые терпят. Какая студеная! Вот напился: уже чувствуешь, и у ног, и в ногах вода. И, однако же, еще охота! Но уже ломит зубы. Но ты их зажимаешь губами и снова прикладываешься.

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

Он, пожалуй, точно деревенский пацан был. Он и на реку бегал, как я на нашу Сурушку-Суру. У него там, в Америке, может быть, река Амазонка. А на ней, как и на нашей Суре, летит мятель. Только на двух реках в мире летит он. Мятель-мятелечек. Он играет новый музыкальный этюд, а я, закрыв глаза, вспоминаю. Бывало, делаешь заводь. Где-то уже под ночь, на ночь так уж глядя. И остановишься, и послушаешь: Мишуня плывет. Он плывет еще только на Прорве, переговариваясь с берегами, а его слышно нам с Пристани. Сперва, впрочем, не совсем слышно, с кем он там переговаривается, но ты наклоняешься к воде и слушаешь ухом: это, различаешь, он с тем-то и с тем там разговаривает. Вот, хлюпая веслами, уже он приближается. По той стороне плывет. Тихо. Так тихо плывет, что теперь слышно, как поскрипывают ремни на веслах, а когда весла приподняты и лодка плывет сама по течению, слышно, как капают капли с них. Тут, и на этом и на том берегах, приумолкнут все. Как точно бы сговорившись, и Мишуня, вдруг тишины испугавшись: «Робята, вы где?» И как на ухо это он спросит. Но в ответ ему никто ни слова. И он снова спрашивает: «А, робят?» — «Ты чего, дядь Миш?» — «Да костры-то чего не жгете?» — «А мятель будет ли?» — «Будет». — «А почему ты знаешь?» — «Месяц, — шутит он, — больно гнутый»,

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

3

Как вдруг, гляжу, Плисецкая. Мы сидели в первом ряду: по левую руку от меня — министр культуры Фурцева, а по правую — Майя Михайловна Плисецкая.

— Здравствуйте, Россия! — так я говорю Плисецкой, радостно говорю и вижу себя в ее блестящих, всегда улыбчивых глазах, — вижу себя, как в колодце, молодого, в белом фраке (нам, клакерам, выдавали белые фраки), и тоже всегда улыбчивого. Красавец, а не клакер!

— Сережа! Да ты ли это?

— Я. Майя Михайловна, я.

— Не узнала! Какой ты стал красивый!

— Это к деньгам, — говорю, — это к деньгам!

— Дай бог, — говорит, — тебе много денег! Ты, Сережа, и здесь клакером работаешь?

— Да, — говорю, — я старший клакер. Но и вы, Майя Михайловна, клакер? — благо она кричала: «Бис — браво — гениально». И поэтому я ей говорю, уже теперь как

старший клакер: «Майя Михайловна, вы давайте кричать вместе со мной — под мою команду».

— Командуйте, Сережа, командуйте!

Ван Клиберн опять сел за инструмент, он блестяще исполнил новый свой этюд:

— Раз, два, три.

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

И они, Фурцева и Плисецкая, кричат:

— Ва-ня! Ва-ня! Ва-ня!

Фурцева мне на ушко:

— Сережа, откуда ты ее знаешь?

— Плисецкую?

— Да.

А Плисецкая это услышала и отвечает:

— Он всех гениальных людей знает!

А познакомился я с ней вот как. Я тогда работал в Большом театре курьером. И мне дали в оркестровой канцелярии пакет, который надо было отвезти ей на дачу. И я, как был налегке одет, выбежал из театра на мороз. И я замерз. Даже в электричке не совсем отогрелся. День, помню, был морозный, а я был без шапки, в одной нейлоновой курточке. К тому же я так волновался, что даже вышел из электрички одной остановкой раньше. Но пакет я держал под курткой, как — гляжу — он выпал. И его понесло по шпалам. Это черт на него дунул, ей Господи. Я нагнусь, чтобы подобрать его с земли, а он вдруг, пока я дую на замерзшие пальцы, метра на два подвинется. Я резко нагибаюсь — и он резко отодвинется, блин, метров на пять.

— Колдун! — закричал я. Как в спектакле «Легенда о любви». Черт там творит, дела нехорошие, так что балерина, лежащая в склепе, в гробу, родила. А так как она забеременела от артиста, который танцевал колдуна, она ему, когда он пробегал мимо, шепчет:

— Я родила!

— А я при чем?

— Ребенок, — она ему, — твой. Я от тебя забеременела.

— Алименты с меня хочешь получать, подлая!

— Колдун ты и есть колдун! — сказала она. — Отдай мне мое письмо. — Она ему написала письмо, в котором его извещала, что она забеременела от него.

Вот и я также кричу:

— Колдун! Отдай мне письмо!

А он не отдает. Я, когда нагнусь, чтобы схватить его, а письмо взовьется, знаете, сперва в небо, а потом — точно, как будто колдун на него подует! — летит пакет мой в кювет. Я — в кювет, а он из кювета — в поле. Как же я замучился! Ой, как же тяжело работать в Большом театре! Но вот теперь я уже в белом фраке, старшим клакером стал. Я говорю Плисецкой:

— На дачу его пригласите...

Но она думает, что это делать неудобно.

— Неудобно, Сережа. Потом...

— Потом будет поздно, — говорю я ей шепотом. — Я его привезу к вам, если хотите.

— Ты? — она тоже шепотом спрашивает.

— Я.

— А кто ты ему, Сережа, друг?

Я встал и, подбежав к рампе, ноги свои поднял над головой. Как он, Ван Клиберн. Ловко опустил свои ноги на сцену и побежал к нему. И мы стали с ним обниматься. И она теперь думает: «А черт его знает! От него всего можно ожидать! Он на даче у меня, хотя и напился пьяный, но ночью сделал невозможное!»

А именно: когда я, наконец, пакет догнал в поле, я уже засунул его опять под куртку, нейлоновую куртку, которая уже стояла, висела на мне колом, и уже я, было, пошел к электричке, но она, блин, тронулась. Я стал ждать следующую. Замерз, как собака. Ждал, ждал... Наконец решил идти пешком, по шпалам. Так что, когда я, наконец, нашел ее дачу и позвонил в дверь, я от усталости-то оперся на дверь. Но дверь отворилась — и я упал, как мешок с землей.

— Господи, — сказала она, — это что за привидение?!

А у меня язык уже даже не ворочается.

— Быстро в постель! — скомандовала она.

Она дала мне стакан водки. Но я даже водку, чувствую, не могу пить. Но, однако, сделал глоток, потом второй и третий. И так выпил весь стакан. Откинулся я на подушку и думаю: «Вот теперь мне можно, пожалуй, отдохнуть. И поболеть даже можно!» Заснул. И спал, должно быть, несколько часов. Потому, когда я проснулся, смотрю на свои ручные светящиеся часы. Двенадцать часов ночи. Что делать? Спать мне уже не хотелось. Я встал и подошел к журнальному столику. На нем лежали какие-то листки бумаги, уже исписанные. Я включил торшер и стал читать. Какая-то заготовка к статье. Но она, помню, до того написана слабо, что я стал ее переписывать. После этого я снова лег в постель. И слышу:

— Здорово! Сколько это мне будет стоить?

— Четвертная, — сказал я. — Не меньше.

Вот и теперь здесь, в зрительном зале я так говорю, когда она спросила, сколько мне надо денег дать, чтобы я его привез к ней в гости:

— Четвертную… не меньше.

— Только уж, — говорит она, доставая деньги из кошелька, — ты не напивайся… как на даче у меня.

Но, правда, когда я его пригласил к ней в гости, он со мной не поехал. Так что, я ее четвертную потратил всю на себя. И, признаюсь, не отдал ей деньги. Так и умру, верно, ее должником.

4

Но я обещал рассказать про клакерного старика, после которого в Художественном театре старшим-то клакером был назначен я, тогда студент Литературного института в Москве, прошу на эту деталь обратите внимание, братцы.

Это был удивительный старик. Дворянин. Сергей Андреевич Попов. Тогда, пожалуй, спросите вы, как он стал клакером? — Не знаю. На такой вопрос мне ответить так же трудно, пожалуй, как — почему такой-то музыкант стал музыкантом, а не инженером. Мне было тогда интересно другое. У него была шикарная квартира в самом центре Москвы, но я почему-то от нее отказался, несмотря на то, что я за ним ухаживал, и он мне однажды уже собрался написать завещание, но я — даже не знаю почему — отказался. Вот почему так бывает, скажите, пожалуйста?

Это потому, что мы были советские!

Да мы с ней, с Екатериной Третьей, и ездили к нему. Потому что была у него очень необычная картина. Он хотел ее продать. Я ее уже возил один раз в антикварный магазин, но продавец — хитрый еврей! — мне за нее давал смешную цену, дай бог памяти, рублей двадцать пять. — Хотите иметь Рошгросса? — предложил я ее Екатерине Фурцевой.

— А это кто? — она спросила.

— Это, Екатерина Алексеевна, французский художник Жорж Рошгросс. Картина, прямо вам скажу, редкая.

— А как она к нему попала?

— А Бог ее знает: у клакеров бывает и такое. Вещь, смотришь, шикарная. Какое-нибудь платье, знаете, которое принадлежало царице Екатерине Второй.

— Поехали! — сказала она восхищенно. — Я и платье куплю у него!

— Да это я к примеру говорю: какие вещи бывают у клакеров.

— Картина жанровая?

— Жанровая.

— А ты почему знаешь?

— Да ведь я учился в художественном училище.

— Да-а, — удивилась она. — Тогда, конечно, ты должен в картинах разбираться.

— Вот вам ее содержание. Высокая, отвесная скала… Над ней тусклое, свинцовое небо, подернутое мглистыми тучами, тяжелыми и безрадостными. Только в одном месте, как раз над скалой, разорвалась эта скучная пелена серых туч, и оттуда пробивается яркий, ласковый луч солнца. То — счастье. К этому счастью, взбираясь по обрывистым крутизнам скалы, безумно тянутся люди. Их много, бесконечно много. Тут и важный сановник, и мечтательный поэт, и банкир с бриллиантами на пальцах и толстой золотой цепочкой на толстом животе, и молоденькая барышня в модном платье, и дюжий матрос со здоровенными кулаками… целая толпа! И все они рвутся

к одной точке, туда, где среди туч блестит луч счастья. Между ними свалка, дикая, звериная свалка, где забыты приличия, стыд и жалость. Кто слабее, тот сбит с ног и лежит беспомощно, раздавленный каблуками тысячи людей, лезущих через него вверх и забывших все на свете в отчаянной борьбе. Какой-то счастливец добрался до вершины, но скала заканчивается таким узким шпилем, что удержаться на нем невозможно, и в следующий же момент грубые руки соперников сдергивают счастливца вниз, и он летит вниз — в бездну.

— Как хорошо поясняешь! Прямо как писатель!

— Так, ведь, я и учусь в Литературном институте.

— Ну, тогда поехали! По дороге ты мне расскажешь, как учат у нас на писателей.

И мы поехали к старику. И она сразу у него приступила к делу.

— Старик, ты у кого приобрел эту картину?

— У маршала Егорова.

— Да буде врать-то. Я хорошо знаю его.

— Маршала Егорова?

— Да. Я на даче у него была.

— А в каком году это было?

— А было перед самым это его расстрелом.

— Тогда вы должны были обратить внимание на нее, — он указал на картину Рошгросса. — А вы знаете, как она ему досталась? Я так думаю, товарищи. Он в Гражданской войне, когда красные били беляков, видно, какого-нибудь дворянина убил, а среди вещей-то его и была она, вот эта его картина.

— Так к вам-то она как попала?

— Дело в том, что я подписал донос на него, на маршала Егорова. А точнее, надо даже вот как сказать. Я отказывался подписывать такой донос. А если я тебе подарю вот такую картину, говорит мне следователь, ты подпишешь? Я посмотрел на картину. Она мне так понравилась, что я сказал: да. Я подпишу вам донос.

— Я хорошо знала его, маршала-то Егорова.

— Как его звать?

— Александр Ильич.

— Правильно, — говорит он ей, как бы этим самым уже проверив ее, что она действительно его знала. — А скажите, дача его как выглядит?

— Это не дача, а дворец. Помещик Барвихин в Барвихе ее построил.

— Правильно, — говорит ей опять старик, кивая головой; мол, так именно все так это и есть.

— Я, — продолжает она рассказывать, — ездила туда в санаторий, чтобы проведать Землячку.

— Эта та самая стерва, которая в Крыму расстреляла сто тысяч белогвардейцев?

— Та самая. Я ее проведала и натолкнулась на маршала Егорова. Он меня схватил и понес на руках в свою машину. Он меня изнасиловал сразу же, в машине.

— Это в его манере, — сказал старик.

— Вдвоем, — отвечала она ему. — С Буденным они меня «любили». Сперва из-за меня они поборолись на лужайке.

— Кто кого поборол, — спросил старик.

— Да, конечно, Егоров. Это же был такой силач. Медведь, русский медведь. А я-то тогда была молодая. Я с десятого года. Сколько мне тогда было?

— Его расстреляли в 1938-м, при Ежове, Берии тогда еще не было.

— Красавчик был, — говорит ей старик про Ежова, — только небольшого росточка. Метр пийсят один. Все мерзавцы небольшого росточка, — говорит старик. — И Наполеон был небольшого росточка. И Сталин был небольшого росточка: метр пийсят шесть.

— Метр с шапкой. А какую жену имел, — говорит она про Ежова. — Дородная, такая была красавица. Очень любила писателей. Бабель через нее пострадал. Ежов их застукал.

— А вы откуда это знаете? — спросила Екатерина Третья.

— Я все знаю. Я подписывал в кабинете у него все такие бумаги...

— Доносы?

— Назовите это хотя бы и так.

— Вот оно как, — она захохотала, — мы с вами стукачи?!

— Все мы, клакеры, стукачи.

— Так, так, — говорит она, потирая руки от удовольствия. — Он меня схватил и понес в машину. Я Сталину, товарищу Сталину даже об этом писала.

— Что он вас изнасиловал?

— Что он пьяница. Бутылку водки выпить из горла — это для него раз плюнуть.

— Это в его манере, — сказал старик закуривая. Гляжу, он тоже «Памир» курит. А она ему говорит:

— Напился, и у него язык развязался. Всех поносил на свете. Ворошилов у него трус и мерзавец. Сталин у него мальчишка, которому он бы не доверил управлять не только Россией, но и областью. «Засранцы! — кричал он. — Как могло случиться так, что Россией стали управлять засранцы? Тоже мне, хозяин...»

— Хозяин — это Сталин?

— Ну да, конечно.

— Небось, — говорит старик, — был доволен!

— Коробку конфет дорогих мне подарил! — сказала Екатерина Третья.

— Вот оно как: за коробку конфет маршал-то пострадал!

— Нет, старик, не за коробку конфет. Он пострадал за свой язык, который у него развязывался, когда он сильно напивался.

— Так, так, — говорит ей старик. — Это в его манере! Вы, стало быть, и Сталина знали?

— Да-с, — она ему, — я и товарища Сталина знала.

— И я его знал.

— Но-о, — удивилась она. — Каким же образом?

— Я его знал даже в натуральном виде.

— А это как? — спросил я.

— Я его мыл в бане.

— Все ясно, — говорит она ему. — Вы, может, и подругу мою знали?

— А кто она, ваша подруга?

— Валентина, Валечка Истомина.

— Знал, — ответил ей старик. — Девять лет я ее знал, все те годы, пока она была его гражданской женой. Так?

— Так. Именно столько лет они прожили вместе. — И старик рассказывает нам: — Это были самые счастливые годы нашего Хозяина. Да, с ней он был по-настоящему счастлив. Он с ней даже в Большой театр ездил. «Кармен» Бизе смотрели они.

— Да не об этом же говорил с ней товарищ Сталин в бане, — сказала Екатерина Третья.

— Да, конечно, не об этом. И не о том, что маршал Егоров вас, Екатерина Алексеевна, использовал для пылкой любви своей. Но все это, конечно, ерунда.

— Почему? — удивилась она.— Почему ерунда!

— О чем говорил товарищ Сталин конкретно? Помните? — спросила она.

— Помню, — сказал старик. — Он говорил в бане Валечке о Кармен, что она — распутная, воровка. Дурная девка! Да, конечно, это так и есть. Ведь что есть Кармен? Она у Проспера Мериме отвратительна настолько, что это не цыганка даже...

— А кто же она?

— Еврейка.

— Фю, — свистнула Екатерина Третья. — Вот сказанул!

— Это не я, а Проспер Мериме говорит так.

— Где? Я что-то этого не помню.

— Тогда еще раз читайте и увидите. Хотите, я страницу вам даже назову. — Он пошел достал книгу с полки и теперь читает ей: — «Так, значит, вы мавританка или... — я запнулся, не смея сказать: еврейка». Вы что думаете, это так просто говорит он?

— Кто?

— Автор. Точнее, рассказчик.

— Ну-ка, — говорит она, — дайте мне. — Она взяла книгу, почитала место, которое он ей отчертил ногтем, и говорит: — С этим надо разобраться!

— Конечно, надо. Потому что тут собака зарыта.

— Какая?

— А вот какая. Кармен — это такая мерзавка, что мне нисколько ее не жалко...

— Что ее в повести убивает... как его звать?

— Хосе. Он похож на Сталина.

— Фю, — снова свистнула Екатерина Третья.

— Вы погодите свистать. Слушайте, почему я так говорю. Хосе, как вы — надеюсь — помните, живет с ней и мучается. Вся его жизнь с ней такая, что можно сказать даже и так. Он жил, как Христос на кресте! Да. Помните, как он ей говорит: «Сколько можно воровать? Давай, давай, моя милая, уедем в Америку. И там мы начнем новую жизнь». Но она ему отвечает: «Никуда я с тобой не поеду. И вообще, говорит, я тебя не люблю». И тогда он ее зарезал.

— А при чем здесь Сталин?

— А вот теперь слушайте. Товарищ Сталин влюбился в Революцию, совершенно так же, как влюбился Хосе в Кармен. Если вы помните, чего она делала, Кармен-то, с диким парнем Хосе, — с Хосе, который умственно не развит, настолько он рядом с ней проигрывает, что она, видя все это прекрасно, что он по сравнению с ней безмозглое животное, да, животное, ведь она может с ним только поиграться, как со своей собачкой, но и этого достаточно, чтоб он побежал за ней, как бежит за человеком любимая его собака, с которой она, знаете, ведь что захочет, то и делает практически. Захотела она, чтобы он стал вором — и он становится им, вором; захотела она, чтобы он стал убийцей — и он становится им, убийцей. Но разве не то же самое делает Революция со Сталиным? Захотела Она, чтобы он стал вором, грабителем — и он стал вором, грабителем; даже можно еще сказать и так: теперь он становится вором, грабителем профессиональным, да, профессиональным, потому что он грабил банки для нее — для Революции; он есть теперь уже вор в законе, потому что он ворует в государстве, он грабит банки так, что уже теперь считает: это все он делает по праву революционного закона: грабь награбленное! — благо это ведь такой девиз революционеров. Захотела Она, чтобы он стал убийцей — и он стал убийцей. Он рубил головы на фронтах Гражданской войны так, знаете, что у него как будто и не было никогда того христианского сознания, какое оно у него было, когда он учился в церковном училище, а потом он еще учился три года в духовной семинарии. Можно ли представить себе такого человека убийцей? Сперва такое, знаете, представить очень трудно; но Она, это Она — Революция! — сделала из него убийцу. Ну, теперь вы понимаете, надеюсь, что товарищ Сталин и дикий парень Хосе — товарищи, да, как же они похожи! А Революция и Кармен — тоже товарищи, они тоже похожи настолько, что с них можно писать картину, — старик посмотрел на картину Рошгросса «Погоня за счастьем». — Вот так же и Революция поступает! Она говорит вот таким революционерам, каким был Иосиф Сталин: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что человеческое, но что Божие». Так Она говорила молодому Иосифу, когда он был еще студентом духовной семинарии. А когда он стал революционером и пошел за Лениным, Она ему уже теперь говорила, что он молодец, что Она его полюбит. И Она его полюбила так, что он стал мерзавцем, да, да, таким же, как и Кармен.

— Значит, товарищ Сталин жил в Кремле, — говорит старику Екатерина Третья, усмехаясь, — как на кресте?

— Да, госпожа моя, как на кресте. Он даже просил меня прибить его гвоздями. А это почему так? Эти его такие мучения продиктованы ему оттуда, — старик показал вверх. — Наша вселенная многоока. Вся она усеяна обилием очей неисчислимого числа высших существ, братцы.

— Да? Они и за Кремлем следят?

— Да, моя госпожа. Иначе, спрашивается, зачем бы он просил прибить его гвоздями к кресту? — И убийства, которые он совершил в своей жизни, они разве не мучили его? Убийства на Гражданской войне! Убийства, которые он совершил с Ежовым! Убийства, которые он совершил с Берией! Понимаете, почему он просил меня в бане: «Дорогой! Принеси крест и прибей меня к нему гвоздями!»

— Где, — говорит она удивленно, — в Кремле?

— В Кунцево на даче, однажды он меня просил в бане. Ведь я его мыл, я был у него, как бы вам сказать, банщиком. Да вы разве не помните?

— То есть? — спросила она, опять почему-то захохотав.

— Я и вас мыл с Валечкой Истоминой... помните?

— Помню, помню, — она ему теперь без смеха ответила. — А ты не слушай, — говорит она мне.

И вдруг она пропела частушку:

Правильно, правильно,
Нос большой у Сталина.
Больше, чем у Рыкова,
Да Петра Великого.

— Именно такой был «нос» у него, — старик, сказав это, опять закурил.

— Вы, какие сигареты курите? — спросил я.

— «Памир».

— Хорошие сигареты, — это она говорит старику. — Дайте и нам закурить.

Он дал нам закурить. И она запела: «Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой!» Она запела, благо он поставил на стол бутылку водки. Хорошо. Как хорошо мы тогда посидели!..

Ирина Суглобова

От черного рая до белого ада

* * *

А по святцам меня звали б Клеопатрой...
Хоть блаженная такая в Бозе есть,
Как родимые носила бы я пятна
Египтянки древней проклятость и честь.

Как честили мя старухи на скамейках,
Как свистели бы во след мне мужики,
Как свивались бы, гнездились в сердце змейки.
Эти вечные... беспечные стихи.

Как меня бы не любил мой гордый Цезарь,
Как бы низко мой Антонио не пал,
Сколько б все не наломали бы железа,
И чего б потом Плутарх не написал,

Ничего бы изменить я не сумела,
Ибо свыше было б все предрешено,
Изнывало б это царственное тело
И бродило недодержанным вино.

Хорошо, что мама с папой святцев
Не читали... без календаря...
Как и все младенцы стала зваться
В сущность мира вправленная я.

* * *

Когда мы вместе, то блаженство нас
Собою заполняет всю планету —
Ни слез на ней, ни подлости сейчас,
Ни смерчей, ни землетрясений нету.

Когда мы вместе, то конец всего
Единственною мыслится потерей —
Так бренное ликует естество,
Что семь небес распахивают двери.

И меч роняет строгий сторож врат,
К нам древо жизни тянется руками...
И нас в себя впускает райский сад,
И Бог не против нас, а с нами снами.

Суглобова Ирина Анатольевна — поэт. Родилась в Тамбове. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького в 1990 г. Работала библиотекарем, учителем, сторожем. Автор книги стихов «И грех мой предо мною есть выну...» (1997). Живет в Москве.

Театр теней

…А напоследок объявить друзьям
Как истину с каемочкой на блюде,
Что я любовь делю не пополам —
И ни с одним в раю меня не будет .

И поелику никому и я
Единственною не была на свете,
Кружит любовь безадресно моя,
И я отцов придумываю детям.

Я сочиняю так же и детей —
Мне удается — я с воображеньем…
В своем театре мнительных теней
Я и сама являюсь лишней тенью.

Такая игра

Подошло в день рождения к гостю дитя,
И сказало, мучительно пальцы сплетя:
А давай у нас будет такая игра —
Будешь папою ты и сестрою сестра,
Будет мамою мама и дочкою я!
Я тебе нарисую гнедого коня…
— Почему ж это все будет зваться игрой?
— Потому что потом ты уедешь домой.

* * *

От черного рая до белого ада
Всего одна ночь Гефсиманского сада.

От тусклого сада осенней столицы
До белого ада дежурной больницы.

Всего одна строчка — молитвы о чаше,
Чтоб силы она не превысила наши.

Всего одна капля на чаше весов…
Еще один стон среди ста голосов.

Все будет дежурным — бинты, утешенья,
Упреки… все будет иметь продолженье…

И будешь ты мерить стерильный свой ад
Шагами неслышными годы подряд

В безжалостной той белоснежной пустыне,
В которой ты странствовать должен отныне.

Из белого ада до черного рая
Дорогу на ощупь себе пролагая.

Владимир Шпаков

Смешанный brak

Роман

10. Главные вопросы

Приглашение на party застает Веру врасплох. Спасибо, но… Никаких «но»! Мы с трудом нашли удобный день, и вы как преподаватель должны быть с нами! Кэтрин сверкает очками, будто сама — учительница, делающая внушение ученице, которая намылилась профилонить утренник. И Вера обещает подумать. Не хочется ей никаких parties, наверняка она будет чувствовать себя неприкаянно и тоскливо. С другой стороны, как откажешься? Отношения со «сборной» и так оставляют желать, о чем ей уже намекало руководство. Поменьше, дескать, формальностей, смелее идите на контакт, цивилизованные люди поймут и оценят!

О формальностях она вспоминает в «Марабу», куда забегает пропустить коктейль для храбрости. На втором коктейле за столик подсаживается Белый — это прозвище одного из завсегдатаев, чьи волосы обесцвечены матушкой-природой; и брови у него блондинистые, и редкие усики, которые он мочит в пиве. Белый уже получил однажды отпор и теперь просто разгоняет скуку в ее компании. А в голове Веры зреет план. Ей (это было оговорено) не возбранялось прийти на мероприятие с бойфрендом, а в отсутствие Коли-Николая какая разница, с кем идти? Опять же притязания итальянского мачо будут пресекаться на корню, да и вообще дама в сопровождении — это не одинокая дама.

— Потусоваться с иностранцами? Можно, тут сегодня нечего ловить… — Белый плотоядно ухмыляется. — А что потом?

— Суп с котом. Тебе мало халявной выпивки?

— Маловато…

— Тогда приударь за кем-нибудь. Хочешь трахнуть мадам из Бельгии?

— Из Бельгии? Можно, конечно… Она ничего?

— Для этих целей годится. Трахни ее. Затрахай до смерти, ты же крутой по этой части?

Следует очередная ухмылка.

— Пока не жаловались…

Второй коктейль утверждает ее в правильности решения. Удастся ли Белому затащить в постель Мелани — еще вопрос, а Вера в присутствии соотечественника будет чувствовать себя увереннее.

Правильность решения подтверждает разочарование на физиономии Марко. Тот вырядился по случаю в черные обтягивающие штаны, в такую же рубашку, повязал красный шейный платок, но должного эффекта не получилось. Марко обиженно поглядывает на Веру, мол, на кого меня променяла, глупая! А Белый, косясь на него, вопрошает на ухо:

— Он не педик случаем?

Окончание. Начало см. «ДН», 2011, № 10

Вера хохочет, не скрывая веселья, и тоже на ухо отвечает:

— Ты угадал!

Они переговариваются вполголоса, подчеркивая собственную независимость, и Вере это приятно. Белый вообще держится уверенно: в ухе серьга, на лице усмешка, в глазах — нахальство. Он берет с уставленного спиртным стола бокал с шампанским, опрокидывает одним махом, после чего озирает сообщество.

— Ты кого имела в виду? Насчет потрахаться. Пухленькую?

— Йес. Нравится?

— Вполне, вполне... Ладно, еще не вечер.

И он опять опрокидывает фужер.

Кэтрин исполняет роль метрдотеля, за официанта — Вальтер, который приносит с кухни большую кастрюлю. Из-под крышки вырывается ароматный парок, и Кэтрин торжественно объявляет:

— Первое блюдо называется: уайт вурст!

— Вайс вурст, — поправляет официант. — Белые сосиски, это баварская кухня. Трудно было их найти, нашел только в немецком ресторане.

— Белый, это твое блюдо! — прыскает Вера. — Они белые, как ты!

Вальтер объясняет нюансы употребления — дескать, белые сосиски не кипятят, они нагреваются в горячей воде, после чего их следует аккуратно очистить от шкурки. Для этого делают продольный надрез, прижимают шкурку ножом, и вилкой откатывают сосиску.

Участники party возятся с ножами и вилками, пыхтя над разделкой бледных баварских колбасок; лишь Белый отдает должное горячительным напиткам.

— Надо идти по повышению градуса, — говорит он со знанием дела и хватает фужер с красным вином. — Фу, кислятина... А водка есть? Ага, имеется! Ну, за вурст или как их там?

Опрокинув рюмку, Белый не утруждает себя возней с приборами, съедает сосиску с кожурой. Вере тоже надоедает многотрудный процесс, и она макает в горчицу неочищенную сосиску. Ей уже понятен желудочно-кишечный принцип единения: будут угощать национальными блюдами. Клей, соединяющий «сборную Европы», это банальная жратва, праздник живота — их главный праздник.

Взяв в руки меню, она видит следующим пунктом пиццу. Официант — Марко, он называет блюдо пицца «Маргарита», каковая заранее нарезана аппетитными секторами. Однако Белый презрительно отворачивается от подноса.

— Не буду есть из рук педрилы... — бормочет он, направляясь к столу с напитками. А к Вере приближается Вальтер, которому очень жаль своего знакомого, разнесчастного Курта — тот, оказывается, покупает рыбу и ягоды у придорожных торговцев, то есть питается абы как. Вера уже не вздрагивает, как раньше, она не видит здесь никакого подвоха. Просто сытый немец жалеет немца полуголодного, нормальная национальная солидарность. Или что-то еще? Ах, еще зависть?! И чему же, Вальтер, вы завидуете?

— Тому, что он бывает в интересных местах, видит страну по-настоящему. А в этой Москве... Мы здесь ничего не видим.

— Так в чем проблема? Ноги в руки — и дранг нах русская глубинка!

— Глубинка — это что?

— Это провинция. Исконно-посконная Русь, которую многие ищут и никак не могут найти. Может, вам повезет?

Вальтер долго на нее смотрит, потом серьезно говорит:

— В глубинке нет нужных архивов. А в Москве они есть.

Вера навеселе, ей хочется дерзить, ерничать, и она несет что-то про Миклухо-Маклая, что бредет от одного селения аборигенов к другому, питается подножным кормом, собирая фольклор (типа сказки-легенды-тосты). Внезапно в подсознании вспыхивает тревога: а чего он сюда прется, Маклай чокнутый? Если его на пеший поход потянуло, то, может, еще потянет взглянуть на сиделицу «мертвого дома»? Поковырять рану в духе садо-мазо? Выяснить «истину», которой нет и быть не может?

Вере очень не нравится это движение немецкого немца в направлении Москвы, и она глушит тревогу очередным дринком.

Скандал вспыхивает внезапно, и поначалу повод непонятен. Патрик отказывается выносить очередную порцию жратвы, пока рыжая распорядительница не даст сатисфакцию. Француз наседает на нее, перейдя на английский и настойчиво произнося слово «Дюнкерк» с обвинительной интонацией. Кэтрин отстреливается короткими фразами, в которых слышится тот же «Дюнкерк», но с интонацией оправдательной. Перепалка вскоре обретает тупиковый характер — никто не хочет сдаваться. В полемику втягиваются остальные, возникает многоязыкий гвалт, и над всем этим царит загадочный «Дюнкерк».

Мелани тоже что-то вякает, ускользнув от Белого (он уже ее обрабатывает).

— О чем базар? — вяло интересуется он.

— Понятия не имею, — отвечает Вера. — Но когда они собачатся, я получаю кайф.

— Я кайф от другого хочу получить. А телка говорит: ты пьяный! Да она еще не видела, когда я по-настоящему бухой!

Суть конфликта между островной и материковой Европой проясняет Вальтер. Это давняя (и смертельная) обида французов, которых англичане бросили во время Второй мировой войны под Дюнкерком. Своих солдат посадили на корабли и эвакуировали, а многотысячный французский корпус оставили на растерзание фашистским войскам. То есть союзники повели себя как предатели, и Патрик в конце концов произносит это слово по-русски.

— Почему предатели?! — обороняется раскрасневшаяся Кэтрин. — Мы просто не успели!

— Вы предатели!

Лицо Вальтера кривит гримаса:

— Странно. Французский корпус уничтожили наши войска, а они между собой ругаются...

— Никто не забыт, ничто не забыто... — бормочет Вера.

— Что?

— Ничего. Они бы еще Жанну д'Арк вспомнили.

— Жанна д'Арк жила давно. А Дюнкерк был совсем недавно. У Патрика там дедушка погиб.

Отставленный кавалер между тем предпринимает рейд по столу, опрокидывая фужер за фужером. Он что-то роняет, это «что-то» со звоном разлетается на осколки, но Белый не просит прощения. Он закусывает недоеденной пиццей (из чужой тарелки), запивает пивом (из горлышка), после чего ищет глазами «телку».

— А ну-ка, иди сюда! Не хочешь?! Тогда сам к тебе подойду! Эй, стоять, бельгийская потаскуха! Смир-рна! А теперь в койку шаго-ом арш!

Мелани грубо хватают за руку, та с испугом вырывается, и гвалт постепенно стихает.

— Да ты чего, мандавошка?! Не хочешь?! А-а, ты с нашими не хочешь, да?! С кем же ты трахаешься? С этим уродом? — Белый указывает на Патрика. — Или с этим? — Палец утыкают в Вальтера. — А может, ты с пидором развлекаешься?! То есть он не пидор, а этот... бисексуал?!

Разногласия тут же забываются, потому что на горизонте общий враг. Когда Вера пытается урезонить скандалиста, ее посылают по известному адресу. После чего Белый хлопает рюмку, достает из кастрюли недоеденную сосиску и прикладывает ее к ширинке. Дескать, видели? Так вот клал я на вас это самое!

— Чего вылупились?! Я же сказал: х.. на вас клал! Причем, не такую сикуху, а большой и длинный! Если хотите, могу показать какой!

Когда он расстегивает молнию на джинсах, Вера понимает: это катастрофа! Она решительно берет Белого за руку, да только сила солому ломит — ее отбрасывают, как щенка. И что делать?! Постыдная, мерзкая ситуация, каковую не повернуть в другое русло, не обратить в шутку, потому что козел с серьгой абсолютно неуправляем!

Белый ищет глазами Мелани, но та уже ретировалась.

— Сбежала, мандавошка... Ну, и х... с ней!

Пока он, пошатываясь, добирается до двери, все молчат. Повисшая тишина убийственна. Пусть Вера шапочно знакома с этим уродом, но в их-то глазах они из одной песочницы! И вот уже лицо заливает краска; и руки дрожат, и, как говорится, мальчики кровавые в глазах. На негнущихся ногах подойдя к столу, из бутылки с надписью «Jonny Walker» она наполняет фужер и залпом его выпивает. Как вода! Еще порция, глубокая затяжка сигаретой, и на этом события кончаются (хотя до финала было еще далеко).

Наутро party вспоминается бессвязными кусками. Что она там несла? Кажется, что-то о платке, который вынуждена подавать Фриде, — а это, думаете, легко?! Ничего подобного, только вы, тепличные растения, о такой страшной обязанности представления не имеете! Это мы, растущие, как саксаулы в пустыне, должны подавать платки, жить в дерьме, жрать дерьмо, чтобы вы потом описали эту жизнь (и эту жратву) в своих многотомных и многоумных исследованиях! Дескать, по каким же причинам дохнут местные жители? А-а, поняли причины! Дайте за это понимание грант! А еще местечко в университете дайте — в общем, гоните обеспеченную жизнь, я заслужил! Кажется, она и урода Белого пыталась сделать жертвой обстоятельств и вроде бы даже нашла аргументы. Или не нашла?

Благодатная алкогольная амнезия на поверку оказывается коварной «частичной утратой», с каковой рука об руку шагает «временное просветление». Бог с ним, с Белым, она ему еще отомстит, главный месседж касался другого... Чего именно?

Лежащая в полудреме Вера вдруг подхватывается с кровати. Дура, зачем она завела об этом речь? Точно, точно: она говорила о маленьком человечке, который мог стать большим (очень большим!) и сделать что-то выдающееся, невероятное, что повернуло бы жизнь в обеих частях Европы, в Азии, даже в Африке, если на то пошло. Америку бы не повернуло, эти гордецы шагают своей дорогой, говоря остальным: ребята, пристраивайтесь в хвост! Но мы-то с вами Старый Свет, нам американосы не указ! Нам было указом то, что проступало красноватыми буквами на теле человечка, когда его бил озноб и температура подскакивала до сорока. А все для того, чтобы вчитались, прониклись, не оставались неучами дремучими и тупицами безнадежными! Но разве мы вчитывались? Мы только в телевизор его совали, бедненького, научному сообществу демонстрировали, а те, блин, всегда держат свои скальпели наточенными! Всегда, суки, готовы алгеброй гармонию поверить, и это самое... разъять, как труп! Вот и разъяли, не сохранили человечка, а теперь плачем! Помните, я объясняла суть пословицы «что имеем, не храним, потерявши — плачем»?

О, позорище! Вера в бессилии откидывается на мокрую подушку, чувствуя сухость во рту и учащенное сердцебиение. «Вот твой Дюнкерк... — думает она. — Тебя оставили на растерзание твоему стыду, и некому тебя с территории этих мучений эвакуировать...».

Три дня, до ближайшего занятия, Вера не может находиться дома. И в «Марабу» не может, так что остается бесцельно болтаться по городу.

Куда податься, когда на душе кошки скребут? Кому поплакаться в жилетку? Коля-Николай, небось, на чемоданах сидит, мечтает о бездонных швейцарских небесах, а тогда... Ноги сами выносят ее наверх на одной из станций метро и несут к неприметному скверу, над которым сияет золотом луковка с крестом. Она была однажды в этой церквушке, ставила свечку за помин души мальчика, но с той поры сюда не показывалась.

Хоть день и будничный, а церквушка открыта. Итак, что полагается делать? Кажется, следует перекреститься на висящую над входом икону, поклониться земным поклоном и... Правильно: повязать платок! Она же платка не взяла (импровизация потому что), значит, надо стаскивать с шеи шарфик, чтобы соорудить покрывало для глупой головы.

Внутри полумрак, в углу торгуют свечками, перед иконостасом застыло несколько прихожан. Застывшие крестятся, что-то шепча про себя, и Вера, встав рядом, тоже крестится. Вот только шептать не получается. «Отче наш, иже еси не небесех...» Что дальше? Кажется, сосед справа, высокий седобородый мужчина, шепчет то же самое, только подслушивать неудобно. «Богородице дево, радуйся...» —

и опять провал в памяти. Ну, не помнит она молитв! И Символ веры не помнит — пыталась когда-то зазубрить, да столь мудреным показался церковно-славянский, что легче было поэму на инглише выучить.

А кто она в этом случае? Еще недавно она с пьяным пафосом обличала зажравшихся европейцев, молотила кулаками в грудь, мол, я другая! Но тогда — какая? Вот банальный ритуал, не бином, так сказать, Ньютона, так она же ни в зуб ногой. Ритуал не более понятен, нежели камлание якутского шамана, а значит, покойная мамочка зря рисковала карьерой, тайком крестя сестер. Директриса ее школы на дух не переносила «опиум для народа», так что пришлось втайне от коллег и даже родни окрестить Любу, затем Веру...

Воспоминание о покойнице вызывает щипание в носу. Святые на иконостасе вдруг расплываются, по щеке ползет что-то теплое и становится неожиданно хорошо. Нет, она не чудовище, она — человек. Только кто поможет этому человеку? Ну, помогите же! Святые вновь обретают резкость, но смотрят безучастно, то есть помогать не спешат. Вера пытается вспомнить, «ху из ху». Вот этот, кажется, Иоанн Креститель, с другой стороны Богородица, а вон тот вроде бы Николай-угодник (он же Чудотворец). Вера скашивает взгляд на соседа справа и обнаруживает сходство с Чудотворцем, даже возникает желание именно ему поплакаться в жилетку. Только поймет ли?

Наложив очередной крест, седобородый направляется к лотку со свечками, и Вера за ним. Простые действия — купить свечи, зажечь, поставить — успокаивают, особенно когда исполняются под копирку. К распятию, кажется, ставят за упокой, а Богородице можно за здравие... Из левой алтарной двери появляется священник, прихожане устремляются к нему, а Вера вновь озирает тех, кто призван утешать и вселять надежду. Что ж не вселяете? Слабо вам, видать, иссякли силы, растратились на сирых и убогих...

Почему-то кажется, что Норман тоже мог здесь висеть: он ведь агнец, по сути, люди когда-нибудь это поймут. И хотя Вера понимает, что занимается богохульством, остановиться не может. Если с безучастными святыми не вытанцовывается, почему не оживить в памяти явленное ей чудо? Иконы лишь нарисованы (да и нарисованы-то не очень), а тот был живой, теплый, его можно было взять на руки, когда был маленький, или за руку, когда подрос, и говорить, говорить... Как вот эти со священником говорят, пытаясь выяснить главные вопросы.

Прихожане стоят смиренно, дожидаясь своей очереди. Вот подходит черед «Николая», он склоняется к уху батюшки, а спустя минут пять остается одна Вера.

— Вы хотели о чем-то спросить?

Вера вздрагивает.

— Я?

— Ну да, вы.

— А почему вы решили, что я хочу о чем-то спросить?

Священник пожимает плечами, сопровождая жест полуулыбкой:

— Глаза у вас такие... Вопрошающие.

Вера молчит, затем надевает очки.

— Нормальные у меня глаза, — говорит она и тут же уходит.

Пустое дело, думает она, тут или Норман — или церковь, которая к сторонним чудесам, как известно, со скепсисом. Она сразу пробует их на зуб, как раньше пробовали золотые монеты: не фальшивые ли? Не иллюзионист ли очередной «чудотворец», нет ли у него чего-нибудь в рукаве или под вторым дном ящика? Но и убедившись в подлинности феномена, клир чешет бороды и выносит вердикт: мол, человекобожие! Нельзя, дескать, поклоняться, грешно; а того не знают, что сам феномен поклонения вовсе не требовал. Если народ туп и глуп, разве мальчик в этом виноват? Если мамаша идиотка, разве Норману надо предъявлять претензии? Ему самому до смерти надоели фокусы, которые заставляли делать дяди и тети, хлопавшие в ладоши и в итоге прохлопавшие то, что возносили.

Далее наваливается жизнь, придавливает к земле, будто на спину опустили могильную плиту. Среди могильных плит, собственно, и придавливает, когда на клад-

бище убирается на могилке матушки. Заходит — а там куча травы набросана! А еще мусор какой-то, бутылки пластиковые, высохшие цветы...

Вера озирает стоящие рядом ограды, не понимая: какая сволочь устроила здесь помойку? В ярости она сгребает мусор, тащит это дерьмо в конец аллеи, а мусорный бак — доверху! Приходится бросить рядом. Черт бы побрал наши кладбища, и она — дура, потому что не согласилась захоронить мать в колумбарии, а привезла сюда, едва не в Московскую область. Лучше урну в стену замуровать, и никаких тебе оград, травы и прочей муры — умерла так умерла!

В злосчастном подъезде опять ЧП, потому что консьержка уволилась после ограбления, за визитерами никто не следил и на тебе — обокрали квартиру! Со взломом, цинично, средь бела дня! Опять милиция ищет свидетелей и, естественно, не находит. И тут — эврика! — хватают дворников-таджиков по чьему-то навету — дескать, чурки виноваты! Сами они не взламывали дверь, но наводчиками были, ага! Двор гудит, проклиная гастарбайтеров, мол, житья от них нет, а территория между тем медленно, но верно приходит в упадок. Вокруг мусорных баков кучи бумажек, объедков, пластиковых пакетов; и по двору ветер гоняет мусор; и уже кажется: грязь — везде.

Этой стране, думает Вера, подошло бы название Грязь. Нет, лучше Большая Грязь. Или Самая Непролазная Грязь (СНГ). Здесь ничего не меняется к лучшему и не может меняться. И всяким шагающим в Москву немцам никогда до нее не дошагать, немец обязательно застрянет в грязи. Кстати, с чего она взяла, что тот шагает? Он давно уже повернул обратно. Зажал нос, выпил таблетку успокоительного и, купив билет на скоростной экспресс, катит на родину, поплевывая в окошко. «Дурак, — говорит он себе, — ты должен учиться у истории! Даже моторизованные части вермахта застряли в этой непролазной грязи, а ты куда прешься, дебил?».

Наконец дворников выпускают, двор приводят в порядок, но осадок остается. Вера чувствует: ей нужно все это *оправдать*. И поведение на party нужно оправдать — хотя бы для себя, чтобы не было так тошно. Она знает, *кто* может это оправдать, но звонить не решается, тут ситуация: и хочется, и колется...

11. Основной инстинкт

Переход границы с Россией получился символическим, мне даже отказались ставить штамп о ее пересечении. На пограничном пункте, представлявшем собой два вагончика рядом с дорогой, отметки ставили только водителям автомобилей. А таким, как ты, сказали, отметки не требуются.

— Только автомобили, ферштейн? — Пограничник пытался проявить знание немецкого. — А тебе нихт штамп!

— Но у меня могут быть проблемы на обратном пути...

Пограничник переглянулся с товарищем.

— Слушай, мужик... Иди, если дают зеленый.

Процедура подчеркивала мое ничтожество, мою микроскопическую величину, несоизмеримую с простиравшейся передо мной землей. Я не одну неделю шагаю вдоль трасс и грунтовых дорог, пересекаю леса и поля, а земля, кажется, только начинается. Такая земля может рождать два желания: завоевать ее или затеряться в ней навсегда. Наступить на нее сапогом (очень большого размера!) или раствориться в убегающей к горизонту дали, сделаться дорожной пылью, лесным кустом, камнем на дне реки. Что выбрать? Первое желание, похоже, неосуществимо. А чтобы об этом помнили, вдоль дорог установлено множество памятников, напоминающих о войне. Один массивнее другого, эти обелиски — солдаты с автоматами, танки на постаментах — давили меня, превращали в карлика, в комара, севшего на щеку и безжалостно прихлопнутого. Тяжеловесная многотонная память, казалось, вещала глухим, исходящим из-под земли голосом: «Осторожно! Ахтунг! Трижды подумай, легкомысленный нарушитель границы! Может, повернешь назад?».

Почему я не повернул назад? Потому что где-то там, в неразличимой дали, я надеюсь узнать тайну рождения и гибели одного странного мальчика, без которого

мне стало неинтересно жить. Точнее, узнать вторую половину тайны, первая половина, почти разгаданная, осталась за спиной, в доме с булочной, за окном, где кусок разбитого стекла заменяет фанера. Очередной «покоритель» за плотно задернутыми шторами, возможно, думает про абсурдность своего наскока, он ведь не покорил землю, а именно затерялся, пропал. Или он ни о чем не думает, а просто лежит на кровати, отключив органы чувств? Тогда мне нужно стать его органами чувств, глазами и ушами, ногами и руками. Только так я смогу получить новый опыт, что-то понять, осознать; и тогда по возвращении мы все выясним, расставим по полочкам и брат перестанет быть живым мертвецом.

Этот вопрос — не повернул ли я назад? — звучит в послании редактора, которое достигает меня во время очередного «сеанса связи». Получив отрицательный ответ, тот интересуется: могу ли я чем-то порадовать читателей «Городской газеты»? Я же отвечаю, что радовать пока нечем: страна настолько уязвима для критики, что статьи бессмысленны.

— Вот именно! — пишет редактор. — Бессмысленно критиковать то, что невозможно исправить!

А я отвечаю... Увы, ничего не отвечаю, поскольку разрядился аккумулятор, а ближайшая розетка находится очень далеко. Поэтому диалог продолжается в виртуальном варианте, к чему я уже привык.

«Критика — не моя цель, — говорю (пишу?) я. — Если на то пошло, наша цивилизация тоже не безупречна, в последнее время я живу с постоянным ощущением обмана».

«Какой обман? Ты журналист, у нас свобода слова, значит, любой обман может быть раскрыт!»

«Я не о том обмане. Вокруг меня множество людей, они строят планы, делают карьеру, с надеждой смотрят в будущее, верят в прогресс, как пан Анджей... Они думают: у них под ногами находится огромная и толстая базальтовая плита. Мне же кажется, что мы на плавучем острове, какие образуются в Саргассовом море. Нагрузка огромная, движение по острову интенсивное, а основание шаткое и неустойчивое, чуть пережмешь — и дружно идем ко дну».

«Красиво сказано, но откуда ты это взял?».

«Из опыта прошлого, наверное. Все-таки я — представитель народа, прошедшего через ад и едва не утащившего за собой в преисподнюю другие народы. Я чувствую запах серы, но говорить об этом смешно. Гораздо легче, как и остальные, положить свой кирпич в основание новой пирамиды, этой «мега-мечты» о всеобщем благоденствии. Двуличный диссидент, я писал в статьях одно, а думал другое; только здесь я становлюсь собой. Эта страна, в конце концов, тоже прошла через ад, а еще здесь появился Норман...»

«Какой Норман? — восклицает антагонист. — Где он? Лежит твой Норман в земле и никогда не воскреснет! Эта страна отторгла его, погубила, и тебя она погубит! Это трясина, которая засасывает все подряд! Не понимаю, почему ты все-таки не повернул обратно».

В этом месте повисает пауза.

«Мне кажется, я здесь не чужой. Я будто слышу иногда подсказки...».

«Вот как? И какие же ты слышишь подсказки? Быть может, та каска с черепом — подсказка?».

Зловредный фантом напоминает о встрече на трассе, когда меня нагнал человек на велосипеде. Узнав о моем германском происхождении, он засмеялся и сказал, что немцы всегда выбирали Смоленскую дорогу. Велосипедиста звали Егор, он пригласил в свой деревенский дом, где жена угостила меня обедом. В апогее застолья хозяин достал из кладовой каску бойца вермахта, пробитую в двух местах: аккуратные круглые дырки зияли с левой стороны. Когда Егор извлек из-под стола череп и вставил в каску, я оторопел.

— Видишь, там тоже дырки, в черепе. И они полностью совпадают с дырками на каске!

Жена замахнулась на него полотенцем, начала ругаться, а Егор смеялся, говоря, что череп с каской когда-то раскопал в лесу его сын.

Теперь уже взрослому сыну это добро ни к чему, Егору тоже, так что он с легким сердцем презентует трофей немецкому путешественнику.

— Дивизия «Мертвая голова»! — веселился Егор. — В натуре — мертвая! А почему? Потому что сталь говно! Ваши каски из ППШ прошивались на раз!

Комментарий виртуального редактора полон сарказма.

«И как ты это расцениваешь? Это же издевательство над исторической трагедией! Мы относимся к ней очень серьезно, мы прошли процедуру денацификации, раскаялись, а они?! Они шутят над такими вещами, над которыми нельзя смеяться!»

«Это наше мнение. А они считают, что смеяться можно над всем. Иногда им ничего другого не остается, только смеяться».

«Или хитрить. Помнишь еще одну «подсказку»? Как пожилая крестьянка заставила тебя копать картошку?».

Это было на следующий день после перехода границы. Та бабушка приняла меня за демобилизованного солдата (что было не впервые) и попросила помочь ей выкопать картошку. Я ответил, что больше люблю есть картошку, а не копать ее.

— Чтобы ее есть, надо вначале выкопать. Помыть, почистить, сварить... Сам откуда будешь?

И опять (после моего признания) была история из страшного времени, когда вокруг гремели взрывы, вермахт откатывался назад, накрываемый волной советского наступления, но картошки человеческие конфликты не касались. В далеком 1943 году был на удивление богатый урожай, так что семейство этой крестьянки, тогда совсем юной, засыпало картошкой самодельный бункер, выкопанный в огороде. К несчастью, это увидели эсэсовцы. Они зашли в огород, насыпали в бункер отраву, в итоге семья даже не притронулась к картошке. Притронулся кто-то из голодающих соплеменников, чьи трупы потом находили в разных концах деревни...

«И что из того? — сопротивляется фантом. — Ты лично — какое отношение имеешь к СС?! Твой дедушка воевал на Западном фронте и при первой возможности сдался американцам! А бабушка была антифашисткой, она погибла в Дахау! У тебя нет комплекса вины перед этой страной, ты прекрасно об этом знаешь! Но почему-то ты копал эту картошку, даже вымыл ее, будто ты гастарбайтер, а не гражданин цивилизованной Европы. Твое желание быть здесь своим смешно и нелепо, этот мир тебя отторгает, как ни маскируйся. Что? Тебя потом накормили блюдом под названием драники? Но это просто абсурд! Право первородства нельзя продавать ни за чечевичную похлебку, ни за драники!».

«Право первородства? Это слишком напыщенно, так мы можем далеко зайти».

«Ладно, они хотя были вкусные, эти драники?»

«Очень вкусные, особенно со сметаной».

«О, майн Гот...»

Захлебнувшись слюной (если фантомы способны захлебываться слюной), оппонент растворяется в сумерках, я же продолжаю путешествие, чтобы вскоре оказаться в очередной маленькой гостинице.

Номер встречает абсурдным объявлением, прикрепленным кнопками к стене: «Душ — 50 руб. Презерватив — 100 руб. Разбитый графин — 500 руб. (штраф)». В душ мне очень хочется, презерватив не требуется, разбивать графин я вроде не намерен. Значит, объявление предназначено кому-то другому, остро нуждающемуся в двух первых вещах и бьющему графины. Кто этот сексуально озабоченный хулиган? Ответ я получаю внизу, в маленьком опять же кафе, где за стойкой скучает в одиночестве барменша.

— Это для дальнобойщиков повешено. Мало того, что шлюх подорожных с собой тащат, так еще графины бьют! А где я наберу столько графинов? Значит, надо штрафовать!

Дальнобойщиками, насколько я знал, называли повелителей могучих железных животных, что проносятся по дороге, поднимая облачка пыли и быстро исчезая вдали. Животные были явными фаворитами трассы, они главенствовали среди мелюзги под названием «мерседес» или «тойота», презирали их и далеко не всегда позволяли себя обойти. Да, «мерседес» скоростной, он сродни льву или гепарду; но тогда машина дальнобойщика — это слон. И если несколько слонов встают друг за

другом посредине полосы, то обогнать их без долговременного выезда на встречную полосу нелегко. Я не раз наблюдал картину, когда беспомощный лимузин, раздраженно сигналя, плетется за колонной большегрузных трейлеров, и мои симпатии, как ни странно, были на стороне дальнобойщиков.

Впрочем, я быстро об этом забываю, потому что вижу на полке-витрине… Мышь! Крошечный серый зверек по-хозяйски перемещается среди бутылок, пачек с печеньем, шоколадок, изучая потенциальное угощение. Иногда мышь встает на задние лапки, опирает передние на пачку, обнюхивает ее — в общем, она здесь главная (дальнобойщица?).

— Опять она? — Барменша смеется. Она стоит спиной к полке, но, кажется, умеет видеть затылком. — Я по вашему лицу поняла, что там бегает наша мыша.

— Мое лицо такое говорящее? — бормочу я.

— Да вас просто перекосило! А почему? Нормальная мыша, мы ее Нюркой зовем и даже подкармливаем.

— Я думал, она сама тут находит еду…

— Да где ж она найдет?! На полке муляжи одни, вся еда у меня в холодильнике или в шкафу под замком. Поэтому можете смело заказывать что хотите. Что хотите?

Поколебавшись, заказываю кофе и любимый горький шоколад, строго следя за тем, чтобы упаковку извлекли из шкафа.

— За душ вам платить? — спрашиваю, перекусив.

— Мне. Только там…

— Тоже мыши?

— Нет, — улыбается барменша, — там мышей нет. Да вы сами все увидите.

Поднявшись на второй этаж, на двери в коридоре вижу бумажку с надписью «уш». Заглавная буква отклеилась? Если так, то отклеилась кстати, надпись вполне соответствует помещению, где кафель наполовину отлетел, а душевая лейка прикреплена к толстому черному шлангу. «Душ» — это для людей; «уш», надо полагать, — для помывки автомобилей.

И все же я упорно втискиваюсь в эту жизнь, радуясь любой поддержке, полученной по ходу путешествия. Меня поддерживали явно и неявно, ободряли и даже делали своеобразные комплименты.

— Ты не похож на немца, — сказал на прощание Сэм. — Ты кладешь с прибором на систему, и я тебя за это уважаю. Хочешь, доставлю тебя в Москву на тачке? Ах, ты хочешь пешком… Тогда звони, если что. Сэм в момент примчит на помощь.

— Ты действительно приедешь?

— Два пальца об асфальт. Да ты сам видел, как я гоняю по автострадам — чего, блин, спрашиваешь? Короче, звони.

Тому, кто не оставался ночью в одиночестве в незнакомой стране, под открытым небом, не понять, *что* значит такая поддержка. Похожее состояние пережил мой учитель русского языка, тоже пришедший сюда покорять землю, а в итоге затерявшийся в бескрайних лесах. Ему было несравнимо хуже; я думаю, он тоже кричал по ночам, как ликвидатор Гога, а может, еще ужаснее. Он видел перед собой автоматные стволы, слышал лай овчарок, натасканных на людей, а еще он постоянно мерз. Было такое чувство, что не только руки и ноги, а все внутренние органы деревенеют и прекращают движение. Застывает печень, леденеет кишечник, замирает сердце… У старого солдата были неестественно красные кисти рук с двумя отсутствующими пальцами, он говорил: это последствия обморожения. Если бы не варежки, подаренные заключенному одной доброй женщиной, он вообще лишился бы кистей, как их лишился его товарищ, тоже работавший на лесоповале. Солдат привез с собой эти варежки, хранил их много лет, но, к сожалению, не уберег от банальной моли…

Плескаясь под прохладным душем и стараясь не порезать ступни о расколотый кафель, я размышляю о женщинах. Именно они главный магнит, альфа и омега, притягивающая завоевателей и путешественников. «Шерше ля фам», — сказал бы Франц, любивший щегольнуть языком папы Жан-Жака. Да, он жестоко просчитался, впутался в ужасную историю, но даже такие последствия не отменяют основного инстинкта, приказывающего мужчине: не смотри на соплеменниц, иди за горизонт и возьми наложницу из другого племени! Она лучше тебя утешит, и потомство от нее

будет лучше, жизнеспособнее. Эй, воины! Собираемся — и на Восток! Что вы говорите? Надо извлекать уроки? Учиться на чужих ошибках? Это смешно, инстинкт не признает уроков, он плюет на ошибки, с легкостью перебарывая опасливый рассудок.

Я смываю дорожную грязь, пот, копоть трассы и начинаю чувствовать себя мужчиной-самцом. Еще в Минске я почувствовал этот зов плоти, но тогда порхающие девушки в мини-юбках так и не приблизились к страннику, точнее, странник не решился к ним приблизиться. Здесь это сделать легче, достаточно еще раз зайти в кафе, где за стойкой стоит дрессировщица мышей. Она работает, но кому, кроме меня, нужна ее работа? Маленькая гостиница пуста, барменша тут и администратор, и кастелянша; в кафе тоже ни одного клиента, а тогда мы можем познакомиться ближе. У нее светлые волосы, забранные в пучок, румяные щечки и очень живые глаза. Какие глаза? Я не запомнил, главное: «она ничего». По-немецки это звучит абсурдно, но в русском, как разъяснял брат, выражение имеет положительный оттенок. «Она ничего» означает: девушка симпатичная, приятная, достойная знакомства; а что еще требуется изможденному целибатом путешественнику? Я надеваю запасные брюки, не столь истертые, выстиранную футболку, причесываю волосы и, глядя в треснувшее зеркало, тоже нахожу себя «ничего».

Улыбка при моем вторичном появлении в кафе обнадеживает. Я замечаю, что барменша подкрасила губы и распустила волосы, собранные ранее в пучок. Что я буду пить? Конечно же пиво. Немцы пьют только пиво (про опыт с водкой я помалкиваю), потому что не любят пьянеть.

— И правильно! — говорит барменша. — Наши только водку пьют, ну и... сами понимаете. Меня, кстати, зовут Катей.

— Меня — Курт. А вашу домашнюю мышь зовут...

— Нюрка! — Катя смеется. — Но она сегодня насытилась, больше сюда не покажется.

Предложение выпить пива за мой счет Катя принимает не без колебания, похоже, искусственного. Девушка должна не бросаться жадно на первого встречного, а вести себя пристойно, что повышает ее акции в глазах мужчин. Есть женщины особого сорта, но они, как правило, стоят в витринах на Реепер-бан или подпирают стенку на пляс Пигаль. Катя — не такая, а... какая? Во-первых, не жадная, потому что приносит горячие сосиски, говоря: закуска — за мой счет. Во-вторых, информированная, потому что знает: немцы пьют пиво именно с сосисками. В-третьих, критически настроена к соотечественникам, которые под пиво обязательно вытащат леща, так что стол неделю потом воняет!

— Вытащат леща — это значит?..

— Рыбу соленую. Воблу.

— Я не понял: воблу или леща?

— Да какая разница? Вонь и от того, и от другого!

Гостиница расположена на окраине крошечного городка, такие места называют «глушь». Но даже в этой «глуши» веют европейские ветры, иногда подхватывая местных обитательниц, как одну маленькую девочку из известной американской сказки, и перенося их в иные миры. Одну из подруг Кати ветер унес в Голландию. Ветер имел обличье веселого бородатого специалиста по настройке оборудования для молокозавода. Голландский специалист приехал сюда в одиночку, а уехал уже вдвоем с очаровательной обитательницей «глуши». У них родился мальчик, названный Хансом, вот, кстати, его фотография. Катя то ли готовилась заранее, то ли русские провинциалки постоянно носят с собой фотографии подруг с новорожденными полукровками.

Фото пробуждает внезапную боль, а может, ностальгию по времени, когда Франц и Люба были гораздо моложе и Норман выглядел таким же маленьким пузанчиком. У Франца была бездна его фотографий, брат сделался фотоманьяком, запечатлевая каждый шаг малыша. Где теперь эти фото? Быть может, Франц сейчас перебирает поблекшие от времени изображения? Или он оклеил ими стены и, сидя без движения в кресле, смотрит на них? Меня тоже подхватывает ветер — ветер воспоминаний, так что Кате приходится теребить меня за плечо.

— Курт! Вы слышите меня?

— Что?

— Я говорю: вот ее муж, с селедкой! Они селедку съедают целиком, за один присест, представляете? Подруга пишет: традиция у них такая, у голландцев.

На фото веселый бородач запрокинув голову, готовится проглотить приличного размера рыбу. Я разлепляю губы в подобии улыбки.

— Это вобла? Или лещ?

— Да нет же, это селедка!

— Да нет... Ваш язык — единственный в мире, где «да» и «нет» произносят вместе.

Катя взирает на меня с недоумением.

— Серьезно? Я, если честно, над этим не задумывалась. — Она прячет фотографии, затем говорит с едва заметным вздохом: — Смешанные браки — самые счастливые.

— Вы так думаете?

— Уверена. Наши — они ведь почти все алкаши! Уж лучше турка подцепить, как моя сестра.

— У вас тоже живут турки?

— Здесь не живут, в Смоленске живут. Они там строят что-то, ну, моя Зойка с одним и сошлась. А что делать? Она же со своим год всего прожила, а потом выгнала за пьянку. А этот мусульманин по-русски почти не говорит, зато не пьет и, кажется, любит ее.

То, что Катя не особо скрывает свои потаенные мечты, мне почему-то нравится. Вряд ли я смогу сыграть роль сказочного ветра-переносчика, но хотя бы одну незабываемую ночь подарить этой провинциалке могу. Она гораздо лучше, чем «ничего». Она замечательная, на шее у нее бьется синяя жилка, а от волос, когда она перегибается через стол, пахнет какими-то лесными травами. О, инстинкт! Ты пробуждаешь желание поцеловать Катю, она же имеет желание поговорить о несбыточной жизни в странах, где никогда не была.

Я испытываю легкую досаду. Зачем тебе, Катя, демонстрировать знание чужой жизни? Я знаю, вы не любите говорить о своей жизни, разве что старики жалуются, те же, кто моложе, мыслями и мечтами устремлены в иностранный рай. А это совсем не рай. Просто жизнь более комфортная, обустроенная, но и более трезвая, жесткая, иногда безжалостная. И смешанные браки далеко не всегда складываются счастливо. Даже гениальные дети не спасают такой союз, хотя я, конечно, не буду рассказывать об ужасе, который пережил брат. Разрушать чужие иллюзии — жестоко, а иногда и опасно.

Внутренний монолог прерывает звук подъехавшей машины. Взгляд за окно, вскрик: «Хозяйка приехала!», и вот уже Катя опять за стойкой, спешно надевает передник. Хозяйка — плотная дама с короткой шеей, можно сказать, шеи у нее вообще нет. На ней обтягивающие брюки со стразами, что немыслимо вдвойне: одежда в обтяжку при такой фигуре — нонсенс, а стразы явно не соответствуют возрасту.

Хозяйка беседует вполголоса с Катей, затем приближается ко мне.

— У нас немецкий гость? Редко у нас появляются гости из Европы.

Она представляется Зинаидой Викторовной, владелицей этого отеля. Она говорит именно «отеля», крутя на пальце ключи от машины. Полминуты раздумья — и вот уже владелица сидит за моим столиком, небрежно отдав приказание подать ей холодную колу. Ей тоже приходилось бывать в Германии, она покупала машину в Гамбурге. Вот эту машину, BMW, указывает она в окно. Потом ее погрузили на паром и переправили в Калининград, который по-немецки называется...

— Кенигсберг, — уточняю я.

— Ага, Кенигсберг. Потом оттуда через две границы гнала машину сюда. Сама пригнала, никого не нанимала.

Зинаида Викторовна делает паузу, чтобы я оценил масштаб мероприятия по перегонке очередного «немецкого мотора» в Восточную Европу. Оценить масштаб мешает Катя, она ставит стакан со стуком, выказывая раздражение. Или ревность? Кажется, мои ставки растут: в этой «глуши», в ста километрах от Смоленска коти-

руется даже одинокий странник с немецким паспортом. Зачем такой альянс владелице «отеля»? Ну, как же: можно было бы поставлять BMW целыми партиями, а не перегонять поштучно. Тогда, быть может, и «отель» можно будет дотянуть до трех звезд, заменить кафель в душе, избавиться от мелких грызунов...

— Ладно, потехе час, как говорится. Я чего, вообще, заехала? На заправке видела трейлеры со знакомыми номерами. Эти обычно у нас останавливаются, так что готовься. Белье принеси, номера почисти, ну и все остальное.

— А почему Вальку не вызываете? — слышится недовольная реплика. — Это она администратор, а я в кафе нанималась!

Следует извиняющая улыбка владелицы, после чего у стойки приглушенно и жестко беседуют. Катя в раздражении снимает передник, уходит, и я мысленно с ней прощаюсь. Извини, Катя, новый русский капитализм не позволяет нам соединиться, и это, увы, жизнь. Хозяйка немецкого отеля, уверяю тебя, повела бы себя так же. И хозяйка турецкого отеля повела бы себя так же, потому что любовь проходит, и ненависть гаснет, а деньги остаются. Пять лет назад я наблюдал в Анталии, как хозяйка турецкого отеля заставляла такую же молоденькую барменшу танцевать перед нами, немецкими отдыхающими, танец живота. Танцовщица пользовалась успехом, и хозяйка вновь и вновь выталкивала ее в круг, пока девушка не упала от изнеможения в обморок.

Вскоре за окном раздается гул мощных моторов, и на стоянку возле кафе вкатывается несколько трейлеров. С появлением больших и шумных людей, одетых в клетчатые рубашки, как герои вестернов, события моментально убыстряются. Столы сдвигаются, на них появляется водка, ее начинают пить, кричат, чтобы скорей подавали закуску, не дожидаются, еще пьют, Катя приносит салаты и нарезанную колбасу, убегает, чтобы подготовить номера, ковбои закусывают, наливают, затем придвигают к столам дополнительные стулья для приехавших вместе с ними молодых женщин. Женщины задержались для легкого макияжа перед зеркалом в коридоре — отсюда видно, как они заканчивают подрисовывать брови, проводят помадой по губам и, улыбаясь, присоединяются к компании.

— Эй, чего скучаешь? Давай к нам, места хватит!

— Это вы мне? — спрашиваю с удивлением.

— А кому еще? Мы бы и Катьку пригласили, только ей Зинаида запрещает с нами сидеть. Верно, Кать? Замордовала хозяйка, не дает расслабиться?

С осуждением взирая на компанию, Катя всем своим видом подчеркивает, что между ней и этими вульгарными женщинами — моральная пропасть. Я не раз встречал их, голосующих на обочине трасс и явно отличных от других женщин, бредущих с тележками или сумками в руках. Мини-юбки, черные колготки, краска на лицах, распущенные волосы — это знаки, символы принадлежности к особой касте жриц любви. При этом самая невзрачная и дурно одетая женщина с тележкой неодобрительно поглядывала на дорогие украшения и одежду. Иногда жриц подхватывала легковая машина, но чаще тормозили вот такие трейлеры, и женщины высоко задирали ноги, чтобы забраться на подножку и исчезнуть внутри кабины.

— Ну, чего там рожаешь? — кричит главный ковбой с красной бейсболкой на голове. — Иди, тут место есть рядом с Галкой! Эй, подвинь задницу, пусть парень сядет!

Мой переход за соседний стол оказывается гораздо серьезнее, чем переход российской границы. Прости меня, Катя, пусть тебя успокоит хотя бы то, что водку я пить не буду. Ковбои наливают щедро, от широкой русской души, но я отодвигаю стакан — только пиво.

— Какое, на фиг, пиво?! — Возмущается рыжая красотка, названная Галкой. — Мужик ты или не мужик?!

Но я непреклонен, как и положено нордическому немцу. Как ни странно, мое немецкое происхождение мужчинам все объясняет: не раз бывавшие в Евросоюзе, они обладают зачатками толерантности. Галка толерантностью не обладает, и главный ковбой вынужден ее прервать:

— Заткнись, шалава, дай с человеком побазарить!

Ковбои тянут ко мне ладони, называют имена, которые я, конечно, не запоми-

наю, и начинается разговор о дорогах. Почему в Германии хорошие дороги, а здесь — говно? Ну, ладно, трасса М1 еще нормальная, но стоит свернуть влево или вправо — все, полная жопа! Мне приятно соглашаться: натюрлих, от Франкфурта до Берлина — очень хороший автобан! А от Берлина до Гамбурга — еще лучше! Между тем Галка придвигается ко мне, и я ощущаю тепло ее тела, отделенного полупрозрачной материей. Сквозь материю проглядывает черный бюстгальтер, скрывающий (наполовину) грудь красивой формы, да и сама она, если честно, привлекательная. Зря только они так густо мажут лица, будто готовятся выступать в театре пантомимы.

Где-то за спинами ковбоев мелькает знакомый силуэт, и я вижу раскрытый в удивлении рот Магды.

«Ну, майн либер... У меня просто нет слов! Ты полностью потерял представления о приличиях! Стал копией сводного брата, который всегда был развратным французом!»

«Наполовину французом...» — уточняю вяло (слишком ущербна моя позиция).

«Эта половина его полностью подчинила, заставила связаться с русской проституткой!»

«Люба не была проституткой».

«Тем не менее она выглядела, как женщина легкого поведения! Я видела ее два раза, и оба раза она мне очень не понравилась. Она вульгарная, шумная, навязчиво сексуальная. Она была похожа на тех женщин, что сидят в нижнем белье у окон в старом городе. Помнишь эту улицу напротив крепостной стены?»

«Сейчас в этих окнах сидят в основном африканки. Хотя и русские есть, и с Украины тоже...»

«А ты откуда знаешь?!»

«Ты забыла, что одна из моих статей касалась этой темы. Я писал о том, что на этой неприметной улице парадоксально соединилось наше прошлое — крепостная стена XIII века — и наше неприглядное настоящее. В конце концов, туда ходят именно немцы, так называемые «честные бюргеры»».

«И ты тоже ходил?»

«Нет, я ходил к тебе, но какая разница?»

«Что значит: какая разница? Ты приравниваешь меня к этим животным?!»

«Они не животные, они тоже люди».

«Возможно, но это опустившиеся люди. Причем по собственной вине. У каждого есть шанс создать нормальную семью, пусть даже жизнь будет небогатой. А они решили идти на панель!»

Я вспоминаю еженедельные встречи с Магдой, наш аккуратный секс, без выхода за разумные пределы, с умеренной страстью и с обязательным поцелуем в щеку по окончании процесса. Начинала Магда поцелуем в губы, будто подавала знак — начало игры; далее первый тайм (изредка — второй), а финальным свистком было прикосновение ее губ к щеке. И никакого дополнительного времени, тем более пенальти.

«Конечно, — раздается обиженный возглас Магды, — тебе больше нравятся шлюхи! Эта Катя, например, готовая лечь в постель только потому, что ты немец! А эти подруги дальнобойщиков? У нас их даже в публичный дом не приняли бы! Поэтому у них и нет нормального слова для обозначения семейного союза. Что значит: brak? Это значит плохо сделанная вещь, ошибка, а...»

«А вот здесь, майне либер, ты должна закончить. Так нечестно, ты не знаешь странного языка, где «да» и «нет» произносятся вместе».

«Вот именно: «да» и «нет» вместе! Разве это признак здорового сознания? Мне кажется, эти люди поголовно больны. Им требуется успокоительный укол или компресс. Их надо госпитализировать, а кого-то, возможно, отправить на процедуру эвтаназии».

«Тогда лучше сразу в газовую камеру...»

Диалог прерывается, когда я замечаю внимательный взгляд соседки-Галки. Она поглядывает искоса, о чем-то размышляя, затем предлагает:

— А давай я тоже с тобой пиво буду пить?

Не дожидаясь согласия, она заказывает две бутылки, мы чокаемся (бутылками) и теснее прижимаемся друг к другу.

— У вас делают неплохое пиво… — говорю, чтобы начать общение.

— Да? Я в нем вообще-то не разбираюсь.

— Почему тогда пьешь?

— А за компанию! — смеется Галка. — И вообще, при чем здесь пиво? Ты на баб наших посмотри — вот кто у нас лучшие!

— Наши бабы — супер! — поднимает стакан бейсболка. — За баб, по-гусарски!

Мужчины ставят стаканы на тыльную сторону ладони и, отведя локоть в сторону, заливают в себя очередную порцию водки. Я пытаюсь проделать то же с бутылкой пива, едва не роняю ее, и тут же — взрыв хохота. Вести беседу уже невозможно, ковбойский пикник с каждой минутой становится громче, назойливей, водки выставляется все больше, и нам остается язык тела. Он красноречив, этот язык, в нем тоже есть «да» и «нет», и еще множество других выражений. Галка кладет мне руку на колено, вроде как опирается на него, проводит ладонью по бедру, затем рука взлетает и укладывается за моей головой.

— Так ничего?

— Ничего — значит хорошо?

— Это значит — тесно, удобнее так.

— Если удобнее, я согласен.

Еще раз чокаемся, и Галка говорит:

— Ты прикольный.

— Какой я?

— Юморной. Я сразу это поняла, когда ты наших «гусаров» стал передразнивать. Я таких мужиков люблю.

Мы ничего не знаем друг о друге, но понимаем друг друга без слов. Вот моя наложница (гейша? куртизанка?), притягивающая меня, как Земля Луну. Я попал в это поле притяжения, как в ловушку, мне не вырваться, да и не хочется вырываться, если честно. Когда «наложница» предлагает набрать пива и удалиться в номер, возражений нет. Какие возражения, если в глазах Галки обещание чего-то такого, от чего сладко ноет в паху и армейские брюки начинают трещать?

— Я с тобой без денег буду… — шепчет на ухо.

— Да? А почему?

— Потому что ты мне понравился!

Я выхожу, прижимая к груди охапку бутылок, Галка же остается для выяснения отношений.

— …не нанималась… с кем хочу, с тем и буду… пошел нах… — доносятся реплики, не связываясь в целое. «Наложница» вылетает возбужденная, поправляет растрепанную прическу.

— Пошли в задницу, дальнобои хреновы! Надоели вусмерть, хочется хоть раз с кем-то нормальным трахнуться!

Мы оба уже пьяные, и, когда вваливаемся в номер, Галка сразу отправляет меня в душ.

— Во-первых, это место называется здесь «уш», — медленно говорю я. — Во-вторых, я там недавно был, но если тебе хочется…

— Тогда я пойду. А ты пока пей пиво.

Потом пьем вдвоем, перемежая глотки затяжными поцелуями. Помада размазывается, и я вижу перед собой пухлые и подвижные губы, что так нравились брату. В полутьме номера кажется, что Галка похожа на ту, кого звали Die Liebe, значит, есть шанс познать притягательную и пугающую женщину. Узнаю ли я вторую половину тайны? Или пропаду в страстных объятиях, растворюсь, исчезну? Гнездящийся на дне души страх уничтожаю крупным глотком, закусывая горячим языком, который проникает в рот и живет там, как самостоятельное существо.

— Выйди за дверь! — внезапно командуют мне. — Ну, чего уставился? Я ведь женщина, мне кое-что в порядок надо привести.

За дверью я стаскиваю футболку, расстегиваю ремень, и вот, наконец, вожделенное ложе, которое нахожу в темноте на ощупь.

— Погоди, пиво рядом поставим... Это твое, а это мое, понял? Смотри не перепутай!

Мы превращаемся в клубок змей, свившихся так, что не понять: кто внизу? Кто наверху? Я подпрыгиваю, потом на мне кто-то скачет, в общем, лидер секса не определен, оба партнера неистовы, и оба разряжаются одновременно.

— Класс! — выдыхает в темноту Галка. В темноте ее волосы выглядят черными, а тело — белым, будто вылепленным из теста. Я целую это тесто, податливое и теплое, готовое принять под моими губами любую форму. Интересно: Люба с Францем так же страстно совокуплялись?

— Вот блин... — бормочет Галка, спустив руку с кровати. — Это чье, интересно, пиво? Мое? Или твое?

— Мне все равно, — говорю, на секунду отлепляя губы.

— Кажется, это твое. Пей!

Я не могу ослушаться, хотя меня больше привлекает податливое тесто. Язык-существо вновь проникает в мой рот, и вот я опять возбужден и готов занять подобающую мужчине позицию сверху. Теперь наши движения более размеренны, страсть не полыхает, как пламя на пожаре, она ушла вглубь, сделалась тлеющим, но от того не менее горячим углем. Проходит минута, пять (десять? тридцать?), когда вдруг меня спрашивают:

— Ты почему не спишь? Ты должен спать...

Но мне совсем не хочется спать! Я вновь и вновь сотрясаю жалкую гостиничную кровать, не выдерживающую любовного накала, и даже не замечаю, когда Галка засыпает. Я останавливаю движение, прислушиваюсь, окликаю по имени. Точно, спит! И хотя надо бы оставить ее в покое, я еще больше раздвигаю полноватые белые бедра и вхожу в нее с удвоенной силой. Странно, что тело отвечает, и стонет она по-прежнему, хотя сознание куда-то улетело. Куда? В какие неведомые сферы? Последнее, что вижу перед финалом — крупный торчащий сосок — и буквально падаю на партнершу...

Наши сердца бьются в разных ритмах: мое выскакивает из груди, ее чуть отстает. Я чувствую это биение, лежа на спящей женщине; лишь когда сползаю с нее, начинаю что-то соображать.

Откинувшись на подушку, я представляю огромную страну, впавшую в летаргический сон и в то же время страстно желающую совокупления. Страна раздвигает ноги, и в нее входит что-то постороннее, чтобы впрыснуть семя, оплодотворить эту спящую Брунгильду. Кто ее партнер? Конечно же Запад, который всегда пользовался бессознательным состоянием Брунгильды-России, без зазрения совести впрыскивая в нее свои доктрины, учения и модели. Когда это лоно рождало монстров, Запад ужасался новорожденным, с презрением отворачивался от них и всячески отрицал отцовство. Но стоило стране задремать, как он опять коварно подкрадывался, вонзал в спящую эрегированный член, и опять очередной монстр начинал терзать беспечную мать, не озаботившуюся контрацептивами...

Рожденный в ночи символ мне нравится, думаю, его можно использовать, когда буду в состоянии что-то писать. Чистоту образа портит разве что Норман. Как быть с ним? Он же не монстр, он что-то совсем другое, жертва, причем ответственность за нее несут обе стороны! Я опускаю руку; найдя бутылку, допиваю ее, затем, не в силах утолить жажду, приникаю к бутылке партнерши. У ее пива странный привкус, но разбираться некогда — я проваливаюсь в сон.

Утром обнаруживаю на полу сюрреалистическую композицию: в центре лежит распотрошенный рюкзак, рядом свернулась калачиком моя ночная фурия. Голая! С иконой в одной руке и с моей кредитной картой — в другой! Первая мысль: я еще не проснулся. Только видение не исчезает, наоборот, обрастает подробностями, например, родинкой на белом бедре, посапыванием спящей, запахом разлитого пива...

Падшая женщина с иконой и кредитной картой — тоже вполне символическая картина, но эти символы мне не нравятся. Внутри закипает горечь, будто съел упаковку горьких таблеток, а запить нечем. Вместо того чтобы целовать утром женщину и благодарить за вчерашнее, я должен расталкивать ее, разжимать пальцы — почему?!

— По кочану... — бормочет Галка, усаживаясь на полу.

— Зачем ты полезла в рюкзак?!

Она подтягивает ноги к подбородку.

— А то ты не знаешь.

— А зачем тебе кредитная карта? Ты же не можешь вводить PIN-код!

— Бабок не нашла, вот и взяла. А потом опять отрубилась! — Она внезапно хохочет. — Ой, не могу! Своего же клофелина напилась! Перепутала, представляешь?! Теперь башка гудит... У нас там ничего не осталось?

Перебрав пустые бутылки, Галка вздыхает:

— Ничего... Ладно, пора отваливать.

Пока она собирается, я молчу. Кажется, я понимаю, что произошло, мне рассказывали о таких вещах, а я, беспечный немец, забыл! Она обычная воровка, преступница, обманывающая легковерных клиентов. Она достойна презрения, осуждения и, конечно, тюремного заключения.

Однако вместо презрения меня переполняет та же горечь, разливаясь по телу, убивая все человеческое, нормальное...

— Ты могла меня отравить! — говорю, едва не плача.

— Так ведь не отравила, верно? Значит, не судьба. А почему — знаешь?

— Почему?

— Потому что ты мне понравился. Не веришь? Могу на эту икону перекреститься. — Установив икону на стол, она размашисто крестится. Что выглядит абсурдом: Достоевский вперемешку с криминальным боевиком, по счастью, с хеппи-эндом. — И денег я не беру, как и обещала. Со всех беру, а с тобой вот так, значит... Ладно, пока.

Почему я ей не верю? Почему жизнь в этой стране ничего не стоит? Почему здесь рядом с любовью, как ее тень, бродит смерть? Магда могла бы сейчас торжествовать, ее аргументы были бы убийственны, так что приходится делать усилие, чтобы прервать воображаемый диалог.

Увы, даже усилия не спасают от появления Франца, от его измученного скорбного лица, без слов говорящего: теперь ты понял? Согласился с моими выводами о кошмарной сущности этих людей? Соглашайся, ты проиграл, а значит, можешь со спокойной душой сесть в один из трейлеров и отправиться назад.

Мысль о трейлере, впрочем, возникает позже, когда я с собранным рюкзаком стою на пороге.

— Как ночь провел? — подмигивает бейсболка. — Судя по твоему виду, бурно.

Я молчу, потом спрашиваю:

— Вы куда едете? В Москву? Или в сторону границы?

— В Польшу едем, за шмотками. А тебя что, подвезти? Нет проблем.

Приходится еще раз делать усилие, чтобы не задрать высоко ногу, как падшая придорожная женщина (чем я лучше?), и не залезть в кабину.

— А куда ушла... — я запинаюсь.

— Галка, что ли? Домой укатила, к мамаше в поселок. У нее мамаша инвалид, братишки младшие, и она всю эту ораву кормит. С одной стороны, золотая девка, с другой — такая зараза... Ее ж несколько раз из кабины выбрасывали на ходу! А она очухается — и опять на трассу!

Компенсацией за то, что «дальнобойщики» уехали без меня, служит приступ графомании в одном из придорожных кафе. Я буквально вижу, как к облакам, застилающим небо, взлетают мой гнев, мое возмущение, моя скорбь, чтобы пробиться к спутнику связи и, проскочив через систему антенн, обрушиться на голову Вальтера. Это единственный адресат, который может меня понять, остальные будут насмехаться и злорадствовать.

Как ни странно, я быстро получаю ответ. Да, Вальтер тоже сталкивался с двуличием здешних женщин, пробуждающих неприятие и жалость одновременно. Именно такая, пишет визави, моя преподавательница русского языка. Когда она входит в аудиторию в застегнутой черной куртке, иногда даже не сняв черных очков, кажется, она полностью закрыта. Строга, бесстрастна, готова жестко спрашивать. Но это лишь видимость. Ее выдает мимика, на нервном лице постоянно отражаются

страх, волнение, неуверенность... А поступки бывают настолько нелепыми, что становится ее жалко.

«Может, не следует их жалеть? — пишу я. — Они ведь нас не жалеют, могут и отравить, и обокрасть...» Вальтер делает паузу, затем напоминает о чувстве долга. Есть долг, который надо выплатить, а дальше рассуждать — жалеть кого-то или не жалеть. Хорошо еще, про чувство вины не пишет, а то мне совсем стало бы плохо.

Отрываюсь от компьютера и вдруг замечаю: посетители кафе вместе с официанткой с подозрением наблюдают за моей «игрой» на клавиатуре. Наверное, приняли меня за шпиона, и я на всякий случай поднимаю руки: нихт шиссен!

12. Вера Терешкова

Разделившись по двое, обитатели подросткового лагеря шерстят сосняк, березняк, постепенно приближаясь к границе болота. Маринка (подружка Веры), приложив ладони ко рту, оглашает лес громким ау-у! С другой стороны болота с готовностью отвечают; и слева отвечают, и справа. Возгласы — как поддержка, лекарство против страха, хотя Вера делает вид, что совершенно не боится. Ну, пропал мальчик из младшей группы, и что? Наверняка в город подался, к родителям под крылышко! В то же время она знает, что у родителей мальчик не объявлялся, и те вторые сутки стоят на ушах.

— Может, его трясина засосала? — расширяет глаза Маринка. — Он же маленький совсем, если в болото попадет — никогда не выберется!

Вера утирает со лба паутину.

— С чего он в болото полезет? — пожимает она плечами. — Его вообще на станции надо искать, а не в лесу.

— Милиция уже десять раз была на станции, и что? Слышала, что директриса говорила? Возможен несчастный случай, поэтому весь лагерь его ищет!

На самом деле Вера жутко боится обнаружить за ближайшим стволом крошечный труп, изуродованный зверем или человеком; или заметить детскую ручонку, торчащую из зеленой ряски. Когда она предлагает обойти болото, чтобы самих не засосало, Маринка с готовностью соглашается. Она движется впереди, но внезапно тормозит. Даже сквозь свитер (так кажется) видны мурашки на спине Маринки, поднимающей дикий визг. Вера подхватывает, вцепляется в плечо подружки, и они орут на пару, пока не прибегает вожатый. Чего орем? Это ж собака дохлая, не видите, что ли? И точно — собака, мухами облепленная, наверное, из-за них и показалось, что в траве лежит человек.

— Ну, ты и дура! — говорит Вера, когда они остаются наедине. — Теперь над нами весь лагерь будет ржать!

— Мы сами будем над ними ржать, — отвечает Маринка, — потому что мальчик, скажу тебе по секрету, никуда не пропадал!

— Да? А где же он...

— Он просто сделался невидимкой. Он же савант, понимаешь? А саванты умеют становиться абсолютно невидимыми!

— Кто такие саванты? — спрашивает Вера.

— Это необычные люди. И мальчик *необычный*, ему просто скучно в этом дурацком лагере. С кем ему здесь дружить? С кем общаться?!

— А-а! — говорит Вера. — Вспомнила! Мне про этих савантов рассказывала одна знакомая, ее Региной зовут.

— Надо же: одна знакомая! Да ты глаза-то разуй, может, узнаешь «знакомую»?

И вдруг становится ясно: это не Маринка, а Регина собственной персоной. И вообще они не в лесу, а в кабинете, где к Вере поворачивают экран компьютера.

— Как зовут этого человека? Правильно: Реймонд Бэббит. Хотя мы-то с тобой знаем, что это...

— Дастин Хофман?

Регина хохочет.

— Не прикидывайся, знаешь, о ком речь!

— Его зовут... Его зовут...

— Ну?

— Руслан?

— Правильно! А как по батюшке?

— Не-помню-как-по-батюшке... Сестра называла его: Учитель.

В этот момент Вера пробуждается, осознав: опять выплыла история из детства. Тогда и впрямь пропал мальчишка из младшей группы, его искали по окрестным лесам, пока милиция не обнаружила труп возле железной дороги. Говорили, мальчик забрался на подножку притормозившего товарняка, тот разогнался, и прыжок с поезда оказался смертельным. То есть это была официальная версия, «в кулуарах» же рассказывались истории одна жутче другой. В мальчика стреляли, его убивали ножом, топили в озере, так что впечатлительная Вера долго пугалась каждого куста.

Окончательно проснувшись, она припоминает встречу с Региной. Та не слабо продвинулась в изысканиях, видно было: помимо цепкого ума, эту волчицу кормят еще и ноги.

— Я тут собрала кое-какие материалы, — перебирала она газетные и журнальные вырезки, — это ведь было резонансное дело. Так чего только не писала губерния! Большинство, конечно, пошло по наезженной колее: почему, дескать, семья и общественность проглядела монстра в юбке? Она ведь наверняка издевалась над сыном, на теле мальчика должны были оставаться синяки или другие следы побоев, но окружающие ничего не хотели замечать!

Регина вскидывала глаза:

— Разве было что замечать?

— Нет, — крутила головой Вера, — не было синяков, чушь это все.

— Вот и я говорю: простое объяснение еще не значит — правильное. В этой заметке версия более замысловатая: на помощь призывается комплекс Медеи, когда ревность к мужу трансформируется в агрессию против детей. То есть благоверного достать не могу, поскольку он далеко, а тогда отыграюсь на потомстве. Между прочим, версия не лишена смысла.

— Лишена. Благоверный не бегал налево, во всяком случае, сестру это не волновало.

— Говорят, он сейчас в депрессии? Ну, отец мальчика.

— Понятия не имею.

— А... нельзя как-то об этом узнать?

— Пока нет. Говорят, его брат отправился сюда пешком.

— Пешком?!

— Ага, топает на своих двоих. Когда дотопает, может, и расскажет что-то новенькое.

— Очень интересно... — пробормотала Регина, сделала пометку в блокноте и опять зашуршала вырезками.

— Естественно, не могли не обвинить телевидение и вообще СМИ. Задергали, мол, и мать, и сына этими бесконечными шоу, они же крайне негативно влияют на психику. Что отчасти верно. Слава — это наркотик, он требуется в новых и новых дозах, и если наркоману эту дозу не дать, начинается ломка. С другой стороны, она в любой момент могла вернуть внимание публики, правильно?

— Элементарно могла.

— Я знаю: мальчик соглашался на интервью и телепоказы неохотно, но кто его будет слушать? Родители, как это у нас принято, всегда лучше знают, как устроить счастье детей. Ага, это уже экзотика пошла. Какое-то издание с религиозным уклоном объявило, что родился новый Спаситель, который принял смерть от руки собственной матери. Что символизирует конец времен, как минимум — близость этого конца. Н-да, кликуши у нас не скоро переведутся... А это что? Тоже сектанты, только эти наоборот — объявляют его Антихристом, а вашу сестру — Великой матерью, избавившей мир от вселенского зла! Дурдом, честное слово!

Наверное, на лице Веры отразилось что-то, заставившее Регину собрать заметки и смахнуть их в ящик стола.

— Ладно, бог с ними. Вы сами-то что думаете? Какие причины ее к этому подтолкнули?

Вера помолчала, затем проговорила:

— Но ведь есть заключение судмедэкспертизы, там обо всем сказано.

— Это понятно, но до заключения столько всего произошло... Я грешу на эти необдуманные смешанные браки. Мы ведь не только индивиды, мы представители соответствующих цивилизаций.

— Полпреды? — усмехнулась Вера.

— Если угодно, да. И ничего тут смешного. В каждом человеке общего, стайного — не меньше, чем личного. А может, и больше. При этом личности еще могут сойтись — и сходятся, а вот стаи, как правило, конкурируют. Классический пример: Монтекки и Капулетти. Можете представить, какая резня случилась бы, если бы у Ромео и Джульетты появился незаконнорожденный сын? Да еще с необычными способностями, возможно, будущий папа римский? Да они бы устроили тотальную войну, до последнего бойца!

— В наше время войн из-за этого не устраивают.

— Государства не воюют, конечно, но на семейном уровне такие баталии разыгрываются — тушите свет! Да вы и без меня прекрасно знаете, как ваши близкие тянули одеяло на себя! А в запале всякое случается, можно даже возненавидеть ребенка. Ты начинаешь различать в потомстве черты другой стаи, а своих не видишь. В итоге возникает отвращение, затем агрессия, ну и так далее. Причем ваша сестра это предположение подтвердила. Она сказала: иногда Норман казался ей чужаком, будто не она его родила. Чувствуете? Будто не она родила! Отсюда ведь один шаг до такого...

— И когда это Люба так разоткровенничалась? — спросила Вера после паузы.

— Как когда? Во время нашей встречи. Мы же с ней встречались недавно, я вам просто не успела рассказать.

— И вас свободно к ней пустили?

— Не совсем свободно — пришлось договариваться с охраной, ну, вы понимаете. Кстати, Люба передала вам послание.

Вера взяла очередную записку механически, отвернув сведенное судорогой лицо. Господи, думалось, у нас за бабки можно все! Можно должность купить, ученую степень или (если любопытство разбирает) влезть в самые потаенные уголки чужой жизни, потому что такая мы страна. И опять нахлынуло желание *оправдать* эту жизнь, для чего нужно пойти к человеку, чье имя она произнесла во сне.

Для начала, впрочем, следует прочесть письмо, Вера его пока не вскрывала.

На этот раз назойливых просьб нет, главная нота — скоро все кончится! Она, мол, почти вылечилась, дозы лекарств уже снижают, а вскоре и вовсе отменят. Так что Люба ждет не дождется встречи с родными и близкими, в первую очередь с сестрой. Ну и, конечно, пора заняться переводом мальчика из зарубежного колледжа на родину. Наше образование до сих пор остается лучшим в мире, и пусть Франц с этим смирится. «Может, напишешь ему? Мне сказали, из нашей больницы за границу письма не доходят, поэтому прошу тебя, не откладывая, заняться этим делом. Тогда к моменту моей выписки мальчик будет дома».

Письмо повергает в панику. О выписке, конечно, пока речи нет, но воображение уже рисует пессимистическую картину. Итак: сестра поселяется у нее, они на пару строят быт, вместе готовят еду, вместе ее поглощают, вдвоем гуляют, а это значит, что оставшийся отрезок Вериной жизни (возможно, очень длинный!) превратится в ад. Вера навсегда сделается опекуншей этой твари, ей не светят ни замужество, ни собственные дети, так что все кончится либо ее безвременной смертью, либо умерщвлением ее мучительницы.

Не в силах справиться с разгулявшейся фантазией, Вера тычет в кнопки телефона, забыв, что Коля-Николай послан на три буквы. Увы: абонент недоступен, астронома давно обслуживают швейцарские сотовые операторы. Позвонить Регине? Но эта сучка будет работать на себя, пополнять копилку знаний, душевное состояние Веры ее мало заботит. А тогда... Звонок по сути был неизбежен. Давнее желание

приблизиться к человеку, которого временами ненавидела, подкрепилось нуждой в *оправдании*, а тогда — вперед!

В разговоре с секретарем всплывает отчество — Иванович, как она могла забыть? Вскоре слышится любезное: приходите в удобное время.

— Для кого удобное? — уточняет Вера.

— Для вас, разумеется, Руслан Иванович в офисе каждый день. Завтра вечером, кстати, у нас большой сбор, и если есть время…

Слово «офис» успокаивает. Напыщенность отвращала: что уместно для Любы в период обострения, не устраивает Веру. Человек, в конце концов, издает собственный журнал, выступает на теледебатах и круглых столах, так что роль «Учителя» ему не к лицу.

Большой сбор начинается с юных психопатов, что митинговали у ворот больницы, а здесь выступают в роли охраны. Узнав Веру, молодежь ухмыляется, мол, знали, что рано или поздно придешь! Перед ней распахивают стеклянную дверь, и Вера с ходу окунается в многолюдье.

Офис вполне современный: холл отделан пластиком, в оконных проемах стеклопакеты, вдоль стен — несколько компьютеров. За мониторами, правда, никто не сидит, люди толпятся у столов с угощениями или общаются.

— …поэтому я и говорю: Европа — это пустая чаша! — долетает обрывок беседы. Автор реплики, худощавый нервный тип, теребит за лацкан массивного краснолицего собеседника: — Это форма без содержания, понимаешь?!

— Понимаю, — кивает краснолицый. — Можно сказать так: это баня с распахнутой дверцей. Пар вышел, остались только мокрые полки и забытая шайка с мочалкой.

— Да какая разница! Это же метафоры, а суть одна и та же! В прошлом веке народы Европы что делали? Боролись друг с другом за место под солнцем! С одной стороны, боролись по Дарвину, как борются за выживание биологические виды, с другой — по Марксу, исходя из принципов классовой борьбы. А сейчас? Они борются исключительно с кариесом и простатитом!

— И с лишним весом! — уточняет массивный; он со своим весом, кажется, давно не борется. Обогнув парочку, Вера продвигается к угощению. Продвижение происходит медленно, ей мешают то ли тела, то ли словесный гул: временами он сгущается, преобразуясь в упругую субстанцию, через которую нужно продираться, будто через кисель.

— …мы пытаемся сложить империю из двух красок — красной и белой. Это трудно, в итоге можно получить нечто розовое, безликое и слащавое. Империя не может быть розовой!

— И голубой империя быть не может! Я бы всех этих голубых собрал бы на одну баржу, вывез в открытое море и…

Рывок через кисель — и она наконец пробивается к столу с выпивками-закусками. Фуршет на троечку, но белое сухое в ассортименте имеется, причем холодное, и она с жадностью пригубливает бокал.

— Извините, но я раньше вас здесь не видел… Вы откуда? Пресса?

Насладиться вином мешает старичок профессорской наружности, с седой ухоженной бородкой и водянистыми глазками.

— Угу, — кивает Вера. — Пресса.

— Вы очень правильно сделали, что посетили это мероприятие. Здесь собрались настоящие люди, не поддельные. Каков уровень обсуждаемых проблем! Мы не копаемся в подножном дерьме, как свиньи, мы взлетаем под облака! Только с высоты видно, что земля поделена на две неравные части: одна — мировое Сити, другая — мировые фавелы.

— Извините… — Вера запинается. — А что такое фавелы?

Профессор грозит пальчиком:

— Надо быть более образованной, госпожа Пресса! Кстати, на самом деле вы кто? Как вас зовут?

— Я Вера.

— А я Венедикт Аркадьевич, автор-мемуарист. Так вот о фавелах. Это кварталы такие в Сан-Паулу, очень бедные. Там живет мировая нищета, голь перекатная, как

мы говорим. Но ведь и в других местах она живет! На земле примерно пять миллиардов человек живет в фавелах, ну, образно говоря. Значит, пять миллиардов — это люди-никто!

— Понятно... — говорит Вера. И, налив вина, озирается — где же «сам»? Привстав на цыпочки и бросив взгляд поверх голов, она замечает в дальнем углу седую шевелюру и мощную спину, обтянутую коричневым вельветом. Шевелюра вздрагивает в такт энергичной речи, спина тоже вроде как живет — да, это он! Вера виделась с ним один раз, их познакомила Люба, и еще тогда подумалось: и впрямь Руслан! Телосложение богатырское, вздыбленная седина, и глаза как два сверла, желающие продырявить тебя насквозь. Внезапно жизнь спины заканчивается, седой оратор делает резкий поворот и устремляет глаза-сверла на зал. Вере кажется: ее заметили, и она тут же приседает.

— Вы кого-то ищете? Не ищите, вы уже нашли человекае способного дать информацию на репортаж и две статьи. Вы поняли насчет людей-никто? Их очень много, и они хотят есть. Чтобы есть, надо зарабатывать. А кто им даст заработать? Правильно: богатенькие из мирового Сити! Из Европы, из Америки... Люди-никто приезжают в другой мир, устраиваются там и постепенно заполняют собой подножие сытого и богатого мира. Вот скажите: где начинается Европа? Я вам отвечу: она начинается в Африке. Африка и Азия — уже часть Европы, и когда-нибудь желтый и черный материки подомнут под себя материк белый. Подомнут — и утопят его в волнах Атлантики!

— Извините, — говорит Вера, — но пресса хочет в туалет.

Сделав круг по залу, она вдруг упирается носом в коричневый вельвет.

— Добрый вечер. Ну, как вам у нас? Познакомились с кем-нибудь? Здесь разные люди, как говорится, всякой твари по паре, но каждый мыслит; и мыслит критически.

Они стоят вплотную друг к другу, из-за чего приходится задирать голову.

— Отойдем к окну, — устраняет неловкость Руслан Иванович. — Вы расслабьтесь, вас здесь не съедят. И забудьте всю ахинею, которую обо мне слышали. Мы не каннибалы, не тоталитарная секта, а вполне современные и практичные люди: журнал издаем, справочную литературу выпускаем, организуем семинары... Нормальный круг единомышленников, собранных, если выражаться нынешним языком, в рамках одного проекта. А я, выходит, этим проектом руковожу.

— Это сестра... — запинаясь, говорит Вера. — Она называла вас Учителем, никак иначе...

— Люба была немного... Скажем так, экзальтированной.

— Почему — была? Она пока жива, хотя и не очень здорова.

Руслан Иванович поднимает руки.

— Извините, допустил бестактность. Люба, конечно, жива, и она обязательно поправится.

Он говорит о поддержке, которую оказывает несчастной сиделице, оболганной и поруганной. Да, произошло нечто чудовищное, но никто ведь не захотел вникнуть в суть, всех устроили самые примитивные ответы на извечные вопросы: кто виноват? И что делать? Виновата, разумеется, мать — исчадие ада, а делать понятно что: посадить в психушку — и концы в воду! Что это, очередная либеральная глупость? Не думаю. Преступление? Как говаривал один исторический персонаж, это хуже, чем преступление — это ошибка! Знаете, кто этот персонаж?

— Ленин? — ляпает Вера, вызывая улыбку собеседника.

— Уинстон Черчилль. Тоже либерал, но личность выдающаяся.

Постепенно растерянность улетучивается. «Интересно, — думает Вера, — почему его боялся Норман? Дядька вполне обаятельный, не чуждый иронии, что для этой братии не характерно (тут ведь каждый — мыслитель на букву «М»!). Разве что перепады настроения у него резкие: то смеется, запрокинув голову, то ледяным взглядом окатит так, что мурашки по спине. Где он настоящий?» Когда Руслан поднимает руку, кто-то кидается к столу, причем фужер подносят едва ли не с поклоном. Тусовка демонстрирует респект, угодливо улыбаясь, но в разговор не лезет — между ними и сборищем зона отчуждения, невидимая стена. То есть свита играет короля добросовестно. Отсвет падает и на Веру: свита недоумевает («Кто там в малиновом

берете с послом испанским говорит?»), но если с этой дамочкой так долго беседуют, значит, и ей респект!

— Как вам наша молодежь? Оценили их вклад в дело реабилитации вашей сестры? Ребята, конечно, делают это страстно, но лучше такой перегиб, чем бесстрастие и бессилие стариков. Нами ведь правят старики, согласитесь. По паспорту они не старые, но в душе у них — глубокая осень, им пора на кладбище. Кстати, что за дамочка раздавала визитные карточки моим парням? Вот эти.

«Нет, — думает она, — тут не расслабишься...» Вера берет в руки визитку Регины, изображает припоминание, затем говорит:

— А-а, так это психолог! Она какими-то исследованиями занимается, не знаю, правда, какими.

— Я знаю какими: идиотскими. Она тут добивалась встречи со мной, звонила несколько дней подряд, но мне такие «исследователи» не интересны. Они пишут свои жалкие диссертации, чтобы похоронить их в архивной пыли. А нам не нужна пыль, нам нужна живая плоть, игра мускулов, запах настоящей жизни, а не трупный смрад, заполняющий все вокруг!

В голосе пробиваются железные нотки, глаза-сверла превращаются в глаза-лазеры, и Вера вспоминает признание сестры: «Он вообще-то образованный мужик, ему все в рот смотрят. Но иногда мне кажется: он тебя или изнасилует, или убьет. А главное — тебе этого хочется». Вере же хочется плена, утраты сознания, исчезновения «я», тогда она получит то, за чем пришла. Подгоняя процесс утраты, она берет фужер, который ей подносят (подносят!) здешние прихлебалы, и быстро его опорожняет.

Вскоре выясняется, что подобные тусовки Руслану не по сердцу, он предпочитает традиционное застолье, с чаем из самовара, с песнями, как было у его предков-староверов. Ваши предки — староверы?! Ну да, разве вам об этом неизвестно? Нет, качает головой Вера, неизвестно. Она могла бы съехидничать, мол, с какой стати изучать вашу биографию? Вы кто — Уинстон Черчилль? Но ехидство в сторону; ее путь — подчинение, значит, слушай о старцах в меховых шапках, о женщинах в сарафанах, о двоеперстии и самосожжениях, ведь старовер — это бунтарь. Кто, простите? Бунтарь! А вот вы не бунтарь, верно? Ага, кивает Вера, я не бунтарь. Вот и фамилию вы сменили, правда? Правда, кивает Вера, сменила. Пошла в паспортный стол, написала заявление, и теперь у меня девичья фамилия матери. А зачем сменили? Застеснялись такого родства? Но это же позорно, таким родством гордиться нужно! Ваша сестра — жертва, положившая на алтарь самое дорогое, ее давно пора простить, окружить сочувствием, а вы...

Чужие слова и мысли вонзаются в мозг без сопротивления, как нож в масло.

— Не важно, что Нормана с нами нет, важно, что он был! Что его вообще произвели на свет! Да, мальчик был непростой; а какой гений прост? О нем говорили: юное дарование, вундеркинд, но это глупости — он был гений! А может, и того серьезнее...

— Пророк? — с готовностью уточняет Вера.

— Может, и пророк, — отвечают. — Вы ведь знаете о надписях на его теле? Так вот, одна из них гласила: «Придет Руслан». Я не комментирую, пусть этот факт сам за себя скажет. «Придет Руслан» — и все.

Он откидывает назад седую шевелюру, буравя глазами Веру: какое, мол, оказал впечатление? Убедившись в произведенном эффекте, Руслан Иванович горько усмехается.

— Конечно, не все в это верят, у большинства мозги и души атрофированы. Их может заставить поверить лишь большое несчастье. А оно не за горами. Вы не читали, что в одной арабской стране родился мальчик, у которого тоже на теле проявляются надписи? Какие именно? Суры из Корана! Так вот, семье этого мальчика выделили отдельный дом, подарили бронированный автомобиль, да еще охрану из шести человек приставили! Чувствуете разницу? Так что, если не верите в приход Руслана, сюда придут ребята с Востока, и тогда никому мало не покажется.

Вера стоит с раскрытым ртом. Ей говорят, она внимает; он донор, она реципиент, вот только стоять у реципиента больше нет сил, хочется присесть. Вняв просьбе,

ее ведут туда, где нет толпы, шума, но по-прежнему есть Руслан, который, возможно, ее изнасилует или убьет. И пусть! Вера опускается в мягкое кожаное кресло, ей наливают ароматный коньяк, и опять словесный поток обрушивается на нее, уничтожая остатки собственного мнения, как цунами уничтожает прибрежные постройки.

Люба совершила лишь одну ошибку: связалась с этим немчиком, не сумевшим оценить подарок судьбы. Он всячески принижал роль сына, строил на его счет смехотворные планы, образно говоря: схватил звезду с неба и сунул ее в помойку! А звезда должна сиять из космических глубин, разгораясь все больше и побеждая второй закон термодинамики! Вера понятия не имеет об этом законе, но какая разница? Она согласна с тем, что русская идея может даже физические константы переиначить, такие уж мы люди. Мы космисты, мы взлетаем даже не под облака — выше, в стратосферу, ионосферу, наконец, в бездонность вакуума, к звездам!

Вера отхлебывает коньяк, кивая, как зомби. Зомби вылетает в стратосферу, потом в ионосферу, откуда уже не видны обоссанный подъезд, плачущая консьержка, упившийся урод, что прилюдно расстегивает ширинку... Из глубин космоса не различить папашу, кричащего: «Все уе...вайте!»; и фармацевт-уголовник предстает крошечной козявкой; и «Марабу» столь мал, что даже вывеску не прочесть. Зато каков полет! Какая, блин, высота! Она уже не Вера, а Валентина Терешкова, облетающая земной шар и видящая оттуда девственно чистый материк Евразию. Разница в том, что в эпоху Терешковой на заборах красовалось: «Миру — мир!», а на борту этого космического аппарата впору написать: «Вере — веру!». Ей очень нужна вера, иначе она не выдержит, сдохнет от тоски или сунет голову в духовку...

На следующий день Вера вроде как в амнезии, и ей хорошо. Она смутно помнит окончание сборища, в памяти отпечатался лишь лысый датчанин с серьгой в ухе, кажется, по имени Гунар. Поначалу она удивилась: откуда *здесь* взялся Гунар?! Он же рожден ползать, он не может летать в космос; но, как выяснилось позже, может.

— Мы, — сказал Руслан, — не примитивные ксенофобы, мы принимаем всех критически мыслящих. Верно, Гунар?

— Верно, — тряхнул тот серьгой. — Мой филм — это критика. Мы будем смотреть филм?

Договорились посмотреть отрывок, Гунар поставил диск, после чего сам взялся дублировать. Фильм назывался: «Избавимся от других» и был посвящен иммиграционной политике датского руководства.

— Они очень-очень правые, они почти расисты. Они постоянно задают иностранцам вопросы: что ты готов сделать для датского общества? Почему мы должны поддерживать тебя? Почему ты такой глупый? Почему твои дети глупые — они гораздо глупее наших датских детей! Почему у тебя нет работы? Почему ты потребляешь алкоголь? Почему ты вообще здесь появился?! Мы хотим от тебя избавиться!!!

Насколько помнила Вера, фильм являл собой черную комедию, где датское руководство планомерно избавлялось от неугодных пришельцев, а Копенгаген постепенно превращался в большую помойку без закусочных и пиццерий. Всем этим занимались не датчане, а именно пришельцы, но их начали отлавливать, вывозить в машинах за город и сбрасывать в Балтийское море.

— Спасибо Ларсу, без него я не снимать филм, — сказал Гунар.

— Ларсу фон Триеру? — уточнил Руслан Иванович.

— Да, фон Триеру. Это снято при помощи его компании Zentropa.

«Ну? — говорили глаза Руслана Ивановича. — Вот он какой, твой любимый Евросоюз!» А Вера мысленно отвечала: «Какой же он любимый? Я ж его терпеть не могу, поэтому сюда и пришла!» Самым неожиданным был финал, когда Гунару предложили заняться историей из нашей жизни. Руслан Иванович начал ее излагать, и Веру внезапно охватил жар. Это была история сестры! Но разве можно такое выносить на экран? Разве Гунар (Эйзенштейн, Феллини etc.) сможет *это* воплотить?!

В итоге победила не Вера, а Терешкова, высокомерно сказавшая: выносить не только можно — нужно! Пусть ужасаются недоноски, пусть помнят сакраментальное: кто с мечом придет, от меча и погибнет! Вера пыталась робко возражать, дескать, госпожа Терешкова, при чем здесь меч? Тогда меча не было, а смерть — была... Но гордая Терешкова уже махала рукой с орбиты: хватит ползти в хвосте, Веруня! Мы и

здесь будем впереди планеты всей, Зюскинды и фон Триеры утрутся, когда увидят такую кинуху!

На очередное занятие тоже спешит (летит?) Терешкова. Вера не может допустить, чтобы подопечные над ней хихикали — она должна быть выше. Настолько выше, чтобы не различать усмешек, не видеть выражения глаз, а значит, и стыда не испытывать. Стыд побоку, обитателю космических бездн не к лицу душевные корчи, более подходящие тварям, что ползают внизу.

Добежав до дверей, Вера на минуту замирает. Самое ужасное, что может ее ожидать: бумажка от начальства на столе у охранника. Мол, так и так, в услугах не нуждаемся, в отделе кадров вас рассчитают. Никакой бумаги, однако, нет; и охранник приветлив, так что Вера даже разочарована. Она бы сумела бросить в лицо стих, облитый горечью и злостью, не отмолчалась бы, а тут вроде никому ничего бросать не надо.

Занятие она выдерживает в том же ключе, пролетая по эллиптической орбите на первой космической скорости. Голос ровный, взгляд отсутствующий, то есть вся аппаратура работает в штатном режиме, самочувствие экипажа в норме. Лишь после занятия, когда подопечные покинули аудиторию, она судорожно утирает лицо платком — напряжение действительно как у космонавтов.

Приведя себя в порядок, выходит в коридор, а там Вальтер топчется. Поговорить? Вальтер, дорогой, я целых полтора часа для вас говорила, можно оставить меня в покое?

— Извините... Я думаю, это очень важно. Для вас важно.

— Для меня?! Очень интересно...

Далее следует оцепенение. Запинаясь и ошибаясь в словах, Вальтер все-таки докладывает о своих догадках, мол, он все понял, причем еще тогда, на party. Вы ведь сестра той женщины, правильно? Нет, нет, можете не отвечать, это очень тяжело, я понимаю. И ваше поведение я теперь понимаю, как это будет по-русски... Задней цифрой?

— Задним числом... — механически произносит Вера. Спикировав с орбиты и шмякнувшись оземь, она возится в грязи, пыльная и жалкая. Господи, ну зачем тогда разнюнилась?! Зачем, идиотка, языком трепала?! Он же теперь всем раззвонит, и хуже всего будет, если начнут точно так же «понимать» и жалеть. Лучше повеситься, ей-богу, чем стоять у доски и ловить на себе взгляды, исполненные сочувствия. Да провалитесь вы с вашим сочувствием!

13. Я не сволочь!

Чем ближе Москва, тем больше ускоряется жизнь. Вокруг больше машин, они быстрее едут; и спешащих людей больше; но ускорение, я знаю, иллюзорно. Стоит отойти от трассы, как страна замирает, впадает в летаргию, делается грязной, неухоженной, как... «Как вагина старой шлюхи», — говорю я себе. Образ мне нравится, в нем выражена моя месть пространству, которое никак не удается покорить. В давние времена шлюха ухаживала за собой и могла обольщать даже таких неглупых людей, как Рильке. Он был очарован этой дамой легкого поведения, заманивающей тайнами, обещающей что-то и всегда обманывающей. Здесь нет тайн, здесь только разруха! Вот разбитый старый трактор, вот куча мусора, вот покосившийся дом, готовый рухнуть и похоронить под собой жильцов. А запахи? Шлюха давно прекратила мыться и менять белье, разве что губы по привычке красит и глазки строит.

Губы и глазки — это М1, чья обочина выглядит по-европейски, особенно для пассажиров скоростных автобусов. Наивные туристы, конечно, поражены современной трассой, они не видят сморщенных половых губ, не чувствуют вони и готовы принимать видимость за сущность. Я же (извращенец!) знаю отвратительную изнанку этой жизни, но упорно двигаюсь вперед. Бездонная вагина засасывает меня, заглатывает, чтобы похоронить в бесплодной утробе, как одного из миллиона сперматозоидов. «Правильно, Франц? — мысленно обращаюсь к брату. — Ты тоже был сперма-

тозоидом, но каков результат оплодотворения? Результата нет, он лежит под могильной плитой на кладбище...».

В момент этих размышлений я нахожусь как раз на заброшенном кладбище, заросшем травой настолько, что не видно оград. Или оград не видно потому, что их украли? Однажды я видел, как с такого же заброшенного кладбища увозили две ржавые ограды. Пока я разглядывал надписи на могильных плитах, металлические конструкции выкорчевали из земли и начали грузить в машину. Что мог подумать глупый немец? Правильно: что ограды увозят для подновления, чтобы потом вернуть обратно. На самом деле их просто уворовали, о чем без стеснения рассказал один из тех, кто корчевал и грузил.

— Не поможешь закинуть в кузов? — спросил он. Я помог, мне предложили выпить водки, когда же я отказался, новый знакомый (чьего имени я не узнал) указал на торчащие из кузова штыри и виньетки.

— Сам видишь: за ними никто не ухаживает. А это ведь металл, он денег стоит. Да и вообще мертвым какая разница, как лежать?

Внезапно в мои воспоминания кто-то влезает, эмоционально заявляя: «Тебя самого могут похоронить на таком кладбище, и я даже не узнаю, где твоя могила!».

Ну конечно, это мать. Трудно представить ее в роли спутницы, строгая немецкая фрау ни за что не отправилась бы туда, где по барной стойке бегают мыши, а с кладбищ воруют ограды. Поэтому мать присутствует в виде голоса, я вроде как слушаю «Радио Ганновера».

«Вспомни, как в институт Густава Штреземана приехали русские репатрианты с немецкими фамилиями: фальшивые Шторки, Шмидты и так далее. Помнишь, как они доставали пиво из автомата?».

Разумеется, я помнил. В тот раз я спустился в цокольный этаж, где наткнулся на молодых репатриантов из Казахстана. Они копошились у автомата с напитками, при появлении незнакомца замерли, но когда я заговорил на русском, опять загалдели (приняли за своего!). И тут же взялись показывать, как они будут «бомбить» автомат. Один опустил в щель две марки, автомат выдал бутылку, и двое парней изо всей силы оттянули открывшуюся дверцу, так что образовалась щель. Рука взрослого не пролезла бы туда, но самый маленький член группы легко просунул внутрь детскую ручонку, и вскоре на мраморном полу стояла дюжина пива «Кельш». Они тут же взялись открывать бутылки; я тоже пил, улыбаясь и по-прежнему стараясь быть «своим», хотя внутри поднимался протест.

«Интересно: почему ты не рассказал об этом брату? Франц был демократом, но откровенное воровство даже его заставило бы сделать соответствующие выводы. Тем более, эта банда...»

«Банда?»

«Да, банда! В одну из ночей они сорвали со стены огнетушитель и залили пеной весь коридор! А потом выбили этим огнетушителем окно!»

«Мама, это был протест. Они попали в общество, которое их отвергло. Их считали "русскими"...».

«Вот и уезжали бы обратно в Россию, если "русские"! Но они не хотели возвращаться в страну, где кладбища напоминают свалки!»

У входа на кладбище, где я нахожусь, свалены пластиковые бутылки, обертки, пакеты... Людей нет, лишь одна женщина в глубине загаженного некрополя пытается убрать с могилы траву. В старом платье, с платком на голове, она ритмично наклоняется, отбрасывая вырванные зеленые пучки, затем усаживается на скамейку, держась за сердце.

Она долго сидит с безучастным видом, похоже, не имея сил бороться с зарослями. И хотя ей можно помочь, я сдерживаю желание. В этой бездеятельности (и моей, и женщины) есть что-то соблазнительное: ты опускаешь руки, плывешь по течению, получая горькое удовольствие. Это значит: я становлюсь похожим на здешних жителей, пространство меня побеждает, меняет состав крови, делая неважным то, что осталось в странном мире под названием Европа.

Я сам удивился равнодушию, с каким воспринял последнее письмо Гюнтера. Тот сопроводил послание собственным фото, наверное, желая поразить новой при-

ческой — белая грива была заплетена во множество косичек, кажется, модных среди аборигенов Карибского бассейна. На физиономии Гюнтера красовались две побрякушки (пирсинг на верхней губе и на правой брови), само же письмо представляло собой хвастливый рассказ об очередной акции антиглобалистов, которую провели в австрийском Зальцбурге. Город был наводнен полицейскими, протестующих отправляли обратно прямо с вокзала, но две сотни героев все-таки просочились через кордоны, спрятавшись на Холме капуцинов. Они не спали всю ночь, мокли в лесном массиве под дождем, чтобы с утра высыпать на улицы города, удивив своим появлением и полицию, и горожан.

В ответном письме я назвал их акции бессмысленным занятием. В том самом Зальцбурге, писал я, есть парк Мирабельгартен, где установлено множество статуй забавных карликов, с которыми очень любят фотографироваться туристы. Вы тоже забавные карлики, хотя делаете вид, что очень серьезные люди, которых и другие должны воспринимать всерьез.

Письмо я, впрочем, не отправил, не желая втягиваться в неизбежную (еще бы!) полемику. Гюнтер тоже мог бы прибегнуть к образам, например, вспомнить развинченный манекен, увиденный нами в одной из магазинных витрин. Мы возвращались из пивного бара и вдруг оба застыли. Лежащая за стеклом фигура являла собой сюрреалистический объект: голова лежит отдельно, руки и ноги — тоже, а обрубок-торс аккуратно поставлен рядом с этими продуктами четвертования. Это была сама безысходность, воплощенная катастрофа, и мы оба, не сговариваясь, выдохнули: Франц! За полчаса до того мы говорили именно о нем, уже месяц не выходившем из дому. Точнее, говорил Гюнтер, предлагал как-то решить проблему, я же, пребывая в подавленности, молча поглощал пиво.

Мы понаблюдали, как служитель, собрав развинченные останки, унес их в глубь помещения, и Гюнтер сказал:

— Ты сам напоминаешь этот манекен. Совсем форму потерял, выглядишь, как разбитый болезнью старичок.

В тот раз я тоже не стал полемизировать. Может, старичок, может, вообще труп, как те, что лежат под могильными плитами, покрытыми ядовито-зелеными моховыми прожилками. «Печалимся, скорбим о том, что ты ушел...»; «Утешения нет, остается лишь вечная память...»; «Остановись, прохожий, ведь и ты когда-то...»...

Я удаляюсь от могилы с неподвижной женщиной, протискиваясь между оградами, читаю надписи на постаментах, и накатывает странный покой, когда перестаешь чувствовать границу между живым и неживым. Мне тоже хочется присесть на какое-нибудь надгробие и не шевелиться, постепенно сливаясь с этим пространством, становясь его частью. Может, тут и кроется главный пафос этой земли? Они говорят — «мать сыра земля»; а что может быть естественнее возвращения к матери?

Покинув кладбище, я долго тащу за спиной потусторонний воздух, с легкостью проникший в мой дырявый (уже дырявый!) рюкзак. Меня можно считать старичком, развинченным манекеном, даже некрофилом, но этот опыт, Гюнтер, тебе недоступен. Бегай по улицам ухоженных европейских городков, швыряй камни в полицейских — это твоя дорога, а моя лежит в другую сторону...

Город Смоленск разрезан напополам проспектом Гагарина. Первый в мире космонавт — местный бренд и фетиш, поэтому длина проспекта, по которому я иду пешком, не удивляет. Мимо проезжают трамваи, покачиваясь на неровных рельсах, только мне, отшагавшему гигантское расстояние, пользоваться городским транспортом — просто смешно.

Очередной незнакомец, чей адрес записан в книжке, почему-то не отвечает на звонки. Где ты, учитель немецкого языка по имени Роман? Почему молчишь? Может, ты опять повез своих учеников в Берлин? Если так — очень жаль, мне совсем не хочется ночевать в гостинице, пусть даже смоленские «отели» лучше, чем придорожные.

Дойдя до Днепра, разворачиваю карту и двигаюсь вдоль берега. Пятиэтажный дом Романа (такие строили, кажется, во время правления Хрущева) расположен довольно далеко от центра. Во дворе на скамейках сидят бабушки, сразу цепляющие взглядом человека в форме. Или это реакция на чужака? Пройдя мимо такой бабушки

в цветастом платье и с платочком на голове, поднимаюсь на второй этаж, жму кнопку звонка, но за дверью — молчание. Жму еще, затем спускаюсь вниз и набираю номер на мобильном телефоне.

— Вы не к Роману часом приехали? — вступает в беседу бабушка. И, услышав ответ, кивает: — Я так и подумала!

— Почему вы так подумали?

— Только к Ромке ходют такие... Не такие.

— Не понимаю... Такие — не такие?

— Не наши, проще говоря. Ты ведь не наш? Вижу, что не наш, у меня глаз — алмаз!

Я молчу, разглядывая глаза бабушки: они напоминают застывшие слезы, кристаллы слюды, никак не алмазы.

— А где Роман, как вы думаете?

Бабушка заливается внезапным смехом.

— А чего тут думать-то? На фазенде своей, с медведкой борется! Его жена с дитем на море уехали, а он остался, потому что медведка все пожрала! Спасу от нее нет, хуже саранчи, честное слово!

Воображение тут же превращает незнакомца Романа в былинного русского богатыря, борющегося с гигантской «медведкой». Интересно, она сильнее реликтового медведя или уступает ему в силе? Чуть позже «медведка» оказывается огородным паразитом, Роман опять сдувается до размеров обычного учителя средней школы, а я слушаю длинные путаные объяснения. «Фазенда» оказывается загородной дачей, я их видел сотни, если не тысячи, но увижу ли ту, где защищает урожай Роман? На этот счет у меня сомнения, хотя я добросовестно начертил план на листе бумаги и записал номера трамваев и маршрутных такси.

— Главное, внутри не заплутай. Как выйдешь из маршрутки, иди до столба с аистами, потом сворачивай. Увидишь вывеску: «Садоводство «Строитель»», туда и заходи. Пойдешь, значит, по третьей линии... Или по четвертой? Точно, по четвертой! По ней направо, и там дом такой будет, с красной крышей. Рядом яблони растут, малина, в общем, разберешься. А не разберешься, спроси Ромку-учителя, его там каждая собака знает.

Трамвай и маршрутное такси сближают с местными жителями в самом буквальном смысле: в транспорте тесно, душно, мы тремся плечами, локтями, надавливаем друг на друга сумками и тележками, источая запах пота, наконец вырываемся из города и, поднимая пыльные вихри, мчимся по полям и лесам. Остановка, опять пыль под ногами, столб с аистами, застывшими неподвижно, будто чучела, «Садоводство «Строитель»», ржавая дверца, со скрипом пускающая внутрь конгломерата разносортных построек, схожих лишь жалким неказистым обликом, третья линия, но мне нужна четвертая. Странно: домов с красной крышей я вижу сразу несколько. В каком, интересно, обитает учитель немецкого языка?

Собакой, которая знает Ромку-учителя, оказывается пожилая женщина с ведром картошки. Вон там, указывает она, возле водонапорного бака. Бак, по счастью, прекрасный ориентир, и вскоре я уже беседую с загорелым человеком в трусах и сапогах до колен. Понятно, кивает Роман, если хочешь, могу дать ключи от городской квартиры. У меня семья на отдыхе, так что проблем, кроме отсутствия горячей воды, нет. Представив обратный путь — пыльную дорогу, маршрутку, трамвай, квартиру, где невозможно принять душ, — снимаю рюкзак.

— Я вообще-то привык спать на воздухе.

— Да? Тогда оставайся. Только здесь, в отличие от квартиры, будут проблемы.

— Медведка? — проявляю осведомленность. Взгляд Романа вспыхивает удивлением, затем опять становится озабоченным.

— Медведка — мелочь, тут другие дела... Ладно, располагайся, можешь из шланга окатиться, короче, чувствуй себя, как дома.

Под красной крышей располагается комната с тремя кроватями и небольшая летняя кухня. Одна кровать не заправлена, значит, здесь спит хозяин, и мне можно выбрать лежанку у окна. А эта лестница куда ведет? Поднимаюсь наверх, открываю люк и оказываюсь в крошечном чердачном помещении, уставленном стеллажами с

книгами. О, Томас Манн на немецком языке! И Генрих Манн! Белль, Грасс, Гессе, Гейне — целая немецкая библиотека! Я перебираю книги, вдыхаю их запах, действительно чувствуя себя как дома. В моей комнате множество точно таких же книг, даже издатели совпадают. Правда, в моей комнате пыли поменьше, порядка побольше, там есть мягкий диван, торшер, уютное кресло со столом...

Ностальгия накрывает внезапной волной, едва не выдавливая слезы. Где я? Почему здесь оказался? Я гляжу в маленькое окно, вижу такие же неказистые строения, странные сооружения из полиэтиленовой пленки, деревья, грядки, ржавый водонапорный бак, парящий над местностью, будто железный воздушный шар цилиндрической формы, и кажется: я пребываю во сне. Или сделался героем фильма о постсоветской России, где конец неизвестн, а моя роль — непонятна.

— Курт! — зовут меня снизу. — Наверх, что ли, забрался? Слезай, перекусывать будем.

— У тебя хорошая библиотека, — говорю, спустившись. Роман машет рукой:

— Знаю, что хорошая, десять лет собирал. Но когда читать?

В дополнение к трусам и сапогам Роман надевает футболку; я же, напротив, освобождаюсь от излишков одежды. Стол установлен под яблоней, рядом чадит дровяная печка, на ней — кастрюля с супом. За «вчерашний суп» Роман приносит извинения, совсем некогда готовить. Если бы здесь была жена, она могла бы сварганить плов; но жена с сыном отправлены на море, они уже пять лет в отпуск не ездили. Роман и сам бы поехал, да разве бросишь дачу? Не оторваться от проклятых соток!

К супу добавляют огурцы, помидоры, редис, лук перьями, хлеб, после чего Роман задумывается.

— Вообще-то полагалось бы выпить за встречу...

— Водку? — осторожно спрашиваю.

— Я водку не пью. Вина домашнего по стаканчику выпьем. То есть можно было бы и по паре стаканчиков, но к вечеру всякое может случиться.

Роман смотрит на меня как-то странно, вроде как оценивает.

— Нет, не стоит тебе в это влезать... — бормочет он и уходит в дом за вином. Вино из крыжовника он делает сам; овощи тоже выращивает сам; даже теплицу (вот как называется полиэтиленовый купол!) сделал своими руками. И если бы не всякие паразиты... По голосу я чувствую: Романа волнует не медведка, ползающая в подземных глубинах и пожирающая клубни картофеля, а какие-то другие паразиты.

Внезапно отставив суп, он направляется к водонапорному баку и, взобравшись по лестнице, осматривает окрестности.

— Эти сволочи всегда от реки приходят, — говорит, вернувшись. — Сидят на берегу, жгут костры, пока не стемнеет, а потом — на дачи, мешки набивать!

Паразитами-сволочами оказываются дачные воры, под покровом ночи опустошающие здешние огороды. Не брезгуют ничем: ни морковкой, ни луком, ни огурцом; если в дом залезут — консервацию заберут, а вино вылакают на месте. Это ведь алкаши, они потом у трамвайных остановок за копейки продают эти овощи! Куда смотрит милиция? В карман потерпевших смотрит, иногда туда даже залезает. Председателю садоводства сказали: охранные услуги только на коммерческой основе, но цену выставили неподъемную! Так что приходится обороняться своими силами.

— Вот с таким оружием ходим дежурить по ночам. — Роман вытаскивает из-под скамейки топор. — Так что ты отдыхай, а я, как стемнеет, — в ночной дозор.

Роман действительно не богатырь: рост средний, мышцы слабые, разве что решительность в глазах заставляет верить в эффективность самообороны. И хотя мне очень хочется опустить голову на подушку, я предлагаю помощь.

— Нет, нет, ты отдыхай! Эти сволочи тоже не с пустыми руками заявляются: в соседнем садоводстве одного цепями избили до полусмерти! Мне еще международного скандала не хватает!

— Из-за меня не будет скандала. В моем паспорте даже нет отметки о пересечении российской границы.

— Ты гражданин Евросоюза, за тебя в любом случае задницу надерут. Поэтому — в дом, запереться и никому не открывать!

Странно: во мне вдруг пробуждается протест, я не хочу быть гражданином

Евросоюза, защищенным его законами и экономической мощью. Я хочу защищаться сам и помогать другим, в конце концов, я прошагал по этой земле тысячу километров, я заработал это право!

— У вас говорят: «Что русскому радость, то немцу — смерть». Я не думаю, что это правильно.

— Не думаешь? Смотри сам... Я тебе тогда свисток дам. Если что — будешь свистеть, они этого боятся!

В дополнение к свистку я получаю черенок от лопаты, это моя дубина.

— Дубина народной войны... — бормочет Роман и смеется.

— Знаешь, что под Смоленском шли самые ожесточенные бои? Между немцами и русскими. А теперь мы плечом к плечу, против одного противника. Ты, кстати, Смоленск посмотрел? Нет? Обязательно посмотри. В собор Успенский сходи, в Кремль, по берегу Днепра погуляй... А то вернешься в Германию и скажешь: оборонял шесть соток от алкашей! Какие это воспоминания?

Рубеж обороны пролегает в начале улицы, другой дороги от реки нет. После захода солнца мы устраиваем засаду в кустах, покрытых пахучими белыми цветами. В траве стрекочут цикады, кучевые облака подсвечены малиновым светом, в общем, пасторальная картина явно не соответствует нашему занятию.

Время Х наступает, когда дома, кусты и деревья почти скрывает темнота. Из-за поворота появляются не то чтобы люди — скорее, тени. Они замирают, наверное, размышляя: не пройти ли до третьей линии? Но нет, сворачивают на четвертую, и я чувствую, как внезапно потеет спина. Все очень просто: вот идут злые люди, у них могут быть ножи или что-то еще, и через минуту решится вопрос, кто одержит верх. Банальный расклад ролей, годится разве что для телесериала, но для меня ситуация выглядит иначе. Только в путешествии я начал понимать эту жестокую простоту; а дома я вообще забыл, что бывают подобные столкновения.

Роман прикладывает палец к губам, усаживает меня на землю, сам же выдвигается вперед. И когда тени приближаются, обретая зловещие очертания реальных людей, с криком выскакивает из укрытия. Следом выскакиваю я, издаю оглушительный свист, вздымаю над головой «дубину народной войны», что сразу обращает теней в бегство.

Точнее, убегают две тени; третья остается на месте, уменьшается в размерах и, когда мы подбегаем, оказывается скорчившимся человеком. С топором в руке, Роман склоняется над ним, ругается жутким голосом, даже свистком не заглушить эту ругань. От поверженного врага исходит запах алкоголя; а вскоре пробивается еще одна характерная вонь.

— Шайзе... — бормочу, прекращая дуть в свисток. Принюхавшись, Роман опускает топор.

— Обгадился, сволочь, со страху.

— Не убивайте, мужики, — скулит враг, закрыв голову руками.

— Ага, из-за тебя только в тюрьму сесть не хватало! — Роман пинает его ногой в зад. — Пошел вон, паразит!

Вместо победной эйфории, однако, следует истерика.

— Сами сволочи, они и меня сволочью сделали! Ты слышал, какими словами я его крыл? Хорошо, что ты не учил русский мат, иначе вообще перестал бы меня уважать. Я Манна читаю в подлиннике, своим ученикам Гейне декламирую, а научился так материться, что боцман позавидует! С топором в ночи дежурю, сам стал бандитом; а с другой стороны, куда деваться? Сучья, сучья жизнь!

Мы долго не можем заснуть. Я пригубливаю домашнее вино (хмельное, как темное пиво!), рассказываю о своем путешествии, надеясь пробудить интерес. А пробуждаю скепсис.

— Ты кто — представитель немецкого романтизма? — раздраженно вопрошает Роман. — Твоя фамилия Шиллер? Или Гофман? Только безнадежный романтик мог отправиться сюда пешком в надежде найти что-то особенное! Пощупать руками «загадочную русскую душу», посмотреть, куда ведет наш «особый путь», черт бы его побрал, ну, и так далее. У вас там давно не в порядке с головами, даже умные люди допускали чудовищные ляпы, к примеру, Ницше. Надо же: он видел в славянских

народах нечто особенное, отличное от народов западных! А Шпенглер? Умнейший человек своего времени, он утверждал, что сущность России — это обетование грядущей культуры! Ну, не наивен ли этот мудрец? Да и наши не лучше. Знаешь, что Гоголь про Пушкина говорил?

— Я мало читал Гоголя… — отвечаю, уязвленный.

— Он говорил, что Пушкин — это русский человек через двести лет. А русский человек через двести лет — вот он, огурцы по теплицам тырит! А когда застукают, в штаны наделает и умоляет: «Не убивайте!» А зачем его, спрашивается, убивать, если он сам скоро загнется? Вон там, через два дома, такой же алкаш в прошлом году умер, так его только на седьмой день обнаружили, когда запах по участкам пошел. А? Это тебе не Томас Манн, у которого смерть — в красивой Венеции, на фоне порочной страсти, с такой еще можно примириться. С трупом, который крысы обгладывают, примириться нельзя. Самое обидное, что совсем молодые уходят, которым жить да жить! Ты видел мою хрущобу? Ну, дом пятиэтажный, в котором я живу? Так вот в этом доме из моих ровесников почти половина не дожили до сорока. Спились, в драках погибли, в Афгане и Чечне пропали… Жуть!

Что-то похожее я говорил себе сам, и не раз, но слышать собственные слова от другого человека, оказывается, неприятно. Удивительно: я уже хочу защитить эту землю, вступиться за нее, закричать — а как же ваш Гагарин?! Да, вы сделали из него товар планетарного масштаба (что-то вроде Че Гевары), но Гагарин был! И родился он именно здесь, на твоей смоленской земле!

Ночью не спится, я встаю с кровати и опять поднимаюсь наверх. Сквозь окно пробивается свет луны, и в ее мертвенном сиянии кружатся призраки тех, кто писал эти умные и глубокие книги. Кружится Гессе, вальсируют Генрих и Томас, сомнамбулически топчется на месте Франц Кафка… Призраки заперты здесь, никому не нужные, они как в тюрьме. Но вот один выскальзывает наружу, потом второй, третий, на свободе призраки вырастают, упираясь головами в темное небо, и с горечью озирают окрестности. Титанам мысли нечего здесь делать, им надо уходить. И они, перешагивая жалкие домишки, теплицы, грядки с укропом и морковкой, движутся на Запад. Как, и Норман с ними?! Ну, да, его ведет за руку один из титанов, и хотя мальчик явно не хочет покидать эту землю, приходится подчиниться. «Не в коня корм», — поясняют старшие младшему, и Норман, с тоской оглядываясь, удаляется в западном направлении.

Утром ночные картинки блекнут и растворяются в прозе жизни. Роман уже давно на ногах, он набивает продуктами земледелия большую сумку, устанавливает ее на тележку и перехватывает резинками. По его словам, «сволочи» как минимум неделю на их линию не сунутся, поэтому можно отправляться в город.

Продуктов земледелия столько, что приходится собрать еще одну сумку, ее грузят на вторую тележку. И мы отправляемся в путь. Основной колесный транспорт в Германии — автомобиль; в Афинах — мотоцикл, в Китае — велосипед. В России главное колесное средство — ручная тележка, ее таскает за собой едва ли не половина населения. Опять сближаясь с местными жителями, я тащу тележку с огурцами, которые мама Романа закатает в банки, и семейство педагогов (жена — тоже учительница) не умрет с голоду.

— Не обижайся за вчерашнее, — говорит Роман. — Мы тут как зэки лагерные, которые считали себя гораздо умнее фраеров-интеллигентов, сидевших по 58-й статье. Те были культурные, образованные, имели ученые степени, но все это за лагерной колючкой ничего не стоило. Блатной с пятью классами давал сто очков вперед любому профессору, а потому проявлял высокомерие. Вот и мы так же высокомерно относимся к европейцам. А надо ли гордиться этим умением выживать в любых условиях?

Мне повезло: мой «зэк» оберегает «фраера», учит и дает советы. Один из советов звучит на площади, где мы пересаживаемся с маршрутки на трамвай. На устланном квадратными гранитными плитами пространстве сбились в группу молодые люди характерной наружности: черные куртки, бритые головы, татуировки на открытых частях тела…

— От этих бритоголовых держись подальше, — говорит Роман. — Таких топором не запугаешь, они сами тебе голову отрежут.

Я знаком с этой атрибутикой, такие же наци швыряли камни в окно Францу, перешагнувшему через законы крови. Или здешние наци все-таки другие? Я вижу шрамы, синяки, разбитые губы, нездоровую худобу и понимаю: они отличаются. Наши бритоголовые более сытые, лоснящиеся, их увлечение в немалой степени — мода, маскарад. Эти, видно, обозлены всерьез, здесь агрессия бьет фонтаном со дна души, ею охвачено молодое тело, вынужденное вместо мяса и витаминов поглощать закатанные в банки огурцы и картошку с дачных огородов.

Внезапно от группы отделяется один, низкорослый и худощавый, и переходит трамвайные пути.

— Привет, Роман Борисович! — машет он рукой. — А я думаю: вы это или не вы? Оказывается, вы!

Он приближается, встает напротив и упирает руки в бока.

— Здравствуй, Торшин. Я тоже тебя не сразу узнал.

— Ну да, я хайр состриг, лысый хожу. А что? Голова дышит, и менту ухватиться не за что!

Торшин хохочет, довольный, затем эффектно сплевывает.

— А вы с дачи? Все тележки таскаете с картошкой? Ну да, зарплату ведь не прибавляют...

— Не прибавляют, — медленно говорит Роман.

— А зря. Такому учителю я бы прибавил. Я столько немецких слов выучил благодаря вам, что даже кличку получил: Ганс. В общем, я тут в авторитете, а все потому, что ваших уроков не пропускал.

Молодой человек нисколько не смущен, напротив, исполнен снисходительной иронии по отношению к бывшему учителю. Он предлагает присоединиться к группе на площади («потусить», как он выражается), но Роман вежливо отказывается. Я наблюдаю за ним, вижу напряженное лицо, желваки на скулах, в то время как голос — ровный, тихий, как и положено, если ученики вышли из-под контроля и требуется вернуть урок в нормальное русло.

— Ну, как хотите. Тогда я к своим.

Торшин вразвалочку удаляется, и как раз подходит трамвай. В трамвае Роман молчит, затем через силу усмехается:

— Хорошо еще Фариду не вспомнил, супругу мою. У меня ведь смешанный брак, я жену из Узбекистана вывез, когда на практике был в Самарканде; теперь мы вместе работаем. Учитель она — от бога, ее портрет с Доски почета годами не снимают, но сколько ей выслушать пришлось... Даже в учительской может проскочить, мол, понаехали узкопленочные, проходу от них нет! Что уж об учениках говорить! Есть, конечно, нормальные ребята, я таких отбирал для поездки в Берлин. Но основной контингент формирует среда обитания; а среда сам видишь какая.

Я не могу задерживаться, время подгоняет. Надо собраться в дорогу: перебрать рюкзак, что-то выстирать, что-то подшить, что-то подарить на память. Когда я вынимаю из рюкзака доску с темным ликом, Роман удивленно качает головой. Ты, говорит он, не только романтик, а еще и паломник! Когда же я называю место, куда должен вернуть икону, он лезет на полку и достает толстый фолиант. Это, поясняет, справочник по Смоленской области, митрополит выпустил, тут все храмы описаны — и действующие, и уничтоженные. Разыскав по оглавлению указанный населенный пункт, Роман разочарованно захлопывает книгу.

— Некуда тебе возвращать икону. Разрушен храм, еще в шестьдесят первом году приход был ликвидирован.

Вроде я должен испытать облегчение от того, что не нужно делать крюк на север области (100 километров в оба конца). Я же испытываю растерянность. Лик с доски смотрит на меня укоризненно, словно вопрошает: почему ты, глупый немец, заранее не узнал про закрытый приход? Куда ты меня теперь определишь? Я икона-сирота, поэтому ты должен меня таскать с собой вечно, я твой пожизненный крест.

Я предлагаю икону Роману, но тот машет руками:

— Нет, нет, не надо! Если бы я верующий был, может, и взял бы; а я не то чтобы атеист... Скажем так: агностик. Так что оставь икону в какой-нибудь другой церкви.

— В какой церкви?

— В какой? Сейчас посмотрим...

Роман опять залезает в фолиант.

— Вот, тут есть один небольшой храм недалеко от Вязьмы. Необычный храм, как утверждает автор справочника.

— Чем же он необычен?

— Там чудеса, там леший бродит... — с насмешкой отвечает Роман. — Тебя ведь интересуют чудеса, верно?

Он намекает на мою ночную откровенность — кажется, я что-то говорил про Нормана. Я чувствую, как щеки покрывает румянец. Я не должен был об этом говорить, это очень интимная вещь, не каждый поймет, но после сидения в кустах почему-то показалось, что мы очень близки, мы одной крови, и можно...

— Ладно, я в подробности не влезаю. Как я понял, там что-то серьезное произошло, иначе вряд ли ты отправился бы в свой поход. Я прав?

— Ты прав... — выдавливаю я.

Я все-таки придумываю подарок — им становится кусок бетона из берлинской стены.

— А вот это с удовольствием возьму! Спасибо, честное слово, спасибо! Мы с моими учениками ходили смотреть стену, но откалывать куски, сам понимаешь... Хотя больше всего в Берлине мне понравилось другое.

— Что же тебе понравилось?

— Комната тишины.

— В Берлине есть такая комната? Первый раз слышу.

— Она находится в северном крыле Бранденбургских ворот. Вокруг этих ворот, как ты помнишь, движутся тысячи машин, рядом гудят новостройки, а в комнате — полнейшая тишина. Удобные кресла обиты зеленой материей, и на них, закрыв глаза, сидят люди, слушают тишину... Иногда очень хочется полной тишины. Это ведь не жизнь, это шум и ярость в одном флаконе.

Последние приветы Смоленска: Кремль, собор, трамвай, вывозящий на окраину, и город со мной прощается. Дома делаются низкими, потом вовсе исчезают, и начинаются поля, перелески, автомобильные развязки и бензоколонки — начинается дорога. Когда мысленно прикидываю путь, оставленный за спиной, меня переполняет законная гордость. Не каждый пройдет столько по чужой стране, где в лесах чувствуешь себя в безопасности, а в городах — нет.

Я вхожу в очередной лес с чувством полной безопасности, когда впереди на обочину съезжает желто-синяя машина. Мне знакомы эти машины, я видел их много раз, но милиция никогда не останавливалась, заметив бредущего по обочине путника. Может, здесь не так безопасно, как я считаю? И они хотят об этом предупредить?

Из машины выходят двое в форме, один высокий и молодой, другой постарше и небольшого роста. Старший небрежно прикладывает руку к фуражке, бурчит что-то неразборчивое, молодой требует предъявить содержимое рюкзака. Зачем? Так надо, откройте и предъявите. Молодой ведет себя неуверенно, старший, напротив, валяжен и с усмешкой поглядывает на коллегу.

— Хорошо, я предъявлю.

Снимаю рюкзак, ослабляю шнур и, насколько возможно, растягиваю горловину.

— Это что такое?

— Компьютер.

— Который этот... Наубук?

— Нетбук.

— А в пакете что?

Не дожидаясь ответа, молодой выхватывает пластиковый пакет, быстро разворачивает и вынимает икону-сироту.

— Ну, Пахомов... — крутит головой старший. — Везунчик!

Молодой широко улыбается.

— Интуиция, товарищ капитан. Этот кадр мне сразу не понравился, поэтому я и

предложил проверить. — Он хлопает меня по плечу. — Ну, что, расхититель церковной собственности? Поехали отвечать по всей строгости закона!

Крепко взяв под руки с двух сторон, меня тащат к желто-синей машине.

— Не понимаю, в чем я виноват... — бормочу, упираясь.

— Надо же: не понимает он! — крутит головой Пахомов, неумолимо увлекая за собой. Старший тянет тоже, и тут я понимаю: милиционеры — пьяные! Запах алкоголя исходит и слева, и справа, перемежаясь с запахом какой-то чесночной еды, но жаловаться на это можно разве что огромным деревьям, что выстроились по обе стороны дороги, увы, молчаливыми свидетелями.

Когда меня вталкивают в заднюю дверь, я оказываюсь в крошечном пространстве, на жестком сиденье. Хочется закричать: милиция, ты что-то перепутала! Я не сволочь-паразит, ворующий огурцы из теплиц; не бритоголовый скинхэд, избивающий людей другой расы! Я обычный путешественник, можно сказать, посол мира!

В этот момент машина резко трогается с места, и слова застревают в горле. Где мой рюкзак? Нет рюкзака. Есть только стальная камера на колесах, а в ней заключенный, которого везут непонятно куда вначале по шоссе, потом по дороге с ямами. Я чувствую ямы темечком — машина проваливается в них, я же взлетаю и больно бьюсь головой о железный потолок.

Резкая остановка, лязг замка, и опять тащат под руки к небольшому строению с флагом у входа. Процесс идет без меня, я бессловесный статист, механическая кукла, чьи движения не принимаются в расчет. Сесть, предъявить документы. Ого! Товарищ капитан, это ведь не наша птица! Пахомов протягивает паспорт капитану, тот крутит его в руках, затем хмыкает:

— Такие как раз и переправляют наши ценности за границу! Ничего, у нас есть вещдок, так что не отвертится.

Заполняя бумаги, они еще несколько раз произносят загадочное (и зловещее!) слово «вещдок», вселяя в меня тревогу. У них есть «вещдок», что означает: оставь надежду, беззаботный немец, ты будешь судим и осужден, не в теории, а на практике освоив опыт старого солдата. Ты будешь валить лес на сибирских лесосеках и моли бога, чтобы нашлась добрая женщина, что подарит тебе теплые варежки. Есть ли вообще такие женщины? Может, они давно вымерли и здесь остались только алчные и расчетливые особы, желающие обворовать пришельца или как-то устроить жизнь за его счет?

— А почему нет штампа о пересечении границы? А? Ты что, нелегал? Товарищ капитан, мы нелегала задержали! А может, вообще шпиона!

Возбужденный, Пахомов заполняет еще один лист, рассеянно кивая в такт моим объяснениям. Говоришь, вернуть хотел икону? А церковь уничтожили, еще в шестьдесят первом году? Ну, я этого проверить не могу, в том году меня еще на свете не было. Товарищ капитан уже был, ага, он у нас ветеран, только вряд ли он будет проверять этот факт.

— Но почему? Храм описан в книге, которую выпустил ваш митрополит, это можно проверить!

Пахомов насмешливо на меня смотрит.

— Хорошо подготовился, нелегал германский... Ты скажи лучше: зачем церковь ломанул в соседнем районе? И где остальные иконки? Сбагрил уже? Или припрятал? Давай, колись, чистосердечное признание облегчает участь! Ну? Не хотим признаваться? Тогда придется посидеть в обезьяннике!

Через минуту, лишенный брючного ремня и шнурков на ботинках, я оказываюсь в полутемном помещении с двумя скамейками, привинченными к полу, и с грязной дырой на уровне пола, кажется, это унитаз. Я в тюрьме? События меняют друг друга так быстро, что мозг отказывается их осмыслять, срываясь в панику, в дикий страх свободного существа, мгновенно лишенного свободы. Я меряю помещение взад-вперед, обхожу по периметру, только расстояние ничтожно мало, оно не устраивает меня, привыкшего к безграничным просторам. Просторы неожиданно сжались до нескольких квадратных метров, что означает: эта земля показала свою оборотную сторону. Аверс — беспредельное пространство, реверс — крошечная камера, откуда я, наверное, никогда не выйду. Или я просто сделался за время путешествия клауст-

рофобом? Стал бояться маленьких замкнутых помещений и сейчас должен не биться в истерике, а сесть на одну из скамеек и трезво обдумать ситуацию?

Я усаживаюсь на скамейку, но трезвых мыслей нет. «Комната тишины», — вспоминается вдруг. Странно: Роману хотелось тишины, мне же ее совсем не хочется, здесь тишина — могильная, она пугает и вгоняет в ступор. Это тишина склепа, а я туда не хочу, мне, в конце концов, нужно дойти до Москвы, я дал себе обещание!

Преодолевая страх, приближаюсь к железной двери, прижимаюсь к ней ухом. Металл холодит щеку, донося неразборчивые звуки, вроде как нетрезвые центурионы переговариваются. Почему милиция выходит на дежурство в таком состоянии? Еще звуки, взрыв смеха, затем звякает что-то стеклянное. Я робко стучу в дверь, не получая ответа.

Часов меня тоже лишили, так что я не могу определить, сколько здесь сижу, точнее, лежу на одной из скамеек. Помещение лишено окон, под потолком горит тусклая лампочка и кажется: пролетает вечность, пока наконец звучно щелкает замок и на пороге возникает Пахомов. Его китель расстегнут, ремень ослаблен, лицо пунцовое, будто ему очень жарко.

— Лежишь, значит, отдыхаешь... Ну, и я отдохну.

Присев на скамейку, он смотрит на меня слезливыми глазами.

— Вот скажи... — говорит после паузы Пахомов, — почему для вас ничего святого не осталось? Ну, совсем ничего! Ты разве не понимаешь, что это — святыни? Наши святыни, да, не ваши! Но все-таки. Ты что — мусульманин? Скажи, ты мусульманин?

— Нет, — отвечаю, — я не мусульманин.

— Так какого же х... в церковь полез? Какого х... иконку из алтаря скоммуниздил?! Туда же бабушки ходят, старенькие, для них эта иконка дороже всего! А ты, немчура, ее в мешок и на продажу! Много хотел выручить? А? Тыщ сто, наверное, иконки нынче в цене.

Он замолкает и поднимает глаза к потолку, чтобы унять слезы. Он по-настоящему плачет! Я вдруг понимаю: оправдываться бессмысленно, остается только сесть, подтянув ноги к подбородку, и тихо наблюдать милицейскую истерику.

— Все готовы продать. И свое, и чужое — все на продажу! Или, может, ты войну забыть не можешь? Как мы вас до Берлина гнали? Теперь отомстить решил, верно? Самое святое, мол, украду, пусть им хуже будет! Конечно, в концлагерь нас теперь не посадишь, не тот расклад! А хочется, правда? Ты бы и сейчас нас за колючую проволоку упрятал, дай тебе волю. Только выкуси! Сержант Пахомов сам тебя упрячет так, что никто не найдет! Хоть весь твой НАТО будет искать — ни х... не найдет!

Истерика переходит в агрессивную стадию, но я все равно не верю глазам, когда из кобуры извлекается большой черный пистолет. Он очень большой и очень черный, кажется, это бутафория, а милиционер Пахомов — слабый артист, который явно переигрывает. Однако этот хеппенинг, похоже, будет иметь нехорошую развязку. Раздается команда «Встать!», меня ведут по коридору, и мы оказываемся в ярко освещенной комнате, где за столом, уронив голову на руки, спит капитан-ветеран. На столе следы пиршества (водка, хлеб, колбаса), больше ничего разглядеть не удается — в спину тычут стволом. Коридор, ночная тьма и свежий воздух, который я жадно вдыхаю (может, последний раз?).

— Послушайте, — говорю дрожащим голосом, — но это ведь очевидная нелепость! Это ошибка, она может быть очень страшной, не надо так спешить!

— А я и не спешу. Я тебе даже помолиться дам. Ну, молись своему богу, не знаю, какой он у тебя. А дальше, как говорится, при попытке к бегству... Тебе ведь хочется убежать, верно?

Я не могу признаться, что более всего хочу опорожнить мочевой пузырь. Внезапная слабость охватывает тело, еще секунда — и в армейские штаны хлынет трусливая струйка, и я заскулю от беспомощности, от этого абсурда, который не укладывается в голове.

— Эй, Пахомов! Совсем крышу снесло?!

Из дверей вываливается капитан, пошатываясь, приближается к сержанту и

отнимает большой и черный пистолет. Слышен щелчок, из рукоятки выскакивает обойма, и пистолет суют в кобуру Пахомова.

— Лишаешься боекомплекта до конца дежурства. Теперь — кру-угом! И шагом марш за стол!

— Есть за стол, товарищ капитан! Только с этим что делать?

Капитан, которого я должен считать спасителем, тупо на меня смотрит.

— Этого в камеру! Утром в Смоленск отправим!

Втолкнув меня обратно, они почему-то выключают в камере свет. Найдя на ощупь лежанку, я укладываюсь на нее, сжимаюсь в позу эмбриона и долго лежу, дрожа. И на улице, и здесь — тепло, даже душновато, меня же трясет, будто побывал на морозе. Потом темнота начинает тревожить. Я нахожу дверь, стучу в нее, но с той стороны, как и раньше, только веселые голоса и звон стекла.

Спустя время темнота оживает, кажется, по камере кружат призрачные тени, и одна, приблизившись к лежанке, вопрошает:

«Как тебе еще один вариант Сверхчеловека? У него много разных аватар, в том числе сержанта милиции Пахомова. Вот такой здесь порядок: суд, следствие и исполнение приговора — в одних руках! Ты скажешь: это воздействие алкоголя, и сержанту расстрел гражданина Евросоюза не сошел бы с рук. Согласен, его бы не только погон лишили, но и в тюрьму бы отправили. Но разве тебе было бы легче?»

«Отстань, Фридрих... — бормочу, стуча зубами. — Мне и без твоих Сверхчеловеков так плохо, что хочется умереть».

«Умереть иногда — счастье. И темнота порой — спасение».

«Опять говоришь афоризмами? Что ты имеешь в виду?»

«Сумерки сознания. Я ведь тут не один, со мной обитательница еще одной камеры, она давно хочет с тобой поговорить...»

Приподнявшись, со страхом замечаю в углу женский силуэт: склоненная голова, растрепанные волосы, руки, нервно мнущие платок... О, майн Гот! О чем я буду с ней говорить?! Это же Медея, такие страсти не для меня, недавно чуть не описавшего штаны от страха!

«Ничего, — говорит Ницше, — вам есть о чем побеседовать».

Интересно: о чем мы будем беседовать? Медея хочет рассказать подробности той жуткой сцены? Так я не раз представлял ее в деталях, вряд ли реальность превзойдет игру воображения. Или она хочет оправдаться? Но этому нет оправдания, есть поступки, которые не прощаются, их не объяснить состоянием, болезнью...

«Тогда зачем ты отправился в путь? — тихо произносит Медея. — Сидел бы дома, занимался игрой воображения, тогда и в штаны напрудить не захотелось бы».

«Очень интересно. Может, ты знаешь, зачем я отправился в путь?»

«Догадываюсь. Вокруг тебя было мало настоящей жизни. И настоящей смерти было мало; а тайна жизни и смерти — это ведь самое главное. Эту тайну не узнать, если сидеть на редакционном стуле, обувшись в уютные разношенные сандалии».

«Согласен. Но здесь оказалось слишком много настоящей смерти. И слишком мало настоящей жизни. Вы не цените жизнь, вы уничтожаете ее невероятно легко, причем ради химер! Какая химера была у тебя, Медея? — Молчание, руки мнут платок. — Не хочешь говорить? Тогда я тебе скажу. Ты полюбила что-то очень грандиозное, что гораздо больше, чем твой необычный сын. Такая любовь не соразмерна человеку, она направлена поверх человеческих голов. И она повергает сознание в сумерки. Это ведь идеи должны служить Норману, а не Норман — служить идеям! Тем более если идеи пустые, ни на чем не основанные!»

Губы собеседницы кривит усмешка.

«А идеи твоего брата имеют серьезные основания? Сделать из Нормана функционера — это замечательно!»

Скептически относившийся к замыслу Франца, я хочу закричать: да, замечательно! Это все равно лучше, чем могила, усыпанная безделушками! Поклонение могилам — тупик, катастрофа, надо живых беречь, понимаешь, Медея?! Но я молчу. Еще не факт, что я выйду отсюда в целости и сохранности. Так что в сторону воображение, нужно думать, как избежать настоящей смерти, которая пьянствует совсем близко, за стеной моей камеры.

Утро опять исполнено абсурда, вроде как фильм открутили назад, и события повторяются в обратном порядке. Меня выводят из камеры, усаживают на стул и начинают предъявлять вещи: компьютер, одежду, фонарик, карты, икону... Проделывает это, правда, совсем другой милиционер — седой, с морщинами на лице и с досадой в глазах. Когда я расписываюсь в получении вещей, он встает и открывает форточку.

— Ну, и шмон... — слышно бормотание. — Все? Претензий нет? Хотя как их может не быть? Придурки, они даже в ориентировки не смотрят!

— Извините... Куда не смотрят придурки?

— Вот сюда!

Ко мне подвигают ксерокопию с тремя изображениями икон.

— Здесь же черным по белому написано: похищены Николай-угодник, Георгий Победоносец и Спас Нерукотворный! А у тебя кто? Богоматерь!

— Богоматерь... — повторяю я, лишь теперь понимая: свободен! Чувство облегчения, правда, тут же сменяет гнев.

— У вас что, две милиции? — спрашиваю, упаковав рюкзак.

— Почему две?

— Вчера была совсем другая — фашистская милиция!

— Да уж, милиция... — мой освободитель отворачивается к окну. — Оборотни в погонах это, а не милиция. Ладно, поехали, что ли.

Меня полагается доставить до места, где вчера задержали. Я еду в кабине, вижу поселки и деревни, леса и поля, но между мной и знакомым до мелочей пейзажем стоит нечто большее, чем автомобильное стекло. Преграда выросла внезапно, за одну ночь, и ее, кажется, не пробить ничем.

Прощаясь, седой милиционер пожимает руку:

— Не держи зла, сынок. Если сможешь, конечно.

Я молча вылезаю из машины и иду по дороге. Не в сторону Москвы — обратно, туда, где есть вокзал и поезд, что отвезет домой. Я не могу не держать зла, это выше моих сил; и моя совесть чиста — я сделал все что мог. Я нахожу подходящее словцо из их языка: дрянь. Все, что меня окружает, — дрянь. Дороги дрянь, дома дрянь, еда — невероятная дрянь, а главная дрянь — люди. Они отвратительные, злые, они безнадежны и обречены жить в окружении дряни вечно, как Агасферы. Только я-то не Агасфер! Я не хочу вечно скитаться по лабиринту, где над входом большими буквами написано: «ДРЯНЬ».

Преграда между мной и дрянью становится еще выше, она похожа на прозрачный щит, призванный защищать население от шума автострады. Сейчас наоборот: щит защищает меня, не желающего иметь ничего общего с унылой и проклятой территорией. Когда впрыгиваю в рейсовый автобус «Вязьма — Смоленск», преграда не исчезает, она лишь меняет облик, превратившись в прозрачный кокон. Рядом на сиденьях покачиваются люди, только я ничего общего с ними не имею, я будто водолаз в скафандре с собственной атмосферой внутри.

Старый солдат появляется на вокзале. Он прячется где-то сзади, но я спиной чувствую его присутствие.

«Так и знал, что ты появишься... — начинаю мысленный диалог. — Но это бесполезно, учти. Ты меня не переубедишь. — Солдат молчит. — Ты не сможешь доказать, что я не прав. Я тысячу раз прав! — Солдат молчит. — И вообще — чего ты прицепился? Твой вермахт, между прочим, тоже не дошел до Москвы! И я, в сущности, лишь повторяю вашу неудачу. Немцам не суждено доходить до Москвы, они всегда поворачивают обратно!»

«Это верно, — отвечают мне наконец. — Но хотя бы пересекли границу Московской области. А ты? Струсил из-за того, что пьяный милиционер щелкнул затвором? А знаешь ли ты, как на нас бросали в атаку штрафные батальоны? Мы убивали их сотнями, тысячами, но если кто-то прыгал в наш окоп, он душил нас руками, грыз зубами, и это было по-настоящему страшно!».

Я затыкаю уши, не желая слушать странные доводы. Война давно прошла, мы расквитались с ними, и их неистовость направлена уже не на врагов, на самих себя! Их не надо завоевывать, они сами себя погубят!

«Но ты еще не пристроил икону-сироту. Вспомни, сколько ты из-за нее страдал. Получается: страдал зря?».

«Совсем не зря. Я оставлю ее у входа в Смоленский собор, кто-нибудь обязательно подберет. В общем, бессмысленно меня переубеждать, я иду брать билет».

В очереди к кассе солдат пристраивается сзади, что-то бубнит, но после того, как я получаю на руки билет, исчезает. Ура, начинаю Drang nach Westen! До отправления еще несколько часов, и я устраиваюсь в кафе, чтобы в последний раз вкусить дрянной еды. В ожидании заказа вытаскиваю компьютер, готовый написать покаянное письмо Гюнтеру. Ты прав, дружище, путешествия на Восток ничем хорошим кончиться не могут. Хотя, согласись, я вовремя одумался: я был развинченным манекеном, но теперь все составные части на месте, я возвращаюсь домой.

Ага, e-mail от Вальтера! Ну, что пишешь? Тоже собираешься домой? Точно: собирается! Закончил книгу, она выходит в московском издательстве, и пора ехать в Германию, издавать немецкий вариант. А это что? Читаю мелкие строчки, потом перечитываю и ощущаю внезапную слабость. Значит, та нервная женщина в черной одежде и черных очках — сестра бывшей жены моего сводного брата?! Это странно звучит — «сестра бывшей жены моего сводного брата» — кажется, такая степень родства называется здесь седьмой водой на киселе. Для меня, однако, образ незнакомки по имени Вера гораздо весомее воды на киселе, хотя я не знаю почему? Я представляю ее облик в деталях, она стоит у меня перед глазами и будто опутывает паутиной.

— Не уезжай, — говорит она, — ты еще не встретился со мной!

— Но у меня уже куплен билет... — бормочу я. — Вот он!

Я выкладываю билет на стол, с жалостью на него смотрю и, поднявшись, бреду в кассу возврата.

14. Да здравствует королева!

В одном из разговоров Вальтер сообщает, мол, ему пора уезжать.

— То есть эпохальный труд о беспризорниках завершен?

— Да, завершен...

— Тогда попутного ветра!

Вера тяготится занятиями, с нетерпением ожидая экзамена, после которого можно без финансовых потерь расторгнуть контракт. Она держится уверенно, даже нагло, но лучше пребывать подальше от этих иноземцев. Поделился ли Вальтер своей догадкой с остальными? Вроде нет; но даже если растрепал — ей все равно.

— Это было странное время, — говорит Вальтер. — Ваших людей сажали в тюрьму, убивали и одновременно спасали детей. Среди них, между прочим, было много одаренных детей. Очень одаренных! Сейчас не сажают в тюрьму, а дети пропадают тысячами: гибнут, умирают от наркотиков...

— Эту проблему не решить одной книжкой. И сотней книжек не решить. И вообще — разве у вас, немцев, нет своих проблем?

— У нас есть свои проблемы, — медленно произносит немец. — Но это был мой долг — написать о ваших детях. — Он отворачивается. — Мне рассказывали случай... Это было давно, во время войны. В одной деревне солдаты СС подожгли дом, где лежала больная женщина. Она не могла выйти из дому, и дочь этой женщины — совсем маленькая девочка — бегала с ведром от реки, хотела тушить. И вот она бежит, а эсэсовец забирает у нее ведро и ставит лошади, чтобы та пила. Девочка плачет, хватает пустое ведро, опять бежит к реке, а солдат опять ставит ведро лошади. В итоге дом вместе с матерью сгорел на глазах у девочки.

— И что из этого? — напрягается Вера.

— Наверное, я писал книгу ради той девочки. Это она мне рассказала, ну, когда выросла и стала старой...

Вальтер провоцирует на сантименты, хочет задушевной беседы, только жалкие попытки разбиваются о воображаемую крепостную стену, ограждающую личное про-

странство. Эта цитадель неприступна, ее не смогла взять даже визитерша из «мертвого дома».

Надо же: притащилась без звонка, якобы ее всю жизнь ждали. А главное, вела себя так, будто Вера должна по жизни ей, да еще трем коленам ее потомков! Не покормишь ли, говорит, зэчку, мне сказали, ты щедрая. Кто сказал, что я щедрая? Кто ж скажет, кроме родной сестрицы? Она вообще тебя хвалила, только жаловалась, что редко к ней ходишь.

— Времени нет! — отрезала Вера, прикидывая: как выставить нежданную гостью? Та была поддатой, под глазом багровел свежий бланш, в общем, та еще птица.

— Занятая, значит?

— Занятая. Это у вас там времени хоть отбавляй, а здесь работать надо!

Ошибкой было то, что Вера провела гостью в кухню. Та плюхнулась на стул, вытащила сигареты, после чего изволила представиться: Надя. То есть Надежда третья ваша сестра.

— Какая еще сестра?! — вскинула брови Вера.

— Ну, как же: Вера, Надежда, Любовь... — Она громко расхохоталась — произвела-таки эффект! — Да ладно, я к вам в родственницы не набиваюсь. А жрать я хочу всерьез, дома-то видишь, как встретили?

Она указала на синяк.

— Муженек, черт бы его побрал. Я год назад его полюбовницу в больницу отправила: два перелома, сотрясение мозга, разрыв губы, что-то там еще... А меня — в тюремную психушку! Муженек хотел, чтоб на зону, но врачи признали помрачение сознания, значит, надо лечиться. Ну, вылечилась, и что? Он меня с лестницы спустил, гад такой, сказал, чтоб я дорогу в родной дома забыла!

Когда гостья задымила, Вера решила: скормлю ей пару бутербродов и пусть выметается. А та бутерброды умяла, потом чаю попросила, в общем, пришлось опять намекать на занятость.

— Помню, помню... — Надя насмешливо разглядывала хозяйку. — Кстати, тут у вас не все занятые. Некоторые прямо рвутся туда, даже бабки за допуск платят. Придет такая фифа, магнитофончик выложит и давай вопросами сыпать! Понимаешь, о ком речь?

— Допустим.

— Любка пугается уже, и вообще...

— Что вообще?

— Понимать она кое-что начала. Так что зашла бы ты, родная, соскучились по тебе. Вы ведь с ней похожи.

Лишь тогда Вера на минуту потеряла лицо. Она вела гостью к двери, спрашивая нервно: чем мы похожи?! Почему похожи?! А Надя усмехалась: похожи, похожи! Вера крикнула в дверь лифта, дескать, ни фига не похожи, и вообще катись отсюда, шваль подзаборная!

Но спустя час она успокоилась. Вера научилась брать себя в руки, благо теперь могла в любой момент получить поддержку. Буквально завтра она ее получит, поэтому, Вальтер, можешь не приставать, ни черта у тебя не получится. А тот пристает!

— Меня пригласили на конгресс общества Mensa, — сообщает он.

— На конгресс чего?

— Это общество объединяет людей с высоким коэффициентом интеллекта. И вообще неординарных людей.

— Поздравляю, — говорит Вера, — не знала, что вы — неординарная личность с высоким коэффициентом интеллекта.

А он: я, мол, только наблюдатель, но если хотите, могу вам достать приглашение. С какой радости я туда пойду? Но ведь на конгресс приедет Грегори Смит, самый юный номинант на Нобелевскую премию! Он научился читать в два года, поступил в университет в десять лет, стал профессором до совершеннолетия и уже дважды выступал с трибуны ООН! И Акрит Ясвал, семилетний хирург из Индии, будет на конгрессе; и корейский чудо-ребенок Ким Унг-Йонг, и трехлетняя художница Аэлита Андрэ... Это же первый раз в Москве, неужели вам неинтересно?

Вера чувствует, куда (и откуда) ветер дует, однако на контакт не идет. Нет, ей неинтересно, гораздо интереснее сидеть за крепостной стеной.

Пускать ли за стену Регину, которая опять набивается на встречу? Не пускать! То есть встретиться можно, но никаких откровений и душевных выплесков.

Рандеву в кафе начинается с жалоб, мол, совсем работа не идет!

— А я тут при чем? — округляет глаза Вера.

— Вы близкая родственница, и вдвоем...

— Может, вы охране мало даете?

— В каком смысле? — теряется Регина.

— В прямом. Если бы не жадничали, времени для общения было б больше, глядишь, и работа пошла бы...

Регина выдавливает улыбку.

— Время роли не играет, важно состояние. А состояние изменилось. Тревога начала проявляться, а следом — замкнутость. Мне кажется, они изменили лекарственный режим.

— По какой причине?

— Нельзя долго на одних препаратах сидеть, они перестают действовать. А когда меняют терапию... Да вы сами это увидите. И одной вам, учтите, будет очень непросто!

Подкрепляя слова, она вытаскивает аппаратик, нажимает кнопку, и кафе оглашает хрипловатый, перемежаемый кашлем голос сестры. О чем она? Ага, мамочку вспомнила: дни высчитывает, хочет годовщину со дня смерти отметить. Муженька бывшего не ругает, как прежде, хочет с ним договориться, чтобы опеку над сыном разделить фифти-фифти (так и произносит: фифти-фифти). Все-таки сын билингв, и ему надо бывать и в одной, и в другой языковой среде.

— Почему она замолчала? — не выдержав паузы, Вера достает сигарету.

— Я же говорю: замыкается! Говорит, говорит, потом вроде как споткнется и — ступор! После этого клещами информацию приходится вытаскивать!

Процесс вытаскивания клещами Регина проматывает, опять жмет кнопку, но из аппаратика доносятся какие-то странные звуки.

— Что это? — чиркает Вера зажигалкой.

— Плач, разве не слышите? А спросишь: почему плачете — молчит, как партизанка!

В памяти вдруг всплывает: пятиклассница Люба вместо уроков отправляется смотреть японские мультики, из-за чего родителей вызывают в школу. Папаша возвращается от директора в ярости: ты, мол, меня позоришь! Я, уважаемый человек, должен из-за тебя краснеть! Папаша вытаскивает из брюк ремень, и тут Вера решает вступиться за сестру. Ах, ты, шмакодявка! Получи! Потом они с Любой ревут дуэтом. Тот совместный рев надолго запомнился: сидят, обнявшись, и ревут; и так сладостен этот плач, так он сближает...

«А вы похожи!» — догоняет очередное воспоминание, так что Вера опять вынуждена брать себя в руки. Ничто не поколеблет твердыню ее души; и записи эти всхлипывающие Веру не проймут.

На языке вертится ехидный вопрос: зачем, мол, добивалась встречи с Русланом Ивановичем? Думаешь, он тебе по зубам? Да если ты с психопаткой совладать не можешь, какого черта сюда лезешь! Но Вера великодушно прощает Регину, оставляя ее за воротами крепости.

Крепость сдается вечером, когда Вера переступает порог большой полутемной квартиры со старинной мебелью и множеством фотографий на стенах, развешанных рядами, будто святые на иконостасе. Сходства со святыми добавляют окладистые бороды, принадлежащие мужским персонажам, и строгие глаза персонажей женских.

— Какие лица! — восклицает Руслан Иванович. — Теперь такие уже не встречаются. Обратите внимание: мои предки-староверы в возрасте, а лица молодые. Наши же правители далеко не старые, а в душе у них что?

— Осень? — вспоминает Вера.

— Вот именно! И эта осень отражается на лицах, они дряхлые старики, болеющие... Глеб, как эта болезнь называется?

— Прогерия, — говорит Глеб, мрачный и такой же бородатый, как мужчины на фотоиконостасе. Отрекомендованный как сценарист, Глеб сидит в углу, прихлебывает чай с вареньем, но держит ухо востро.

— Вот именно — болеющие прогерией! Они...

В этот момент дзынькает мобильник, и Руслан Иванович, извинившись, исчезает в недрах квартиры. Не похоже, чтобы «сталинка» на Малой Бронной досталась ему от предков-староверов, но какая Вере разница? Она пришла не за этим, ей хочется твердой почвы, чувства локтя, и ей вроде не отказывают в поддержке.

— Первый раз слышу про такое заболевание, — говорит она, подсаживаясь к самовару.

— Прогерия — это болезнь преждевременного старения. Подарила нам ее матушка-Европа; там каждый первый — старичок, а каждый второй, считай, мертвец.

— В переносном смысле?

— В прямом. Это континент, населенный живыми трупами. Если бы не мигранты, подпитывающие Европу свежей кровушкой, они бы давно переселились на кладбище.

Сценарист зачерпывает ложкой вишневое варенье и отправляет в рот. Вернувшийся Руслан Иванович возбужден, он тоже наливает себе чаю из старинного медного самовара.

— Вроде бы деньги на фильм дают, так что стучим по дереву!

Вера догадывается, о *каком* фильме речь; она даже знает, кто будет снимать (и кто будет писать сценарий). И опять бросает вначале в жар, затем в холод.

— Самое главное, — говорит Руслан Иванович, глядя Вере в глаза, — это участие в фильме главной героини.

— Любы?!

— Да. Это условие Гунара, в противном случае он не будет снимать. А чтобы она участвовала, нужно вытащить ее оттуда. Мы имеем возможность нанять хорошего адвоката, провести дополнительную экспертизу, можем даже задействовать эту вашу... — он вынимает из кармана визитку, — Регину Вадимовну. Она, как я понимаю, дамочка активная и может быть полезной. Другой вопрос: нужно ли это все?

— Не поняла. Вы же говорили: это условие режиссера, иначе...

Руслан и Глеб переглядываются.

— Возможно, это не имеет смысла, — говорит бородач. — В конце концов, вы тоже были свидетелем, во всяком случае, находились близко к эпицентру событий.

— К центру событий, — уточняет Руслан Иванович. — Центр — ее сестра, эпицентр — Вера. А что может быть проще, чем сыграть саму себя? Да там и играть не придется, это будет документальный фильм-реконструкция, потребуется только рассказать о событиях.

— Королева умерла — да здравствует королева! — заключает Глеб, открывая кран самовара. Во взгляде Руслана сверкает молния, дескать, перебираешь, придурок! Он тут же поясняет: Люба, конечно, поправится, но когда это произойдет? А тут деньги обещаны, сценарист — вот он, значит, куй железо, пока горячо!

Вера капает вареньем на джинсы, вытирает рубиновую каплю пальцем и машинально облизывает.

— Зачем же так? — вопрошает Руслан Иванович. — Пожалуйста, вот салфетки.

А Вера опять прокручивает «кино судьбы»: кадры скачут перед глазами в режиме ускоренного просмотра, и вдруг накатывает слабость. Одно дело, когда зритель ты сам, но выставить это на обозрение!.. Да еще сыграть центральную роль!

Между тем Руслан Иванович с Глебом обсуждают нюансы; они, похоже, из всего могут сделать артефакт, лозунг дня, добрым молодцам урок и т.п. Главное, говорит Руслан, выбрать правильный ракурс, не заниматься буквальным переносом фактов на экран.

— Обижаете, Руслан Иванович... — крутит головой Глеб. — Меня факты, как вы знаете, не интересуют. А вот ракурс — это мое, тут я профессионал!

Вера все-таки сопротивляется, мол, какая из меня героиня? Пригласите про-

фессиональную актрису, сделайте голос за кадром, только ради бога не выставляйте под софиты!

Чувствуя ее состояние (тоже психолог!), Руслан Иванович вскоре выпроваживает сценариста. А дальше не дает раскрыть рта; да и собраться с мыслями не дает. Наверное, на их собраниях говорит только Руслан, остальные молчат в тряпочку. О чем он говорит? Не суть; главное — *как* говорит. Цицерон отдыхает, Геббельс утирает слезы зависти, а староверы с фотографий одобряюще покачивают бородами.

— Вам сверхзадача ясна? Нет? Но это ведь грандиозно, мы должны создать фигуру на десятилетия! Должны предъявить этого юного гения всему миру! Воздвигнуть памятник нерукотворный, легенду сочинить, ну и так далее. В этом смысле даже хорошо, что он... Ну, что его не стало.

— Как это?! — восклицает Вера.

— Нет, это печально, что не стало. Очень печально, но кто виноват? Кто подтолкнул несчастную мать? Кто соблазнил ее, посулил златые горы, а подсунул груду битых черепков? Я отвечу: виноват прогнивший мир, где живут не люди, а трупы. Глеб говорил вам об этом? Так вот, правильно говорил! Возьмите хотя бы ее мужа, ничтожного и мелкого, который сам не понял, что ему было дано. Куда ему понять, если вместо крови у него в жилах водянистая жидкость, а вместо мозгов — вычислительная машина! Вы ведь согласны со мною? Согласны?! На самом деле только мы можем родить что-то по-настоящему великое, только мы!

«Разумеется, — думает Вера, — кто ж еще? Мы, правда, и убивать умеем лучше всех...». Будто угадав ее мысли, Руслан заговаривает об убийствах усыновленных детей из России. Буквально вчера передавали, как одна голландская тварь избила мальчика, вывезенного из детского дома. А неделею назад с девочкой то же самое проделала американская тварь, только исход был летальный. Значит, идет война, незримая, но беспощадная, и нам здесь нельзя проиграть!

Эти аргументы укладывают на лопатки. Да, кивает Вера, они гораздо хуже нас. Вначале захлебываются крокодиловыми слезами умиления, слюнявят детей поцелуями (поцелуями Иуды!), а потом, если что не так, лупят почем зря! Незримая война, конечно, а на войне как на войне, нечего миндальничать.

Руслан Иванович обрушивается на незримого противника, как Македонский на персов, и Вера встает в фалангу. Копье наперевес! Вперед! Ур-ра!.. Или это Александр Невский громит шведов? Маршал Суворов берет приступом Измаил? Руслан побеждает злобного Черномора? Откуда-то появляется коньяк, Вере наливают, потом еще, отчего в голове каша, и ее существо буквально плющится под страшным эмоциональным напором.

— Помнишь, я говорил про надпись: «И придет Руслан»? Помнишь? — Вера безвольно кивает, мол, помню. — А зачем он придет? — Вера мотает головой, дескать, понятия не имею. — Чтобы родить что-то великое, доселе невиданное! Причем с твоей помощью!

Порог близости перейден, как и положено между бойцом и полководцем, и можно на «ты». А еще можно приблизить глаза настолько, что станут заметны красноватые прожилки.

— Заслуг сестры никто не умаляет, — шепчет (кричит?) Руслан, — памятник Норману обеспечен! Но мы-то понимаем: попытка неудачна, потому что выбор партнера неудачен! Плод такого союза нежизнеспособен, он годится только для мифа, мы же родим что-то невероятное, высшее существо родим!

Видя капли пота, стекающие по лбу, глаза с багровыми прожилками, Вера вжимается в кресло. «Или изнасилует или убьет!» — пищит сплющенный мозг. Она вдруг вскакивает, опрокидывая чашки, бежит к дверям, скатывается по лестнице и, даже не заметив, что сломан каблук, несется по улице.

Память не раз прокрутит абсурдную сцену, причем в кресле (причуда воображения?) будет сидеть не Вера, а сестра. Почему нет, если, как утверждают некоторые, они «похожи»? Своенравность Любы имела четкие границы, она всегда подчинялась силе, чужому авторитету, то есть ее мозги сплющить было еще легче. Да, она была матерью, все-таки любившей сына, только вывихнутая душа на любовь не способна, а спящий разум, как известно, рождает чудовищ. Когда разум погрузился в спячку,

чудовище и вылезло из мрачной глубины и завладело сестрой, чтобы взять свою жертву...

Понимание, увы, не приносит покоя. Крепостные стены разрушены, твердыня пала, и в пробитые бреши устремляются депрессивные мыслишки и кошмары.

В одну из ночей Вера убегает во сне от бородатых мужиков, кричащих: «Стой, дура, мы родим с тобой высшее существо, у нас получится!» Она в страхе улепетывает, но мужики догоняют, заваливают ее и по очереди насилуют. Бороды колются, в нос шибает перегар вперемешку с запахом кислой капусты, и Веру тошнит прямо во время совокупления. А этим ублюдкам хоть бы хны! Встали кружком, морды потные утирают, и один хлопает ее по животу, мол, жди, это недолго!

Они уходят, а Вера остается лежать, наблюдая, как стремительно растет живот. Он достигает размеров футбольного мяча, арбуза, метеозонда, после чего лопается (типа спонтанное кесарево сечение). Оба-на, Глеб! В полный рост, а главное, уже с бородой!

— Н-да, не люди, а трупы... — говорит он, оглядев окружающий мир. — Поголовно страдают прогерией, так что скоро всем — кирдык!

— И мне тоже? — робко вопрошает Вера.

— Тебе в первую очередь. Какая у тебя была сверхзадача? Высшее существо родить, вечное и бессмертное, ты же родила меня! А на фига мне еще один я? Мы же передеремся друг с другом из-за гонорара за сценарий!

— За тот самый сценарий?

— За тот самый. Вот, кстати, и режиссер собственной персоной. Гунар, иди сюда! Тут наша главная героиня облажалась, не того родила! Будем ее после такого снимать? Или переведем в массовку?

Бритый Гунар кривит физиономию, озирая лежащую в пыли мать-неудачницу.

— Сейчас Ларсу позвоню. — Он достает мобильный телефон.

— Фон Триеру? — уточняет Глеб.

— Фон Триеру, фон Триеру...

Отойдя в сторону, он беседует с хозяином Zentrop'ы, затем машет рукой, мол, оставь ее, она нам не нужна! Они уходят, а Вера остается лежать. С трудом приподнявшись, она видит пустыню и два силуэта на горизонте. Силуэты делаются все меньше и меньше, затем вообще исчезают, и на Веру всей тяжестью обрушивается одиночество...

Наяву одиночество не отпускает, опять она не на Земле, а на Плутоне. Наверное, так же одинок был Норман, удивительный маленький человек, не понятый даже родителями. Вера вспоминает мальчика, разговоры с ним, и ласковой змейкой вползает мысль: как бы им встретиться? Он же в том мире, где нет смешанных браков, сборных Европы, Дюнкерков, Русланов с Глебами, где все ходят в обнимку и говорят на одном языке. На каком? «А ты узнай! — шепчет змейка. — Это совсем несложно! Где у тебя лежит «Имован»? Правильно, в ящике стола, причем целых две пачки. А тебе требуется всего одна, да что там — половины хватит, чтобы уснуть здесь, а проснуться в ином мире. Вот когда ты наговоришься с Норманом всласть. Ну? Вперед!»

15. Суп отдельно, чудо отдельно

Дождь стекает по стеклам извилистыми упругими струями, образовав на брусчатке маленькое озерцо. Поднимая фонтанчики, в озерцо въезжают автомобили, тормозят у раздаточных стоек, но водители не спешат вылезать и нестись по лужам к дверям. За них мокнет молодой парень восточной наружности: он бросается к каждому подъехавшему авто, чтобы вставить штуцер, получить деньги и забежать на минуту внутрь — расплатиться в кассе. Парень полон азарта, он знает: с каждого расчета ему причитается, то есть действует логично и осмысленно. А я? Вот уже два часа я сижу в кафе на автозаправке, не решаясь двинуться ни вперед, ни назад.

Я пью растворимый кофе и смотрю на стекающие по стеклам потоки воды. Это не дождь, это всемирный потоп, который должен покрыть водой Атлантиду размером

с три Австралии. Хватит ли на небе воды, чтобы утопить такую страну? Должно хватить, иначе я никогда отсюда не выберусь. Лишь потоп может остановить мое движение; надеюсь, я выгребу из водоворота, уцеплюсь за какое-нибудь бревно и, оглядев пустынный горизонт, поплыву на закат...

Вдруг вспоминается сумасшедший Янек, радостно пожавший мне руку перед польской границей. Это был роковой момент, точка невозврата, то есть Янек переселился в мое тело, передав мне свое абсурдное сознание. Или в меня вселился русский путешественник по фамилии Конюхов? Я видел телепередачу об этом маньяке, которого толкал в спину демон странствий, говоривший: ты должен пересечь океан в одиночку! Преодолеть пески Сахары! Проехать по тундре на собачьей упряжке! Не надо было слушать демона; надо было потоптаться в уютном польском тамбуре и тут же вернуться назад. У поляков скверную погоду хотя бы Мадонна подправляла; моя же «Мадонна» меня едва не погубила, под пистолет поставила!

Я раскрываю рюкзак, чтобы надеть рубашку, джемпер, свитер, натянуть на голову панаму и укутаться в дождевик. У заправщика перерыв, он подсчитывает чаевые, вместе с девушкой-кассиршей удивленно взирая на меня — потенциального утопленника. Утопленник плотно затягивает тесемки и выходит туда, где небо поливает землю, будто из гигантской лейки. Вместе с лейкой задействован гигантский вентилятор, превращающий капли в шрапнель, бьющую в спину мелкими и крупными очередями.

Если спину защищает дождевик, то от машин защиты нет. Я жмусь к краю обочины, но брызги из-под колес окатывают с ног до головы, и все, что ниже дождевика, набухает влагой. Машины стремительно уносятся вперед, чтобы через секунду исчезнуть в клубящейся серой мгле. Кажется, впереди огромная воронка, всасывающая в себя автомобили, людей и прочую живность, что скачет под ногами. Я с удивлением замечаю лягушек, прыгающих по обочине в том же направлении. И, приноровив шаг, двигаюсь к воронке в сопровождении эскорта. «Серая мгла, разреши представиться: Янек Конюхов, предводитель лягушек. Ты хочешь нас погубить? Мы готовы, серая мгла, таящая бесконечные унылые пространства. Мы обречены, мы даже радуемся, растворяясь в тебе!» Пронесшийся мимо двухэтажный автобус выстреливает фонтаном брызг, исчезнув так быстро, что не успеваю прочесть надпись на заднем стекле. Я лишь понимаю: надпись на латинице, значит, мимо проскочил кусочек мира, который оставлен ради серой мглы, что всасывает меня, утратившего волю к сопротивлению.

Еще раз автобус возникает через полчаса, когда дождь внезапно прекращается. Двухъярусный гигант дает передышку могучему дизель-мотору, остановившись на стоянке и выпустив из нутра десятка три человеческих существ. Существа бродят по импровизированному рынку, раскинувшему лотки под навесом, приценяются к сувенирной и съестной продукции. Кто это — французы? Немцы? Голландцы? Продавцы, не озабоченные чьей-то национальной принадлежностью, оперативно расчехляют прикрытые целлофаном лотки: здешнее эсперанто — язык ценников и курсов валют, записанных на мокрых бумажках.

Я не раз наблюдал иностранных туристов, узнаваемых даже издали. Фотоаппарат на шее? Бейсболка на голове? Поясная сумка для денег и документов? Значит, иностранец, пугливый и неопытный, отстраненный от жизни, каковую мог бы смотреть и по телевизору. Но телевизоров этим, как правило, пожилым людям было мало, они хотели иллюзии приобщения и потому шли в турагентства, приобретали туры в Россию, чтобы потом с гордостью рассказывать: я *лично был (была)* в этой страшной стране!

Переходя от лотка к лотку, по репликам догадываюсь: англичане. Те самые англичане, что всегда отделяли себя от материковых европейцев, жили наособицу, однако здесь их особость, увы, не просматривается и на шиллинг. Те же фотоаппараты, поясные сумки и те же повадки инопланетян.

Почему я решаюсь подойти к инопланетянам? Я, привыкший смотреть на неопытных пассажиров туристских автобусов с превосходством? Для меня это загадка, но я подхожу к пожилой паре и на приличном английском пытаюсь сказать о том, что я — из Германии. Пара вежливо улыбается, кивает и быстро удаляется к автобусу.

Вторая попытка — массивный бородатый человек с огромным Nikon'ом на груди и в темных (не по погоде) очках. Я не вижу выражения глаз, но скептическая усмешка говорит сама за себя. Водитель автобуса сигналит, а девушка, стоящая на подножке автобуса, машет рукой.

— I'm sorry! — с облегчением прощается бородатый. Я же пристаю к другим членам группы, то ли доказывая свою сопричастность их миру (моему миру!), то ли пытаясь оскорбить тех, кто меня высокомерно отвергает.

— Извините, что вам надо? — сурово спрашивает девушка с подножки.

— Просто хочу сказать, что я гражданин Германии.

— Вы гражданин Германии?!

Спустя время я пойму, что выглядел, как последняя «сволочь»: мокрый, заляпанный грязью из-под колес, с облезшим носом и грязными ногтями. В момент разговора, однако, я этого не понимаю. Последний аргумент — паспорт, который я разыскиваю под недоверчивыми взглядами. Девушка раскрывает документ, крутит головой, передает остальным. Надо же, действительно немец! Неужели идет пешком?! От Польши?! Реплики становятся мягче, доверие вроде восстанавливается, но пора ехать, о чем напоминает повторный сигнал клаксона.

— You are a hero! — хлопает по плечу бородатый, чтобы тут же скрыться в автобусе. Вслед за ним исчезают остальные, и двухэтажный красавец величественно отчаливает от этой пристани.

Я гляжу вслед, чувствуя, как захлестывает волна эмоций, потом другая, третья, и надо время, чтобы в них разобраться. «Ты — герой!» — сказал англичанин, только я расцениваю комплимент как издевательство. А человек, над которым издеваются, не может быть спокоен. Странная смесь презрения, зависти, высокомерия, беспомощности, гнева, обиды булькает в моем сердце, будто суп из причудливо смешанных ингредиентов. Может, именно *так* относятся к нам здешние обитатели? Они едят это горчащее варево не одно столетие, и других блюд им пока не предлагают.

Опять начинается ливень. Надо бы переждать его под навесом, но серая мгла притягивает, воронка засасывает. Или засасывает мать сыра земля, в которую меня рано или поздно закопают? Конечно, я уже не уйду отсюда, я кану навсегда в эту непролазную грязь, и «сестре бывшей жены сводного брата» останется только поставить поминальную свечку в протестантской кирхе. Есть ли в Москве протестантские кирхи? Наверняка есть, это же мегаполис, и Вера, если захочет, осуществит нехитрый ритуал. Быть может, даже всплакнет, русские женщины чувствительные...

Увы, чувствительность (как и чувственность) Веры останется за границей жизненного опыта, моя участь — пропасть без вести, как пропали тысячи соотечественников. Может, обратиться к их душам, что мучаются в заброшенных могилах?

Облитый с ног до головы трейлером, я вижу сквозь пелену воды некое сооружение, которое оказывается автобусной остановкой. Не отель, конечно, зато с крышей и скамейкой, где можно сесть, укутаться в дождевик и сунуть в рот кусок шоколадной плитки. Не бифштекс опять же, но чувство сытости появляется, я даже слегка согреваюсь. И представляю, как в раскинувшихся передо мной полях, а может, в лесах, что виднеются вдали смутными темными массивами, начинают шевелиться холмики земли. Заросшие травой, не отмеченные даже крестом, они приходят в движение, и из них вырываются тени. Я знаю: души убитых давно должны отделиться от бренных тел, но в местах жесточайших боев отменяются не только человеческие, но и божественные законы. Тени принимают вид солдат в касках и сапогах, после чего взлетают и устремляются к трассе М1, где под прозрачным козырьком кутается в дождевик их внук, занесенный сюда непонятным ветром.

Тени вьются вокруг остановки, взлетают, бьются по глупости о прозрачный пластиковый козырек, в общем, ведут себя бестолково.

«Ладно, стройтесь, что ли... По росту, слева направо». — Тени начинают суетиться, выяснять, кто выше (в том числе по званию), так что требуется прикрикнуть: — Я сказал: по росту! У вас теперь одно звание: мертвецы! — Раздается глухой ропот, и я поднимаю руку. — Хорошо, не мертвецы. Погибшие при исполнении воинского приказа — это устраивает?».

Ропот стихает, значит, устраивает. Теперь пусть отвечают, им же с той стороны

бытия яснее наши судьбы. Пропаду я или не пропаду? А? Отвечай, фельдфебель N! Молчит. А ты, лейтенант NN? Что-то у тебя глаза тоскливые, наверное, большую семью оставил в рейхе? И она до сих пор плачет безутешно, потому что не знает твоей могилы в болотах под Вязьмой? Что же вы молчите? Эх, вы, а еще соотечественники называетесь...

Внезапно осознаю: это они хотят услышать что-то ценное, они же десятки лет томились в подземном плену, значит, были вне контекста. Ну, и задачка! Сколько же времени надо, чтобы ввести их в контекст? Сколько нужно рассказать, показать, объяснить, чтобы они начали понимать этот новый, не менее сложный и не менее безумный мир?!

«У меня нет столько времени! — развожу руками. — Я могу коротко, метафорически. Когда мой редактор отговаривал меня ехать сюда, он говорил: мы (то есть Европа) живем рядом с этой страной, как у подножия вулкана. Помните Везувий? У его подножия тоже жили люди в процветающих городах, а потом погибли буквально в один день. Вулкан, говорил он, непредсказуем, он может начать извергаться в любой момент, а тогда — зачем лезть в кратер?! — Тени наклоняются вперед, явно испытывая интерес, и я продолжаю: — Я ответил: мы тоже когда-то были вулканом. Причем не спящим, а очень даже действующим: от нашего извержения половина планеты пострадала. И ничего — выправились! А здешний вулкан... Да, я оказался внутри кратера, но знаете, что мне кажется? Что вулкан остыл! Полностью остыл, а значит, никогда уже не будет извергаться!».

В ответ молчание, только видно, как призраки качают головами: не торопись с выводами, извержение еще возможно!

Диалог с мертвым легионом вспоминаю спустя сутки, в Вязьме, где начальница экскурсионного бюро Нина Борисовна (последняя запись в адресной книжке) брызжет энергией, как настоящий вулкан. Надо ли меня определить на ночь? Не надо? А что надо? Может, помыться с дороги? Тогда я договорюсь насчет сауны — очень хорошая баня, и недорогая... Эта плотная энергичная дама говорит со мной урывками, не выпуская из рук телефонную трубку. Завершение сезона, извиняется она, надо продавать горящие путевки. Я не спрашиваю, почему путевки «горящие», достаточно, что передо мной «горящая» женщина. Она то взвинчивает интонацию, кого-то отчитывая, то чего-то требует с металлом в голосе, так что отказать невозможно.

— Чем же я могу помочь? — Нина Борисовна окидывает меня таким взглядом, будто впервые видит. Зачем она предложила этому оборванцу мягкое кожаное кресло? В столь изношенном обмундировании впору лежать там же, где соотечественники — в братской могиле! А этот наглец притащился в кабинет, да еще изображает дурака, не знающего, что ему нужно!

Чуть позже понимаю: Нине Борисовне просто требуется направить куда-то свою энергию. Услышав название церкви, она машет руками: знаю, знаю! Очень интересное место, жаль, медвежий угол, поэтому пока не включаем в паломнические маршруты.

— Мы ведь и паломников обслуживаем, ага! Сейчас много разных приходов открылось, люди охотно ездят, если дорога хорошая. Но к церкви, куда вам надо, вообще дороги нет. Лес, бурелом, там автобус запросто застрянет!

В промежутке между звонками на Нину Борисовну нисходит «сатори». Она может помочь! Тут же набирает номер, а дальше — энергичный разговор с некой Зоей, у которой что-то «опять». Нина Борисовна несколько раз произносит напористо:

— Опять? Опять он за свое, да? Тогда тем более надо съездить. А я говорю: надо! Нет, подшивки ему не помогают — только в церковь!

Зоя — дальняя родственница Нины Борисовны, однажды она ездила в ту церковь, поедет и сейчас. Как я понимаю, Зоя не очень-то хочет пробираться через «бурелом» в «медвежий угол» (слова-то какие!), но противостоять вулкану невозможно. В этой стране энергия осталась только у женщин, они еще дымят, взрываются, руководят туристическими бюро, владеют гостиницами, отпускают бензин, зарабатывают проституцией на трассах, успокаивают кричащих по ночам мужей, а еще служат проводниками в «медвежьи углы». You are a hero, — хочется сказать на прощание. Героиня труда, не потухший еще вулкан, чье тепло греет, никого не уничтожая.

Часа через два мы едем по глухой лесной дороге, иногда погружаясь по бампер в глубокие лужи, оставшиеся после вчерашнего ливня. В этих ямах с водой тонет даже машина с высокой посадкой, которая называется «Нива». Машина тесная, неудобная, но другой транспорт просто не проедет через дикий лес, чернеющий слева и справа. Где ты, Сэм? Где замечательные автострады, построенные Хошимином? Я отбил зад на рытвинах и буграх, потому что рессоры отвратительные, а дорога — ужасная!

Увы, «Тойота» Сэма здесь вряд ли прошла бы, так что звонить минскому знакомому бессмысленно. С новыми же знакомыми контакта пока нет. Массивная Зоя то и дело раздражается на мужа, невзрачного и угрюмого человека по имени Петр. Не гони! Не гони, я сказала, угробимся! И кочки объезжай, а то опять будем ремонтировать твое корыто! Петр не гонит, объезжает, но супруга быстро находит новый повод для раздражения. Вулканом ее назвать нельзя — это гейзер, фонтанирующий ядом. Муж молчит, утирая яд с лица и пытаясь вписаться в очередной поворот.

— Да от тебя же пахнет! — опять фонтанирует Зоя.

— Ничего не пахнет... — бурчит Петр.

— Пахнет, еще со вчерашнего! Как же ты за руль в таком состоянии садишься?!

— А в лесу что — гаишники стоят? — ухмыляется Петр (его кривую ухмылку я вижу в зеркале).

— Здесь тоже надо соблюдать безопасность! Все, вылазь, я поведу!

Петр покорно останавливается, супруги меняются местами, и вновь мой зад бьется об сиденье. Бьется даже сильнее, потому что Зоя как раз таки наезжает на кочки и гонит совершенно безжалостно, будто хочет разбиться вместе с супругом, а заодно и со мной. Закурив сигарету, Петр тут же получает порцию яда: ты чего нас травишь, а? И почему такую дрянь куришь? Ну, конечно, на приличные сигареты у тебя не хватает, потому что все деньги на водку уходят!

На первой остановке замечаю, что Зоя выше супруга почти на голову. В машине разница в росте не так бросалась в глаза, теперь же пара выглядит почти комически.

— Эй, ты куда? — одергивают Петра, а тот, удаляясь за стволы, дает загадочный ответ:

— На кудыкину гору!

Здесь нет гор, вокруг одни лишь деревья, заслоняющие небо. Мой путь лежал через разные леса, но такого «бурелома» встречать не приходилось: эти деревья, кажется, тянут к нам могучие ветви, желая схватить путников и утащить в чащу навсегда.

— Вы на нас внимания не обращайте, хорошо? — извиняется Зоя. — По дороге сюда люди всегда ругаются. Мы в прошлый раз тоже ругались, чуть обратно не повернули. А почему, знаете?

— Не знаю.

— Потому что он подзуживает!

— Кто — он?

Зоя озирается, затем вполголоса говорит:

— Враг человеческий! К святым местам пускать не хочет!

Хочется рассмеяться над грубым суеверием, однако смех застревает в горле. Враг — не враг, а место мрачное, какие-нибудь друиды здесь вполне могут сбивать с пути паломников и их спутников. Зоя быстро крестится; достав из кармана платок, повязывает на голову, после чего застегивает платье на все пуговицы. Она подготовилась к встрече с «врагом» (с друидами?), а я — подготовился? Вряд ли меня защитит икона, лежащая в рюкзаке, она ведь для меня живописная доска, значит, и я для нее — никчемный иноверец. Я пока молчу насчет иконы, не хочу лишних расспросов. И Зоя, и Нина Борисовна считают меня обычным туристом, любителем экзотики, что недалеко от истины.

Путь не раз заводил в большие и малые церкви, где я был свидетелем малопонятных ритуалов, торжественных и в то же время жалких в своей попытке превозмочь вопиющую бедность окружающей жизни. Религия была нездешней, она уносила человека в лучезарную высь, в безвоздушное пространство, где нечем дышать, можно только с восторгом умереть. Да, да, с восторгом, ведь человек предстает перед

самим Создателем! Он вырывается из полуразрушенного жилья, сбегает из огорода, обнесенного сгнившим забором, забывает семью, не видевшую денег годами, главное — *приобщиться*, забыть на час-другой про грязь, разруху, безденежье... Русские презирали жизнь, считали ее слишком грязной и мелкой, чтобы соединить со своей сверхчеловеческой религией. Религия и жизнь не смешивались, существовали наособицу, как в пословице, услышанной на одном из уроков старого солдата: «Суп отдельно, мухи отдельно».

За то время, пока Петр посещает «кудыкину гору», успеваю узнать их семейную ситуацию. Типичную ситуацию, каковую можно назвать любовным треугольником «муж — жена — водка». Петр любил жену, но водку он тоже любил, и чем дальше — тем больше. Жена любила Петра, поэтому работала, как папа Карло (так выражается Зоя), чтобы накопить денег и купить Петру машину. Думала, что руль и необходимость соблюдать правила дорожного движения отвернут мужа от зловредной любовницы, да куда там! Она уже и к бабкам ходила, и кодировала его, и подшивала, а толку никакого! И тогда Зоя поняла, что на самом деле треугольник выглядит иначе: «муж — жена — враг человеческий». А где бороться с врагом? Правильно: в церкви, куда Зоя начала ходить в позапрошлом году. Не сказать, что успехи большие, но Петр, слава богу, не отказывается ездить по святым местам, исповедуется, причащается, так что надежда есть.

— А это место вообще особенное. Там крест мироточит, представляете?! Обычный крест с распятием, он сто лет там стоял, и вдруг в позапрошлом году из него миро начало сочиться! А еще там в одной из икон лилии оживают. Их туда кладут на Пасху, они засыхают, а на Троицу вдруг появляются зеленые ростки!

Зоя расширяет глаза, в очередной раз озираясь. Налетает шквалистый ветер, пригибает кроны к земле, то есть враг человеческий не дремлет, явно желая уронить на нас могучий ствол. Или похитить мужа, которого вскоре тревожно окликают:

— Петька! Петя, ты куда пропал?!

Дьявольские козни, по счастью, не очень сильны — лес отпускает Петра. И мы вновь отправляемся в путь, прыгая по буграм и с трудом разъезжаясь со встречными машинами (в этом древесном царстве они смотрятся нелепыми чужеродными механизмами). Уступив руль, Зоя перебралась на заднее сиденье и теперь с жаром обрабатывает прозелита. Во-первых, крест, загибает она пальцы, во-вторых, лилии, а еще там есть икона Николая Чудотворца, которая сама обновилась. Была черная-черная, даже лик святого не просматривался, и вдруг — как новенькая! Отец Варлаам поначалу глазам не поверил, думал, кто-то из служек подновил икону, а оказалось: она сама!

«Там чудеса, там леший бродит...» — вспоминаю реплику Романа. Эту строчку из русского автора я бы мог процитировать Зое, но не хочется ее огорчать — мы и так не успеваем к вечерней службе. Поздно выехали, говорит она с досадой, затем машет рукой: ладно, исповедуемся завтра, перед причастием!

Я вижу на щеках Зои румянец, она то и дело поправляет платок, в общем, явно волнуется. На лице же Петра, как показывает зеркало, по-прежнему скептическая усмешка. Что же ты, Петька-Петя-Петр? Где твоя исконная вера, где надежда на чудесное преображение организма? Оставь скепсис мне, холодному протестанту, а ты, плоть от плоти здешней земли, должен помочь своей жене!

По приезде Петр остается в машине, чтобы отравлять замечательный воздух дымом дешевых сигарет. А мы с Зоей отправляемся на поиски матушки Елены, жены отца Варлаама. Из крошечной деревянной церкви расходятся немногочисленные прихожане — жители окрестных заброшенных деревень. Где матушка Елена? В лавке сегодня торгует, вон там!

В отнесенной в сторону церковной лавке хозяйничает полнотелая женщина в черном платье и таком же платке. Уже свернув торговлю свечками и иконками, она готова устроить наш ночлег, только, предупреждает, не торопитесь. Матушка страдает одышкой, поэтому ведет нас медленно, вполголоса расспрашивая Зою. Кажется, речь о муже, что едет за нами в машине на тихом ходу. Мотор «нивы» время от времени порыкивает, вроде как встревает в разговор: эй, вы чего? Какое вам дело до

моего пьянства? Я лишь из уважения к жене приехал сюда, на самом деле ваши святыни на меня не действуют.

Моя фантазия находит подтверждение спустя час. Мы уже поселились у хозяйки в старом покосившемся доме и даже успели сбегать в церковь. Для Зои это был акт приобщения к святыням, для меня же — экскурсия, где экспонатами служили крест, покрытый смолистыми пахучими потеками, икона с засохшими растениями внутри и еще одна икона, которую служка собирался унести в алтарь, но ради нас задержался.

— Вот эта икона обновилась! — горячо шептала на ухо Зоя. — За одну ночь, представляете? А крест мироточит уже пять лет! Мы завтра приложимся к нему, только смотрите, не касайтесь мира!

— Да? А как же тогда это... прикладываться?

— А там пластинка из оргстекла прибита, к ней и прикладываются. Мира только священники могут касаться, они потом пропитанные ватки людям раздают. Они так пахнут, ватки эти, прямо благоухают! Вы завтра обязательно возьмите!

Завтра, думаю я, будет завтра, а пока я стою на крыльце дома, жду ужина, который готовит хозяйка Таисия Ефимовна. Во дворе развешано выстиранное белье; веревки при этом подпираются палками, чтобы простыни с наволочками не были покусаны и измазаны черным щенком, что с радостным визгом носится от ворот до крыльца. Внезапно из дверей появляется Петр. Закурив, он переминается с ноги на ногу, затем нерешительно предлагает: может, по глотку?

— Извините, не понял?

— А что тут понимать? У меня с собой есть, из дому прихватил!

Он показывает горлышко бутылки, спрятанной в боковом кармане.

— Спасибо, не хочу.

— Совсем, что ли, не хочешь?

— Совсем не хочу.

Петр задумчиво затягивается сигаретой. Для него, как я понимаю, чудом является отказ от пьянства. Для меня же это обыденность. Не нужно икон; и крестов пахучих не нужно, требуется просто сказать: не хочу!

— Так ты это... — нерешительно начинает Петр. — Думаешь, что я урод?

— Почему вы так решили?

— Да так, в голову вошло... Я, значит, придурок, а ты хороший, так?

— Я этого не говорил.

— Не говорил, зато подумал. Вот и Зойка моя так же думает. Она вся из себя хорошая, а я так — мразь подзаборная! Ладно, ты как хочешь, а я приложусь.

Спустя еще час, когда спускается темнота, двор наполняется криками, руганью, мельканием теней, одна из которых вдруг становится привидением. Белое безглазое привидение мечется по двору, за ним с лаем гоняется почти не видный в темноте щенок, а их обоих преследует Зоя с палкой в руках.

— Остановись! Остановись, изверг, чужое белье изгваздаешь!

Петр с простыней на голове продолжает беспорядочное передвижение по двору, пока не натыкается на поленницу с дровами. Слышится шум рассыпающихся поленьев, и привидение падает в грязь.

Удары палкой не производят действия — привидение спит мертвецким сном. Зоя наносит последний удар, тоже опускается в грязь и принимается выть. Это не плач, это вой, взлетающий к черному небу — к тому, кто слышит, понимает, помогает, утешает... Или не слышит? Почему-то вспоминается Гога, такой же безысходный крик, от которого леденело внутри. Здесь и мужчины, и женщины кричат и стонут, увы, не получая помощи. Щенок прижимается к земле, испугавшись воя огромного и сильного (так кажется щенку), а на самом деле крайне беспомощного существа по имени человек.

Ночью к дому подъезжает огромный двухэтажный автобус. Интересно, думаю, как они сюда добрались? Может, по какой-нибудь секретной окружной дороге? Дверь распахивается, оттуда вылезают английские туристы, и девушка-гид начинает рассказывать о старой церкви. Ночь кончается, окрестности освещает солнце, и вот уже фотокамеры трещат затворами, словно пулеметы. Щелк-щелк! Туристы позируют на фоне зеленой луковки, и вдруг мои глаза лезут на лоб. Петр! Укутанный в простыню, словно арабский шейх в бурнус, он выпрыгивает из дверей автобуса и тут же направляется ко мне.

— Может, по глотку?

Подмигнув, достает из складок простыни огромную бутылку.

— Спасибо, не…

— Знать ничего не хочу! Пей!

Не в силах сказать «нет!», я запрокидываю голову, чтобы на глазах английских снобов влить в себя водку. Алкоголь наполняет энергией, а энергия требует выхода, и я призываю: идемте внутрь, приложимся к мироточащему кресту! И лилии пощупаем, они будут абсолютно живые!

— Точно живые? — сомневается британец с Nikonom.

— Живее всех живых! — убежденно говорит Петр. — Так что еще по глотку — и вперед!

Мы видим, как впереди, прихватив узлы с пожитками, спешат к церкви местные жители. Они с тревогой оглядываются на нас, ускоряют шаг и вскоре скрываются за высокими дверями. У нас перед носом двери захлопываются, мы толпимся у входа, и девушка-гид стучит кулачком по створке темного дерева. Тщетно! Вперед выскакивает Петр, он со всей силы ударяет дверь ногой, но тоже без результата.

— Зойка! — кричит он. — Зойка, я знаю, ты там!

— Я здесь! — отзывается голос супруги.

— А почему тогда я не там?

— Потому что ты изверг! Тебе ни чужого белья не жалко, ни собственной жены!

Толпа у закрытых дверей растет, переговариваясь на разных языках, в том числе на немецком. «И эти здесь?!» — замечаю теней-солдат, которых строил на трассе. Мундиры дырявые, каски ржавые, но шмайсеры держат наизготовку, будто перед ними вражеские окопы, а не безобидная культовая постройка.

— Нихт шиссен! — вскидываю руку. — Опустите автоматы, они здесь не помогут.

— Да? — недоверчиво спрашивает фельдфебель N. — А мы подумали…

— Нас туда все равно не пустят. Мы — другие.

— Но я-то не другой! — кипятится Петр. — Я свой!

Он опять принимается колотить в дверь, и тут деревянная постройка слегка приподнимается. Зависнув над землей, церковь вроде как задумывается, затем начинает медленно уходить вверх. В рядах туристов и солдат прокатывается дружное «Ах!»; и вот уже все задирают головы, пораженные. Когда первый шок проходит, опять начинается треск фотоаппаратов, а какая-то испуганная тень все-таки стреляет одиночным. Пуля бьет в старый каменный фундамент, обросший зеленым мхом (церковь взлетела прямо с фундаментом!), не нанеся постройке никакого вреда. Внутри церкви слышно дружное пение, поют то ли псалом, то ли некий православный хорал — торжественный и величавый. Понятно: готовятся к встрече с Создателем. Думают, что уже не вернутся в этот грешный мир, что церковь стала ковчегом для избранных, а мы, оставшиеся внизу, должны с болью и завистью глядеть на парящее в небе сооружение, напоминающее свифтовскую Лапуту.

Заметив в толпе Франца, я уже не удивляюсь. Что? Ты привел сестру твоей бывшей жены?! Где же она?! Именно из-за нее я снял ногу с подножки вагона, покажи ее!

«Вот она», — говорит Франц. Из-за его спины выходит женщина, чьи черты лица знакомы и одновременно не знакомы. Что же, говорю, настало время обсудить наши проблемы, так сказать, вступить в цивилизованный диалог. Посмотри на этих лапутян, какие они бедные и несчастные, не сумевшие обустроиться в этом мире и потому улетевшие в другой.

Вера молча указывает вверх, но я отмахиваюсь: вижу, пусть улетают! У вас говорят: «Бог с ними», здесь это выражение очень уместно. Вера опять тычет пальцем в небо, и тут я замечаю Нормана — он тоже вверху, парит в сиянии утренних лучей в сторонке от церкви, зависшей на высоте древесных крон.

«О, Норман! — хлопают в ладоши англичане. — Норману — гип-гип ура!»

«Норман, ком цу мир! — вздымает шмайсер лейтенант NN. — Спускайся вниз, будешь наш фюрер!»

Задрав голову, Франц размазывает по лицу слезы радости, один лишь Петя-Петр, униженный и оскорбленный, занят не парящим в воздухе Сверхчеловеком, а бутылкой.

Внезапно церковные двери раскрываются, и оттуда машут рукой: Норман, давай к нам! Будешь еще одним чудом, да что там — затмишь собой все здешние чудеса!

Только Норман не двигается с места, лишь грустно взирает на жалкие человеческие потуги обрести нечто высшее — и в то же время зримое, осязаемое, доказывающее: Бог с нами! Не-ет, возражают противники, с нами! Гот мит унс! Какой еще «гот»? Он для вас не Бог вовсе, а человекобог, считай, человек. Вы его использовать будете, вам же печной горшок нужен, а не Аполлон!

Печной горшок с Аполлоном — это опять из русского автора.

«Автора зовут Пушкин, — доносится сверху. — Про лешего и про чудеса тоже он написал, и вообще он здесь главный».

«Да? — Я прокашливаюсь. — Но для меня главный — ты».

«Я это знаю. Но здесь ведь тоже происходят чудеса. Или они тебя не впечатляют? Ты не веришь в миро, что сочится из креста? Или думаешь, что иконы не могут обновляться за одну ночь?»

«Могут, наверное. Мне тоже хочется чуда, иначе я бы давно тебя забыл. Но ты был живым чудом. С тобой можно было говорить, ты мог что-то сделать в жизни, ну, если бы не определенные обстоятельства...»

«Понимаю. А здешние чудеса?»

«Они вне жизни. Почему?! Почему у них жизнь отдельно, а чудеса — отдельно?!»

«Ты еще про суп вспомни, и про мух! — обиженно говорит Петр. Он опорожнил бутылку и теперь полон агрессии. — Между прочим, у нас святого Николая называют Чудотворцем и Угодником, а у вас? Вы же его в Николяуса превратили, в Деда Мороза, грубо говоря. Он у вас подарки по домам носит, как посыльный из супермаркета! А? Будешь спорить? Если будешь, то я тебя отстираю! Я всех отстираю, ясно тебе?!»

Ночное сновидение, как всегда, сплетается тонкой нитью с утренней жизнью, что копошится где-то внизу.

— Я отстираю, Таисия Ефимовна! — слышится голос Зои. — Я все вам отстираю!

Я лежу на печке, здесь тепло и уютно, так что не хочется вылезать из-под одеяла. Осторожно отодвинув занавеску, вижу Зою, она яростно мнет белье в огромном тазу. Мнет, отжимает и перекидывает в другой таз, для полоскания.

— Как новенькое будет, слово даю!

— Да ладно тебе. Я ж понимаю, сама так мучилась. Мой прямо сгорел от водки, как свечка сгорел! Теперь лежит на кладбище, отдыхает, а я тут за двоих ишачу...

К полудню моя миссия завершена. Позади остались трехчасовая служба, запахи ладана, песнопения, крестящаяся Зоя, Петр с опущенной головой, склонившийся над ним отец Варлаам, хоровое чтение Символа веры, причащение хлебом и вином, толчея возле святынь, ведь каждому требовалось приложиться, так что я, пришелец, решил им не мешать. Помимо деревенских на машинах приехало десятка три паломников, в итоге в крошечной церкви оказалось даже тесно. Приезжие и местные выстроились в очередь к кресту, затем к иконе с лилиями, завершало же акт приобщения целование обновленного Николая Чудотворца. Мне никогда не нравился обычай целовать икону, особенно после поцелуев множества других ртов. И поглощение святых даров из одной ложки не нравилось, но, как они говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

Передача иконы-сироты прошла на удивление буднично, да и отец Варлаам был какой-то простой, не соответствующий ажиотажу вокруг здешних святынь.

— Не жалко расставаться? — спросил он.

Я пожал плечами: это не моя собственность, можно сказать, я лишь курьер. Был ли я искренен? Не совсем: мы с этой живописной доской много чего пережили, и легкое сожаление все-таки шевельнулось.

— Не жалей, — сказал отец Варлаам. — Мудрые люди говорят: все, что отдал, — твое. Здесь она, глядишь, тоже преобразится, нам ведь и Николу так же в дар преподнесли. Закопченная была иконка, а сейчас прямо сияет, любо-дорого посмотреть.

Он заговорил об ученых, приезжавших из московского ботанического института, чтобы исследовать лилии, оживающие без воды и воздуха; а люди подходили, прикладывались к руке, и для каждого находился маленький целлофановый пакетик с ваткой, пропитанной миром.

Я тоже взял ватку, теперь нюхаю, напитываюсь сладковатым запахом. Я не еду обратно с Зоей и Петром, думаю, меня подкинет кто-нибудь из паломников. Не хочется слышать, как опять начнут ругаться, я буду очень этим разочарован. Я все же надеюсь, что чудо произойдет, в эту семью придет мир и покой, и серая мгла отступит, рассеется, как утренний туман...

16. Синица за стеклом

В воскресенье в форточку залетела синица. Ринулась на волю, но прозрачная преграда оказалась непреодолимой: птичка ударялась в стекло, раз за разом соскальзывая на подоконник. Лишь когда силы кончились, она уселась перед стеклом, устало раскрыв клювик, так что можно было взять ее в руки и выпустить наружу.

Эпизод вспоминается, когда Вера шагает на экзамен. Она сама похожа на такую синицу, попавшую за стекло; вот только добрых рук, что возьмут и отпустят на волю, нет. Потому она и раскрыла упаковку снотворного, запив таблетки остатками сухого вина, киснувшего в холодильнике. После чего улеглась на кровать, даже руки, кажется, на груди скрестила. Что ее спасло? Как ни странно, тщеславие: напоследок вдруг захотелось проявиться в Сети. Она, исчезнувшая с горизонта друзей, знакомых и полузнакомых, решила вдруг всплыть, как всплывает атомный ракетоносец среди льдов Северного океана — мощно, звучно, с треском ломая рубкой паковый лед и пугая одуревших белых медведей. Да, это последнее всплытие, лодка готова уйти в темные глубины навсегда, но вы, пользователи социальных сетей, адресаты электронной почты, все, все, все — слушайте мою последнюю песню! О, сколько накопилось корреспонденции! Сколько вопросов, возгласов: куда пропала, Верка?! Что ж, сейчас получите ответы на все вопросы!

Вера саркастически усмехалась, набивая послание, которое разлетится по сетевому эфиру веером, как автоматная очередь. Каждое письмо — пуля, всаженная в сердце довольных жизнью и собой; каждое слово — смертоносный заряд! Кому первую пулю? Конечно, Коле-Николаю, жующему шоколад Alpen gold и поглядывающему на швейцарские часы: боже, как медленно тянется время в этой Европе! Ничего, родной, мое письмо придаст твоему тягучему времени такое ускорение, что мало не покажется!

Мысли уже путались, ей вдруг захотелось пошарить в поисковике, и что она обнаружила? Форум, посвященный Норману! А там такая бредятина, что тушите свет! Вера читала чужие строчки слипающимися глазами, а в мозгу билось: да здесь на девять десятых вранье! И тут же мысль, как зацепка за жизнь: она должна восстановить истину! А как восстановишь, если вот-вот на тот свет? Дальше была аптечка, судорожные поиски марганцовки, темно-бордовая жидкость в трехлитровой банке, которую Вера вливала в себя, давясь и расплескивая; ну и, понятно, унитаз, двухчасовая тошниловка и сон на кафеле в туалете.

Вера до сих пор ощущает слабость, заглушающую (пока) чувство стыда. Дура обдолбанная, она таки нажала кнопку рассылки, значит, в глазах знакомых, полузнакомых и т. д. похоронила себя заживо. Или это кстати? Письмо, как Рубикон, разделяющий этапы жизни…

Сегодняшний экзамен тоже Рубикон, как минимум, Рубикончик. Пора прощаться со сборной Европы, их отношения слишком затянулись, да и вообще зашли в тупик. Она их не поняла; они ее не поняли, значит, сдаем экзамен и машем друг другу ручкой.

Подопечные озабоченно переговариваются, звонят по мобильным телефонам (хотя это запрещено), и тут встает Кэтрин, чтобы озвучить коллективную просьбу. Перенести экзамен? С какой стати?! Окинув взглядом притихшую аудиторию, Кэтрин, запинаясь, говорит: у Марко проблемы, он в больнице. Вера не успевает спросить, почему он там оказался, — говорят все сразу, перебивая друг друга.

Из общего гвалта выясняется, что Марко избили, он попал в травмопункт, где его поначалу не хотели принимать, потому что иностранец. Пришлось Патрику везти туда страховку, лишь тогда Марко приняли, и теперь он лежит с перебитым носом и сломанной рукой в больнице в Бирюлеве, куда собралась сборная.

— Понятно… Вы, конечно, сообщили об этом руководству? Мол, у вас уважительная причина и так далее?

Нет, они не сообщали. Они ждали, пока появится Вера, чтобы первой поставить в известность ее.

— Что ж, не смею вас задерживать… — произносит она, скрывая досаду. Переход Рубикончика откладывался, то есть опять она попалась, птичка-синичка. Или не попалась? Наоборот, окно вскоре распахнется во всю ширь, и Вера станет абсолютно свободна?

Мысль про настежь распахнутое окно возникает после звонка Коли-Николая. Заикаясь от волнения, тот говорил, что взял билет на самолет и уже едет в аэропорт. А Вера что-то мычала в трубку, оправдываясь за неудачный суицид и за письмо, отосланное по глупости.

На следующий день она топчется перед Манежем, где у входа красуется загадочная инсталляция. Отличный повод начать разговор с тем, с кем рассталась не лучшим образом. Как думаешь, Коля-Николай, эта композиции из проволоки — что изображает? Первозданный хаос мироздания после Большого Взрыва? Или это хаос в душе художника? Между прочим, мой знакомый Норман относился к такому «художеству» сугубо отрицательно. А другая знакомая, психолог Регина, растолковала, что вундеркинды вообще на дух не переносят авангард. Природа современного искусства (если оно таковым является) чужда душе одаренного ребенка, значит, что-то с этим искусством не так.

— Да? — глубокомысленно сведет брови астроном. — А почему тогда ты назначила встречу здесь, да еще пригласила меня на выставку?

А Вера сама не знает. Этот проволочный монстр, скорее, символизирует хаос в ее душе, где по-прежнему нет покоя. Правильно ли вообще говорить Коля-Николай? Здесь ведь кроется насмешка, она же, черт возьми, собралась личную жизнь устраивать, а это дело серьезное. И как она, интересно, выглядит? Вроде посетители выставки не таращатся на нее, значит, внимания не привлекает…

Астроном появляется минута в минуту, шутит, что привык к пунктуальности благодаря швейцарским часам. А ты себе швейцарские приобрел? Ну, конечно, и не только себе! Когда из кармана куртки появляется коробочка красного сафьяна, Вера уже знает: там тикающий механизм, чья точность стала легендой. А точность — это что-то противоположное хаосу, так что, Веруня, соответствуй подарку.

— Сразу надеть не хочешь? — спрашивает Николай (вот как надо к нему обращаться). Но Вера смущенно прячет коробочку в карман.

— Лучше потом. Тебе спасибо огромное, и… Пойдем на выставку.

Они изучают экспозицию дежурно, по ходу блужданий среди «объектов» делясь новостями. Точнее, делится Николай, Вера помалкивает. Иногда она переспрашивает, кивает, и вдруг мысль: она же может встретить кого-то из знакомых! А поскольку рассылка пошла веером, те вначале удивятся безмерно, затем начнут тыкать пальцем: гляньте-ка, живая покойница! Ну, и как там, в чистилище? Не комильфо, похоже, и ты решила назад вернуться?

— Что?

— Я спрашиваю: очки зачем? И без того темнеет в глазах от этих «шедевров».

— Потому и надеваю, чтобы не видеть, — мучительно улыбается Вера. Николай машет рукой, мол, ерунда, а не выставка! То ли дело звездное небо в Альпах! Само совершенство!

Он садится на своего конька, болтает о работе в обсерватории, а Вера не понимает: что с ней творится? Вроде бы они едины во мнении: выставка — отстой! И в кафе, где отмечают встречу, у них консенсус; и дырка между зубов Николая заделана. Это значит: молодой человек помнит замечания, которые делает женщина, и наверняка будет прислушиваться к ее мнению в дальнейшей жизни. С чего она взяла, что будет дальнейшая жизнь? С того, что у нее в кармане лежит контейнер с дорогущими часиками и следующим шагом будет такая же коробочка, только с обручальными кольцами? Будет, будет, и купит их Николай, у которого бумажник раздулся от конвертируемой валюты, видно, в Швейцарии платят не слабо.

— Вы евро принимаете? — спрашивает он официантку. — Нет? Ладно, поищем русских денег.

Уловив взгляд Веры (она сняла-таки очки), он смущенно смеется:

— Извини, я тут немного Ротшильдом себя почувствовал… Это пройдет.

А она ловит себя на мысли: жаль, если пройдет. Если бы Николай оказался жлобом, было б легче. Если бы он был абсолютно уверен в своей неотразимости, она бы вздохнула с облегчением, однако Николай неуверен, робок, в общем, ведет себя безукоризненно. Он совершенен, как звездное небо в Альпах, даже интересуется делами сестры. Без фальши интересуется, то есть душа не заплыла жиром, и получается: нечем крыть. На этом светиле ни одного темного пятнышка; а вот на Вере их не счесть, она вся в пятнах, потому что — выгоревшая звезда.

Вера с ужасом понимает, что *не любит* Николая. Она тут же себя одергивает:

прекрати немедленно! Человек бросил дела, прилетел за тридевять земель, угощает, подарки дарит, а ты, тварь, ромашку устраиваешь: любит — не любит! Только врать еще хуже. И опять она чувствует себя синицей за стеклом, ослабевшей, побитой, с раскрытым в бессилии клювом.

Спустя два дня она в больнице, сидит у кровати, на которой в больничной пижаме возлежит бывший красавец. Без слез на Марко невозможно смотреть: нос распух и посинел, на губах запеклась кровь, под глазами бордовые полукружия… Видя, как тот вытаскивает из-под одеяла зеркальце, чтобы обозреть этот кошмар, Вера не может сдержать улыбки. Члены сборной тоже смеются, да и сам виновник кривит разбитые губы.

— Он провожал девушку, — поясняет Патрик, — она живет здесь, в Бирюлеве.

— А у девушки оказался парень?

— Нет, — отвечает Марко, — девушка свободная. Но квартира не была свободная, там были родители. Мне пришлось возвращаться домой…

— И возле метро к нему пристали люди, — продолжает Кэтрин. — Трое людей, они сказали… Марко, что они сказали?

— Они спросили: ты узбек? Я ответил: нет.

— А они что? — спрашивает Вера.

— А они не поверили…

Все опять смеются. В сущности, Вера не успела узнать их, зачем-то приехавших в не самую приветливую и уютную страну. Вроде бы у этого Марко русский прадед, герой Первой мировой войны, поэтому итальянец и взялся изучать язык. А предок Патрика, погибший при Дюнкерке, дружил с одним русским «маки», участником французского Сопротивления, и эта дружба аукнулась спустя десятилетия. Кэтрин (помимо феминизма) влюблена в систему Станиславского, она уже полгода не вылезает из московских театров, а Мелани интересуют обэриуты, которых она считает предшественниками литературы европейского абсурда.

Каждый из них имел свою историю, со скелетами в шкафу, с парадоксами и неожиданностями, только теперь об этом не узнаешь…

Вера решает не корчить из себя начальницу.

— Ладно, — говорит она, вставая, — приходите на экзамен, когда будете в форме.

Ей тоже предстоит экзамен. Она хотела бы профилонить, да только не получится, выгоревшая ты или нет — здесь в расчет не берется.

Дорога на экзамен длинная, надо тащиться почти до МКАД на двух видах транспорта, так что время для подготовки вроде бы имеется. И все равно времени не хватает, увы, к этому невозможно *подготовиться.*

Войдя в знакомое помещение, Вера снимает плащ, вешает на вешалку и тут же ощущает холод. В помещении тепло, охранник даже куртку расстегнул, ее же колотит, будто уселась на льдину.

— Я оденусь, пожалуй… — бормочет она. Любы нет, и Вера спрашивает: почему ее не приводят?

— А она видеть никого не хочет. И от еды отказывается, так что через зонд один раз кормили.

Представив насильственную кормежку, Вера сглатывает комок тошноты. И тут же надежда: может, ее вообще не приведут? И экзамен отложится на неопределенный срок?

Нет, в коридоре шаги, и второй цербер вводит сестру, закутанную в мамину шаль, будто в кокон. Вдруг пронзает: вылитая мать! Перед смертью та тоже куталась в ангорскую шерсть, хотела согреться и не могла.

Глаза сестры устремлены в пол, она молчит; молчит и Вера. Она всегда ждала вопросов, просьб, чтобы, отталкиваясь от них, вести беседу, а тут безмолвие. Да еще чужие глаза наблюдают за ними!

— Ты почему не ешь? — нерешительно спрашивает Вера. — И не просишь ничего…

Молчание.

— Я передала тебе крекеры, банку ананасов кольцами… Ну, как ты любишь.

И опять ее будто не слышат. Вдруг вспоминается детство, как Люба ест ананас — не консервированный, обычный, купленный на рынке. Младшая клянчит «хоть кусочек», потому что знает: сестра делиться не любит. И вдруг получает огром-

ный кусок вкуснейшей кисло-сладкой мякоти! Вера с жадностью съедает его, просит еще, и Люба опять отрезает!

— Ты моя младшая сестра, — говорит она, как взрослая, — и я о тебе должна заботиться!

— Угу! — захлебывается ананасом Вера. — Жолжна жабочичься!

— Если ты, например, руку порежешь и много крови потеряешь, я тебе свою отдам.

— Как это? — Проглотив мякоть, Вера округляет глаза. — Разве можно другому человеку свою кровь отдавать?

— Конечно, можно! Я по телевизору про это смотрела. Только не каждому твоя кровь подойдет. Вот моя тебе подойдет, потому что я твоя старшая сестра.

— Понятно... А моя тебе подойдет? Если ты руку порежешь?

— Не знаю... — сводит брови Люба. — Ты маленькая еще, у тебя кровь, наверное, неподходящая.

Теперь Вера смотрит на обескровленные руки, бледно-серый лоб, и возникает желание влить туда литр-другой своей крови, чтобы чуть-чуть пришла в себя. Тут же просыпается привычное отвращение, мол, какую еще кровь?! Да она моментально свернется в жилах этого чудовища, а может, вскипит от гнева и обиды. Но Вера не поддается отвращению, она не хочет провалить экзамен. Ну, сестра? Где «первый вопрос»?

Вопрос едва слышен, будто некогда чувственные и подвижные губы замерзли и не могут разомкнуться. Почему не принесла фотографии мальчика? Но ты вроде не просила. Ах, очень хочется... В следующий раз обязательно принесу.

Вера переводит дыхание — вроде на первый вопрос ответила. И тут звучит «второй вопрос», на который ответить гораздо труднее. Легче в очередной раз подать этой Фриде платок, после чего с чувством выполненного долга уйти навсегда. Но это значило бы безнадежно провалить экзамен, пересдать который, возможно, не дадут.

— Ты не ответила, Верочка. Это сделала... я?

— Что сделала?

— Моего мальчика... Нормана... Это я?!

В очередной раз приходится делать усилие, чтобы не раскричаться, как давно мечталось: ты! Ты, ты, и еще раз ты!

— Кто тебе такое сказал? — выдержав паузу, Вера уходит от ответа.

— Они сказали. Нет, они не говорили... Это я сама. Они принесли какие-то другие таблетки, очень противные. Ужасные таблетки, мне от них... В общем, я сама вспомнила. Сама, понимаешь?!

Вера боится смотреть в темные, полные ужаса глаза, она смотрит на руки сестры. Ладони с силой друг друга мнут, так что хрустят суставы. Кажется, эти ладони сейчас схватят собственное горло, чтобы сомкнуться на нем, но руки вдруг безвольно повисают.

— Нет, нет... — качает головой Люба, — это не так. Правда, Верочка? Это ведь не так?

Поднявшись, Вера обнимает голову сестры, прижимает к себе.

— Ведь это не так? Верочка, скажи! — Вера еще сильнее прижимает голову, горячую, будто печка. — Не так, не так, не так!

— Ты успокойся. И аспирина у них попроси, мне кажется, у тебя температура...

Рожу охранника кривит мерзкая ухмылка.

— Уйди, — тихо просит Вера.

— Не положено! — разводит тот руками.

— Уйди, я прошу. Если не уйдешь... Я тебя разорву.

В негромких словах столько ярости, что цербер машет рукой: ладно, не очень-то интересен базар. И, постучав для солидности по часам, мол, соблюдаем хронометраж, скрывается за дверью. А Вера не знает: что говорить? Как успокаивать? Ей всегда было легче исполняться ненавистью и сарказмом, тут же требуется утешить, и кого?!

Через час она возвращается домой, с трудом вспоминая подробности свидания. Она выдала какую-то святую ложь, едва не поклялась в том, что память подводит

сестру, мальчик жив, он просто болеет! Нет, качала головой Люба, он не может болеть, он сам был целителем! А значит, вылечил бы себя запросто, если бы потребовалось! Вера, не раздумывая, приводила новые аргументы, врала, как дышала, лишь бы успокоить те самые руки, желающие сжать собственное горло.

Она так и не поняла, сдала ли экзамен. На секунду ей показалось: у них действительно единая кровеносная система. Было ощущение (хотя Вера выгнала охранника), что в углу стоит кто-то невидимый и, как в давнем сне, выводит мелом на стене: ФАРМАЦЕВТА НЕ НАДО. Но это быстро прошло, она опять окунается в яростную московскую жизнь, и хрупкое незнакомое чувство куда-то улетучивается.

17. Последний сон

Игрушечная карусель выглядит, как аттракцион для самых маленьких, хотя на лошадках и слонах сидят взрослые персонажи. О-о, Сэм! Как твои дела? Установил плиты на могилы? Установи, пожалуйста, нельзя жить с кладбищем на балконе! Роман, привет! Перевез урожай домой? Перевози скорей, пока сволочи-паразиты его не своровали! Петр с Зоей сидят на верблюде, а бегемот везет Галку, которая показывает большой палец: лучше, чем на трейлере! Толик же едет на пятнистой лошадке, в нетерпении хлопая по бокам ногами. Или протезами?

— Ногами! — счастливо кричит Толик. — Они у меня выросли, в Зоне и не такое случается!

Но что это? Карусель вращается сильнее, еще сильнее, и животные уже проносятся так быстро, что не понять: где лошадь? Где верблюд? Среди мелькающих лиц вдруг замечаю Франца. Потом мелькает его бывшая супруга, а вот и Норман, вцепившийся в холку непонятного зверя. Волосы мальчика развеваются, он не удерживается и падает! Центробежная сила тащит его к краю, он слетает с бешено вращающегося круга и...

Этот сон снится в подмосковной сосновой роще — среди стволов уже проглядывают огромные многоэтажные дома на горизонте. Вопреки ночным холодам я раскинул спальник на желто-коричневой хвойной подстилке и, проснувшись, не спешу из него вылезать. Вот он, город-цель, город-финиш, город-завершение. А любое завершение всегда грустно, поэтому подсознание и посылает странные сны, уносящие меня в прошлое.

Вчерашнее послание Гюнтера тоже было приветом из прошлого. Как всегда, он начал со своих приключений, и вдруг новость: Франц выбрался из дому! Они уже дважды пили пиво в баре на окраине (брат не хочет показываться в центре), и Гюнтер пытался пробудить у того интерес к жизни. А именно, зазывал Франца на очередную акцию куда-то в окрестности Парижа, где американцы (шайзе!) собирают бездельников всей Европы, чтобы поддержать свое присутствие в Афганистане. Безработных румын, сербов, поляков, русских и прочих шайзе-людей, проживающих в Европе, привозят на митинги за небольшой гонорар плюс оплата проживания, а это ведь политическое шулерство! Надо протестовать! И хотя Франц пока не проявил энтузиазма, Гюнтер надеется его растормошить.

Прочитав об этом, я вдруг вспомнил скандал в магазине, когда брат спас меня от позора. Он уже подрабатывал, я же был школьником, и как-то перед Рождеством Франц предложил зайти в недавно открывшийся магазин оригинальных сувениров — купить подарок матери. Там были часы, встроенные в огромную морскую раковину, вазы в форме древесных стволов, настольные лампы с плафонами в виде земного шара... Земной шар, собственно, меня и подвел. Разинув рот, я озирал прозрачные материки, потом решил взять планету в руки, и вдруг — бум-мс! Земной шар разлетелся на мелкие осколки! Я втянул голову в плечи, а вокруг уже собирались продавцы. Вскоре и хозяин появился, он потребовал компенсацию, что повергло меня в ужас. Мне было стыдно перед братом, тот зарабатывал немного, и нам наверняка не хватило бы на подарок.

Внезапно я увидел перед собой спину Франца, и раздался его уверенный голос: покажите, пожалуйста, страховые документы. Да, да, предъявите их, я знаю: товары

должны быть застрахованы! С ним не стали спорить, Франц попал в яблочко, а я вздохнул с облегчением.

Франц всегда двигался на полшага впереди, я постоянно чувствовал его защиту. Но лишь теперь я мог с уверенностью сказать: я не нуждаюсь в защите, брат. Если тебе плохо, я сам смогу тебя защитить!

Солнце встает над небоскребами Ново-Переделкино (если верить карте), предлагая последний сон под названием «Москва». Я знаю твою жизнь, мегаполис, потому что сам горожанин и был во многих мегаполисах мира. Ты ползешь в пробках, отравляя воздух миллионами выхлопных труб, давишься в поездах метро, сидишь у компьютеров, выбегаешь подышать из офиса, наскоро съедаешь ланч, ходишь с тележками вдоль прилавков мегамаркетов, продаешь, покупаешь, богатеешь, разоряешься, рождаешься, стареешь и умираешь. И в то же время ты — сон той страны, которую я прошагал пешком. Страна видит тебя в сновидениях, грезит тобой, когда же просыпается — терпеть тебя не может. Да, да, я слышал такое не раз! Ты греза своей страны, Москва, и ты же ее кошмар. Я бы, возможно, обошел тебя по окружной и отправился дальше, к Уралу, но мне надо зайти внутрь, так что принимай, мегаполис, незваного гостя.

Во сне под названием «Москва» я вижу кратер вулкана. Остальная страна пребывает в полудреме, а здесь бурлит раскаленная лава из людей и машин. Чтобы не обжечься, я лишь изредка выбираюсь из гостиницы для иностранных гостей, хотя даже здесь я — особенный.

О моей *особости* свидетельствуют удивленные взгляды и глупые вопросы здешних жителей. Я не хочу отвечать на эти вопросы. И облик менять не хочу, я к нему привык, поэтому в магазине армейской одежды покупаю новые брюки защитного цвета взамен выцветших и дырявых.

— Для чего такая одежда? — задают очередной вопрос. — Для экстремального туризма?

Я на общей кухне, готовлю кофе в компании с французским юристом Патриком. Вчера он сказал, что не успел побывать в русской провинции, и задал еще один глупый вопрос: в их «глубинке» соблюдается законодательство? Когда я ответил, что там свои законы, юрист долго морщил лоб: какие свои? Не федеральные, а региональные?! Я же усмехался, чувствуя превосходство над жителями гостиницы, которые уже паковали чемоданы. Их набивали плотно, домой увозились книги, сувениры, купленные вещи, так что я помогал закрывать переполненные кофры.

— Спасибо, thank you! — благодарила рыжая англичанка Кэтрин. — А вы остаетесь? Это неплохая гостиница, в номерах есть холодильники и даже телефоны. Если имеете проблемы с языком, можно на специальный курс записаться, такую услугу предлагает руководство. Наша преподавательница, правда, уволилась после экзамена, но они нового человека будут нанимать.

— А почему она уволилась? — спросил я.

— Не знаю. Она вообще была странная. Я не смогла ее понять, если честно.

Устроивший меня в гостиницу Вальтер тоже сказал: приняла экзамен, забрала документы и растворилась в многомиллионном городе. Есть ли возможность ее найти? Попробовать можно, но гарантий никаких.

Пока пью кофе, Патрика сменяет Мелани. Поприветствовав меня, полноватая уроженка Гааги ставит воду на газ, достает пасту и банку соуса «Болоньезе». Итальянские пристрастия в еде объясняются, когда за стол усаживается черноволосый человек с пластырем поперек носа. Его лицо, по замыслу правильное, даже красивое, сейчас — асимметричное и помятое. Человека зовут Марко, он настороженно ловит мою реакцию (красавцы уязвимы!), но Мелани целует его в макушку, и тревожность улетучивается. Все просто: надо, чтобы тебя любили, остальное не важно.

Об этом беседуем вечером с Вальтером, чей кофр тоже упакован и стоит в углу, дожидаясь такси.

— Я не сумел полюбить эту жизнь, — говорит Вальтер. — Полгода здесь прожил, книгу написал, а полюбить не сумел. Как думаешь, это плохо?

Я пожимаю плечами.

— Человек, который учил меня языку, говорил так: «Сердцу не прикажешь». Это русская пословица, знаешь ее?

— Знаю, наша преподавательница приводила такой пример. Жаль, что она пропала. Я приглашал ее на конференцию Mensa, но... Вряд ли она придет. Дать тебе приглашение? Я все равно не успею, утром самолет.

Приглашение беру лишь из уважения к приятелю. Ему легче, он выполняет долг, тут ничего личного. У меня же только *личное*; а человека нет, и эта горечь отравляет мою победу.

О чем бы я с ней говорил? О километрах, оставленных за спиной? О поездке в Зону? О церковных чудесах? О женщине по имени Галка (хотя это крайне деликатная тема)? Разумеется, мы говорили бы о моем брате и ее сестре, но прежде этого я рассказал бы, как недавно ночевал в лесу, уйдя подальше от шумной М1, и был разбужен непонятным резким звуком. На шоссе, что виднелось сквозь кустарник, царила суета, один за другим тормозили автомобили, и я, высвободившись из спальника и наскоро одевшись, поспешил туда же.

Автомобиль красного цвета, задрав капот, лежал в кювете. Для того, кто шагает вдоль трассы, аварии привычны, эта часть дорожного пейзажа сродни километровым столбам. Поразило иное — как суетились вокруг разбитой (сильно разбитой!) машины люди, как они вынимали пострадавших через проем, зиявший вместо заднего стекла, как рассаживали их по машинам, доставали аптечки, оказывали помощь, отключали аккумулятор... В этом пустынном месте образовался целый автомобильный лагерь: грузовик, два трейлера, полдесятка легковых машин; и другие машины останавливались, оттуда высовывались люди, спрашивали, не нужно ли вызвать эвакуатор? Дорожную милицию? Как-то иначе помочь?

Больше всего поразила крошечная женщина с большим животом: она вылезла из своей малолитражки и, подхватив баллон с водой, поспешила к пострадавшим.

— У меня есть вода! Вот она!

Она взялась обрабатывать раны молодой девушки в шортах, которую вытащили из машины. Кажется, среди пострадавших были еще ее отец и мать, отделавшиеся синяками, в то время как по ногам девушки стекали струйки крови.

— Да тут ничего серьезного! — воскликнула беременная крошка. — Одни царапины!

— Повезло... — переговаривались в толпе. — Такой удар — и только расцарапанные коленки!

— Да они вообще в рубашке родились! Я сзади ехал и видел: еще секунда, и их бы под колеса трейлера затащило!

Я же думал, что повезло мне. Я бродил среди этой суеты и вопреки чудовищной ситуации с каждой минутой становился спокойнее. Я был похож на ребенка, жившего в животе той беременной — плод защищен, ему ничто не грозит. Я помог поднять машину, чтобы извлечь из-под нее вылетевший из багажника чемодан, потом искал в кустах компрессор, и все это время пребывал в каком-то странном покое.

— Пить не хотите? — приблизилась ко мне беременная.

— Спасибо, не хочу.

— Представляете, а ведь на их месте могла оказаться я! Когда увидела, как этот большегруз стало заносить, чуть не родила, ей-богу!

Она счастливо засмеялась, я же с интересом разглядывал ее живот.

— Извините, а вам... Не страшно рожать?

— Мне?! Да вы что! Знаете, сколько я эту беременность ждала? Мне по трассе ездить страшно, я ведь сама за рулем. Хотя теперь вижу: можно не бояться — помогут.

Подумав, я вдруг сказал:

— Вы — люди.

— В каком смысле? — не поняла беременная.

— В самом простом. Вы обычные люди.

Чтобы это понять, не требовались спутники, вот почему они меня оставили. Или я их оставил на одном из пройденных километров? Мои мысли обрели ясность и простоту, и я надеялся: впереди меня ждет нормальный собеседник (собеседница?), из плоти и крови, мне есть что сказать! А если не с кем поделиться размышлениями — какой смысл в ясности и простоте?

18. Эпилог

Я всегда представляла сестру прагматичной самкой, одной из безликих особей женского пола, желающих прыгнуть из грязи в князи. Я гомерически хохотала и тыкала пальцем (мысленно): смотрите, *кто* лезет в Европу, как тараканы на кухонный стол! На столе ну очень жирные крошки, за них эти ничтожества и продают детородный орган, потому что ничего за душой не имеют! Нанюхавшись феромонов, европейские лохи распахивают души и кошельки, и тут — хоп! Попался, который кусался? Однако жизнь корректирует представления. «Взгляни на себя, — говорила жизнь, — только не предвзято, честно взгляни. Ты же никогда не умела смотреть на мужчину с нежностью; да и проявить эту нежность не умела. А сестра умела, и взгляды, которые она в лучшую пору дарила Францу, ее ласковые прикосновения вовсе не были лицемерием. А как она защищала мужа, когда его кто-то критиковал? Бросалась в бой, будто тигрица, забывая, как она выглядит, не боясь показаться неумной. Ум и любовь — понятия далекие, хотя ты, конечно, не желала верить в любовь этой пары. Так глухой не желает, чтобы другие наслаждались божественной музыкой Моцарта. Завидно ему, глухарю, он лучше скажет: ваш Моцарт — химера, выдумка, изобретенная для унижения таких, как я! И страдать Люба умела, пусть даже сердце разрывало страдание по двум хахалям сразу».

— Не знаю, что делать с этим Юргеном… — делилась она переживаниями. — Он женатый, понимаешь? А я не хочу рушить его семью!

— Тогда остановись на Ласло, — пожимала я плечами (тоже мне проблемы!), — он вроде свободен.

— Ласло я не так сильно люблю. Юрген — он такой… Он сам готов бросить семью, только строить жизнь на чужом несчастье…

Случалось, она рыдала из-за этого, я же смертельно завидовала ее переживаниям, скрывая зависть за насмешливостью. Сестра на удивление быстро все поняла.

— У тебя по-женски что-то не в порядке, — сказала как-то Люба.

— Почему это? Цикл у меня нормальный, и с остальным проблем нет.

— Цикл у тебя нормальный, у тебя здесь проблемы.

Она приложила руку к левой стороне груди.

— Что ты имеешь в виду? — скривилась я.

— Ты никого не любишь. Ты ненавидишь всех, как наш папаша.

Спустя несколько лет я могла бы вернуть сестре должок, мол, чья бы корова мычала. Не смей, утратив человеческий облик, вякать о любви и нелюбви! Но чужие прегрешения не делают никого лучше, мне и впрямь проще и удобнее было выставлять шипы, ощериваться на жизнь и людей, нежели распахнуть сердце навстречу.

Сегодня я тоже выставляю шипы: достав из кармана глянцевый картон с надписью MENSA, хочу разорвать его в клочки, как рвала когда-то «записки из «мертвого дома»». Потом все-таки открываю приглашение и читаю: «Вас приглашает на конференцию некоммерческая организация, чьи отделения имеются в 50 странах мира, а количество участников превышает 100 тысяч человек. В программе: выступления, сообщения, демонстрация феноменов, причем целый день будет посвящен одаренным детям». На задней стороне картона — фотографии отцов-основателей и логотип: квадратный стол с тремя ножками. «Почему с тремя? — подогреваю раздражение. — Что за выпендреж?!»

Бросив приглашение на пол, падаю лицом в подушку. Не хочу никуда идти, хочу лежать, обездвиженная, обиженная, брошенная… Что еще делать той, у кого в груди ледышка? Разве сможет ваша некоммерческая организация ее растопить? Да, вы обладаете высочайшим IQ, у вас необычные способности, но сердцу не прикажешь, хоть это вы понимаете?

Уставший мозг наконец отключается, погружаясь в сумеречную дрему. Из сумерек выплывает Коля-Николай, точнее, уплывает на кораблике, который вот-вот отчалит.

«Если посмотреть на нас из космоса, — говорит он, — то цивилизация предстанет чем-то очень тонким, едва заметным. Сами себе мы кажемся важными и могучими, на самом же деле это что-то вроде плесени на поверхности планеты. Если вообразить некую космическую тряпку, то нас можно стереть в два счета! Однако плесень разделяется на части, выискивает разницу, гордится и кичится: я лучше

всех! Нет, я лучше! А тогда, быть может, нас действительно нужно стереть к чертовой матери?»

«Может быть, — говорю, отвязывая веревку, на которой держится кораблик. Коля удаляется от берега, отчаянно ломая руки, мол, подожди, еще не договорили! — Не надо этого разговора в пользу бедных. Я тебя не люблю, и вообще никого не люблю. А потому согласна, чтобы меня стерли. Если стерли Нормана — а это было единственное человеческое существо, к которому я привязалась, — то чем я лучше?»

Кораблик удаляется, уплывает в темноту, последнее, что я слышу:

«Нормана не стерли! Слышишь?! Не стерли!!!»

Первые два дня Курт методично обходил кабинеты и конференц-залы, внимательно разглядывая участниц женского пола. Уловив малейшее сходство и преодолев робость, он задавал вопрос: извините, вас зовут Вера? В ответ звучало «нет» («но», «ноу», «найн»), называлось имя: Лариса, Соня, Джоан; некоторые предлагали познакомиться, но Курт отходил в сторону.

Сегодня он не задает вопросов, он ищет глазами Филиппа. Один из новых знакомых, Филипп играл роль Вергилия: таскал Курта по интересным (на его взгляд) мероприятиям, охотно отвечая на любой вопрос.

— Откуда название? По латыни mensa — это стол или, если хочешь, застолье. А mens — разум. Так что получается вроде как игра слов, типа неглупые люди собираются за одним столом. С другой стороны, на голландском mens — это человек, а в некоторых странах Латинской Америки mensa означает… Ты не поверишь — дура!

Филипп смеялся, опираясь на инвалидную палку и изгибая и без того искривленную фигуру. Он перенес в детстве полиомиелит, но был очень подвижен, и в этом общественном центре без лифта на удивление быстро поднимался-спускался по лестницам, перемещался по залам, успевая что-то разъяснять, с кем-то здороваться и перебрасываться репликами на разных языках. Их он знал не меньше десятка, имел два университета за плечами и обладал каким-то запредельным IQ.

Курт поднимается на третий этаж, спускается на второй, но Филиппа не видит. Зато видит Грегори Смита в окружении журналистов — юный претендент на Нобеля дает интервью. Сегодня их день, с утра до вечера в центре внимания будут пребывать именно дети, многие из которых любому взрослому дадут сто очков вперед. Внезапно сердце начинает учащенно биться и летит куда-то вниз. Норман?! Его портрет висит перед одним из конференц-залов, рядом табличка, оповещающая о докладах здешних корифеев, и все доклады — о нем!

Внезапную радость глушит печаль — портрет обведен траурной каймой. Изображение начинает расплываться, дрожать, то есть из Курта опять вылез сентиментальный немец.

— Эй, привет! — Филипп появляется сверху, он уже поучаствовал в одном семинаре и готов бежать (ковылять?) дальше. — Как, впечатляют юные дарования? Они сегодня главные звезды: и этот Грегори, и Акрит Ясвал… Представляешь, Акрит свою первую хирургическую операцию в семь лет провел! Стоял на подставке, потому что роста не хватало, и оперировал! Что это с тобой? Ты вроде расстроен?

— Все нормально, — говорит Курт, отворачиваясь, — не обращай внимания.

Филипп разглядывает траурное фото.

— А-а, понятно! Да, жалко мальчишку, он такие невероятные способности демонстрировал… С ним страшная история произошла, знаешь об этом?

Курт отрицательно мотает головой.

— Рассказать?

Жест повторяется.

— Ладно, потом как-нибудь. Ты куда — сюда? Тогда я на первый этаж, там семинар интересный. Встретимся в перерыве!

Он не решается войти туда, где пожилые, взрослые и совсем юные говорят о маленьком человеке, которого Курт знал и, без сомнения, любил. Он слушает через приоткрытую дверь (в центре душновато, и двери держат открытыми). Надо же, как долго можно говорить о совсем короткой жизни! Хорошо известная, эта жизнь опять проходит перед Куртом в деталях, обогащенная подробностями, предположениями, курьезами, так что в зале иногда вспыхивает смех. Потом все замолкают, слышится стук отодвигаемых стульев, и Курт понимает: минута памяти.

В перерыве обсуждение выплескивается в коридор. Не всегда понимая разно-

языкую речь, Курт ловит отдельные суждения, с чем-то соглашается, чему-то возражает, но в полемику не вступает.

— Ты подумай: разве мы их достойны? Этих феноменов? Мы, живущие здесь, на Западе, в Китае — где угодно! Разве не проиграли мы все, что было когда-то дано? Проиграли вчистую, а теперь взываем к этим необычным детям: спасите нас! Помогите выбраться из задницы, в которую мы сами залезли! А что ж вы этому мальчишке не помогли? Что ж не уберегли?

Когда-то он считал, что лучше других знает мальчика, значит, имеет право выносить оценки. Увы (или к счастью?), это право растворяется в гудящем от слов воздухе, и приходит понимание: Норман принадлежит всем.

Курт еще раз озирает людей, что поодиночке и толпами перемещаются вверх-вниз, и надевает желтую панаму. По словам Филиппа, панама хорошо выделяется в толпе, ее можно надевать как опознавательный знак, когда друг друга ищешь.

Отвыкнув от многолюдья, я теряюсь в этом новом Вавилоне. Языки, лица, запахи сводят с ума, а главное, тебя постоянно толкают! Надо же было угодить на перерыв, когда участники конференции высыпали в коридоры и снуют взад-вперед!

Самые опасные — юные участники, пролетающие мимо подобно кометам. Что поделать: сегодня их день, вот почему на плакатах и баннерах — сплошь физиономии детей. Я, увы, давно выросла из коротких штанишек, поэтому чувствую себя неуместной деталью механизма, работающего по своим непонятным законам.

Приблизившись к кофе-автомату, выбираю капуччино, опускаю монеты, но тупое железо отказывается меня обслуживать. В раздражении жму кнопку возврата монет, и опять фиаско! Мне хронически не везет, так что зря я сюда притащилась. Это вообще верх нелепости — надеяться встретить среди тысяч людей того, чье лицо почти не помнишь. Какое-то старое фото встает перед глазами, но подробности смазываются, растворяются в этом невероятном многолюдье.

В бессилии, готовая заплакать, стучу по ненавистному автомату, олицетворяющему мои несчастья. И тут реплика сзади:

— Не надо его бить. Этот автомат не работает. Работает тот, что этажом выше.

На меня с усмешкой взирает некто, изогнутый буквой «зю» и опирающийся на костыль.

— Спасибо, — бормочу, — не очень-то хотелось...

Пауза, затем калека со вздохом произносит:

— Ладно, держитесь меня. Похоже, обслуживать неофитов — моя судьба.

Он на удивление шустро передвигается по лестницам, я едва за ним успеваю. Когда преодолеваем два пролета, провожатый говорит:

— Ничего, вы скоро освоитесь! — и указывает вперед. — Видите того человека в желтой панаме? Это мой немецкий знакомый. Два дня назад он тоже абсолютно не ориентировался здесь, а сейчас в курсе всех дел!

Обладатель панамы замечает нас издали, когда же приближаемся, вперяет в меня взгляд, в котором мешаются удивление, радость, смущение и еще что-то непонятное. Почему он *так* смотрит? Прямо поедает меня глазами; потом снимает свою дебильную панаму и неуверенно ею машет.

Только глупый немец может так вырядиться. Глупый, сумасшедший, не понимающий, насколько абсурдно пешее путешествие по бескрайней восточной стране, короче, второе издание Франца, хотя внешне они не похожи. С чего я взяла, что это брат Франца? Чутье подсказывает, нервы, натянутые звенящей струной, поют ноту: он! Он, он, он! И хотя вполне можно повернуться и уйти, я не ухожу. Если хватило сил не оттолкнуть сестру, хватит их и сейчас.

— Да, мы же не познакомились! — хлопает себя по лбу калека.

Я снимаю темные очки, что дается с немалым трудом. Ну, вот, теперь шаг вперед. Нет, два шага. Осталось лишь протянуть руку и сказать:

— Здравствуйте. Меня зовут Вера.

Санкт-Петербург — Мюнхен, 2010

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Владимир Дегоев

На пути к неизбежному

Крым и Российская империя, 1774—1783 гг.

С 1991 года в мировой гуманитарной науке резко актуализировался интерес к изучению феномена империи. Уж коли такой казавшийся незыблемым колосс, как СССР, рухнул в одночасье, то, значит, подобные геополитические сооружения приговорены к гибели самой историей. К такому выводу пришли многие интеллектуалы. Поначалу. А потом, когда они перевели ликующий или печальный (это уж у кого как) взор с дымящихся обломков советской империи на окружающий мир, то обнаружилось, что продолжают жить, процветать, диктовать свою волю США, Европейский союз, невиданными темпами поднимаются к статусу могущественных держав Китай, Индия, Бразилия... Да и Россия, оказывается, осталась самым крупным по территории и природным богатствам государством, сохранившим и огромный потенциал, и реальные преимущества в некоторых отраслях экономики и обороны.

Возник вопрос: как назвать эти государства? Сдается, что под какое-то из существующих многочисленных определений «империи» они — в той или иной степени — подпадают. Правда, официально именовать себя так в XXI веке вроде бы неполиткорректно. Выход из положения легко нашли как всегда ни за что не отвечающие журналисты, которые совершенно вольготно употребляют слово «империя», зачастую притворяясь, будто это — метафора, но понимая скрытый за ней смысл.

Разумеется, изучать империи вне исторического контекста невозможно. И тут начинается, пожалуй, самое любопытное. По крайней мере, такое ощущение возникает, когда читаешь некоторые работы наших российских исследователей. Крушение Российской империи в 1917 году они считают математически закономерным явлением (что это великое благо, вообще не вызывает у них ни малейших сомнений). Отсюда исключительно высокая (если не сказать маниакальная) концентрация профессиональных усилий на выстраивании доказательств изначальной нежизнеспособности, мертворожденности, патологичности русского государства, якобы стоявшего вдалеке от столбовой дороги европейской (других, конечно, не существует) цивилизации.

Но дело даже не в этом. Ремесло историка обязывает его придерживаться хотя бы элементарной логики. А логика подсказывает: если гигантский государственный организм разрушается в соответствии с определенными историческими законами (предположим, они существуют), то, стало быть, возникать и развиваться он тоже не может вопреки этим законам. А то ведь получается, что в русско-российской истории естественны и органичны (слова С.М.Соловьева) только ее неестественность и неорганичность (а это уже совсем не Соловьев), якобы бросающиеся в глаза на фоне мирового исторического процесса. «Особенную стать» Российской империи многие видят в ее чуть ли не спортивной страсти к завоеваниям, ксенофобии, культурном неприятии «чужого», фанатичном стремлении искать свой путь и т.д. Этому мифу столько же лет, сколько и западной русофобской традиции. Разделять ее или нет — вопрос вкуса в одних случаях и гражданской совести — в других.

Продолжение цикла очерков. Начало см. «ДН», 2011, № 4, 7.

Речь не о симпатиях и антипатиях. А о чем же? Так и напрашивается: «...а о строго научном подходе». Но, по большому счету, и не о нем тоже. У автора куда более скромная цель — предложить тем, кому попадется на глаза этот текст, спокойно, без великодержавного экстаза или пафосного покаяния, взглянуть на отчасти уникальную, отчасти банальную историю рождения и становления Российской империи, которая, обзаводясь новыми территориями, действовала, как показывает пример с присоединением Крымского ханства, гораздо аккуратнее и милосерднее, чем другие великие державы в аналогичных ситуациях.

* * *

Крымское ханство исторически было проблемной территорией не только для России, что понятно, но и для Османской империи. Беспокойный и строптивый вассал, оно создавало для Стамбула массу хлопот своими междоусобными распрями, на которые султану приходилось отвлекать значительную часть своего внимания — чем дальше, тем больше. Частые отстранения от власти одного хана и выборы другого происходили под давлением целого комплекса обстоятельств как внутриполитического, так и внешнего происхождения. В эту ставшую рутинной процедуру активно вовлекалась правящая верхушка Турции, придавая и без того сложным, с сильной примесью межличностного фактора, крымско-османским интригам еще более запутанный характер. Вмешиваясь в дела вассального государства с целью приведения их в элементарный порядок, Порта фактически достигала обратного результата — усугубляла симптомы наступавшего там хаоса. У султана была одна забота — поскорее выдать инвеституру новоизбранному хану и получить хотя бы на какое-то время передышку от бахчисарайских проблем.

Но и обойтись без Крыма Стамбул не мог никак. Сложившаяся в течение нескольких столетий традиция вассально-сюзеренных отношений между ними лишь отчасти объясняет этот императив. Главное — в другом. Крымское ханство играло роль важнейшего геополитического филиала Османской империи в Северном Причерноморье, позволявшего контролировать громадное пространство южной Евразии. Добровольно расстаться с таким ресурсом означало осознанно пойти на демонтаж имперской конструкции. До (приблизительно) 70-х годов XVIII века Порта была к этому не готова, хотя есть основания предполагать, что уже в 30-е годы она не исключала возникновения такой ситуации, когда придется взвешивать на самых строгих весах — весах судьбы — выгоды и издержки владения Крымом.

Политические итоги войны

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. стала естественным катализатором тех процессов, которые шли в Крымском ханстве уже давно и не сулили ему, с точки зрения сохранения государственности, ничего хорошего. Острейшие внутриусобицы разбушевались там еще до наступления русской армии. В условиях, когда ханская власть уже мало что значила, борьба за нее продолжалась по инерции. Порта не знала, на ком из претендентов остановить свой выбор. Их количественный избыток обесценивался дефицитом качества. Жаждущих властвовать было сколько угодно. Не было способных властвовать в ситуации всеобщего кризиса, усугубляемого войной.

Крымское войско уже забыло о своем прямом предназначении, расколовшись на группировки и превратившись в орудие борьбы за ханский престол, в которой воины растрачивали свой боевой дух, и без того не высокий.

Подлинным бичом крымского государства стал сепаратизм — один из традиционных источников и неотлучных спутников центробежных процессов в сложносоставных политических образованиях. Возглавили «сепаратистское движение» ногайцы, основное население Северного Причерноморья от устья Дуная до Кубани.

При всем хаосе, имевшем место в Крыму, нельзя сказать, чтобы в сознании местной политической элиты вообще отсутствовали идеи о спасении государства.

Правда, эти идеи, содержавшие прямо противоположные варианты этого самого спасения, не сплачивали, а лишь углубляли раскол. Одна из них многим показалась вполне здравой и перспективной. Суть ее заключалась в том, чтобы «клин вышибать клином», то есть сохранить государство путем нейтрализации внутриполитического (того же ногайского) сепаратизма внешнеполитическим. Иначе говоря, провозгласить полную независимость Крымского ханства от Османской империи и признать в качестве верховного сюзерена Россию.

При таком раскладе Петербург, как надеялись определенные силы в Бахчисарае, окажется заинтересованным в восстановлении прежних границ Крыма, возвращении под ханский скипетр ногайцев, поддержании единства, целостности и внутренней стабильности в новом вассальном государстве.

Этот проект вызвал энтузиазм у значительной части крымской знати, и она стала отдавать предпочтение тем кандидатурам на ханский престол, которые ориентировались на Россию.

Идея приглянулась и Екатерине II, но о том, как развивать ее дальше, императрица пока не имела четкого представления. Лишь в исторической ретроспекции может возникнуть впечатление, будто столь трогательная забота государыни о едином и неделимом Крымском ханстве была не более чем временная, частная жертва во имя большой стратегической цели — присоединения Крыма к России и полного упразднения его независимости. Если у нее были такие планы, то появились они гораздо позже под влиянием обстоятельств, о которых мы и намерены говорить.

Торопить события императрица явно не хотела. И, похоже, правильно делала: они и без ее участия развивались стремительно. В Бахчисарае переворот следовал за переворотом. Стамбул и Петербург не успевали даже следить за этим, и порой трудно было сказать, кому из них Крым доставлял бо́льшую головную боль. «Ханы на час», за редкими исключениями, не обременяли себя сложными политическими расчетами, а их житейские планы вообще ограничивались принципом «после меня — хоть потоп».

Это создавало огромные неудобства и для России, и для Турции. Каждой стороне требовался на ханском троне не просто свой ставленник, а правитель хотя бы с минимальными способностями к организации чего-либо еще, кроме разворовывания казны и нескончаемых оргий в Бахчисарайском дворце.

Для Порты обстановка становилась вовсе критической от того, что число ее сторонников в крымском обществе быстро сокращалось по мере приближения русских войск, сопровождавшегося умелыми действиями русской дипломатии. В результате среди населения Крыма практически не осталось желающих воевать против России. Летом 1771 года ее армия беспрепятственно заняла ключевые стратегические точки полуострова.

И «верхи», и «низы» местного общества не только не оказали сопротивления, но и восприняли русских с облегчением и надеждой на то, что в Крымском ханстве прекратится беспорядок и наступит нормальная жизнь. Власть в Бахчисарае перешла в руки ставленника России Сахиб-Гирея II (1772—1775 гг.).

К концу осени 1772 г. почва для юридического оформления новой политической реальности в крымском вопросе была готова. 1 ноября в городе Карасу Сахиб-Гирей и русский представитель генерал Е.А.Щербинин подписали два документа: Декларацию об отделении Крыма от Османской империи и Союзный договор между Россией и Крымским ханством. Согласно этим актам, Крым провозглашался «независимой татарской областью» с полной внутренней автономией в вопросах власти, управления, «всех вообще законов и обрядов». В эти вопросы — в первую очередь касающиеся правил и процедур избрания хана — не имели права вмешиваться ни Петербург, ни Стамбул. Вместе с тем Россия брала на себя роль гаранта татарской «вольности» и обязательства по ее защите. Для выполнения этих функций в распоряжение русских войск передавались крепости Еникале и Керчь.

В статье третьей Союзного договора указывалось, что «все татарские и черкесские народы», находившиеся до войны в зависимости от крымского хана, возвращаются под его власть. Это был щедрый (пусть и временный) подарок для фактически

уже распавшегося государства, неурочную и неподготовленную гибель которого Екатерина II считала совершенно невыгодной для себя.

Немудрено, что султан Мустафа III решительно отверг русско-крымское соглашение и предпринял попытку восстановить свое влияние в ханстве. Он выдвинул на ханский престол своего приближенного — Девлет-Гирея, дал ему денег, большое войско и послал на Тамань. К кабардинским и дагестанским владетелям были направлены турецкие эмиссары с дорогими подарками и султанскими грамотами, призывавшими сплотиться в военный союз против России.

В марте 1774 года корпус Девлет-Гирея выступил из Тамани на восток и начал не столько вести, сколько имитировать военную кампанию. Помимо прочего, ему надо было оправдать в глазах Порты внушительные средства и силы, предоставленные в его распоряжение.

Встреч с русскими войсками Девлет-Гирей явно не искал. Он сосредоточился на карательных экспедициях против ногайских, черкесских и кабардинских союзников России, чтобы примерное их наказание стало острасткой для тех, кто искусится дружбой с гяурами. В июле-августе 1774 г. османско-крымские войска были разбиты и изгнаны из Кабарды.

Новый турецкий султан Абдул-Хамид I (1774—1789 гг.), сменивший умершего в 1773 году Мустафу III, счел за благо подписать мирный договор с русскими, на который его предшественник упорно не соглашался. Это произошло 10 (21) июля в османской (болгарской) деревушке Кючук-Кайнарджи.

Обе стороны признавали независимость Крымского ханства почти в тех же формулировках, что содержались в договоре, заключенном в Карасу. Применительно к Северному Кавказу это означало, что территории Кубанской орды, располагавшиеся на востоке от Азовского моря между реками Кубань и Ея, включая Таманский полуостров, оставались под юрисдикцией крымского хана. Хан получил право распоряжаться подвластными ему землями по своему усмотрению, в том числе — передавать их России.

Проблемой номер один был получивший после договоров 1772 и 1774 годов «независимость» Крым. В таком статусе он, как подозревали многие, будет доставлять России и Турции не меньше, если не больше, хлопот, чем раньше. В исторически необратимую фазу анархии и распада государственности Крым вступил уже давно. «Независимость» лишь ускорила течение этого злокачественного процесса.

Кроме того, Петербург, похоже, не заметил, какую ошибку он допустил, оставив в вышеуказанных соглашениях пункт о праве турецкого султана сохранить свое главенство в духовных делах ханства. Учитывая, что ислам — не только религия, этот пункт по существу официально санкционировал вмешательство Порты в крымскую политику, чем та не преминула воспользоваться к вящему неудовольствию Екатерины II.

Смысл сделанной Россией «уступки» образно растолковал один бахчисарайский источник (70-е годы XVIII века), заметив, что, согласно духу этих двух русско-турецких договоров, положение любого хана «будет похоже на состояние человека, у которого над головой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий всякую минуту его задавить».

Однако и без этого дамоклова меча ситуация в Крыму уже прошла «точку невозврата» и неминуемо приближалась к краху. Последствия «независимости» не заставили себя ждать. Усилились смута, хаос, борьба за власть, невзирая на то, что, по свидетельству османских хронистов, «ханское звание потеряло всякий смысл». В одном историческом источнике крымский народ характеризуется как «уже обвыкший по нескольку раз в год свергать ханов».

Как, быть может, ни странно, такое состояние, не сговариваясь, пытались преодолеть и Россия, и Турция. Понятно, что элементарный порядок, который они хотели там восстановить, Петербург и Стамбул намеревались использовать с диаметрально противоположными целями. Это обстоятельство служило источником высокого напряжения между двумя державами.

Екатерина II по возможности старалась не обострять ситуацию. После тяжелой шестилетней войны России требовалась передышка. Однако пускать крымские дела

на самотек императрица тоже не хотела, тем более что тамошние события развивались не в пользу России.

Девлет-Гирей: импровизации на шатком троне

В 1775 году Порта с помощью интриг, денег, довольно искусных политических маневров и пропаганды привела на ханский трон своего ставленника Девлет-Гирея IV (1775—1777 гг.), хотя еще накануне османские власти с «дружеской откровенностью» обещали Петербургу не допустить этого.

Девлет-Гирей, хотя и считался проосманской фигурой, был не вполне удобен для Порты. Человек неглупый, волевой и очень амбициозный, он стремился к максимально возможной в тех условиях самостоятельности. Откровенными попытками сближения с Петербургом хан намеревался уравновесить давление Порты и успешно балансировать между двумя державами в интересах сохранения власти. Ни Россия, ни Турция ему не доверяли. Последняя, не успев дать санкцию на «избрание» Девлет-Гирея, уже стала подумывать о замене его другим ставленником.

Турции война с русскими тоже пока была ни к чему. Ей требовалось время, чтобы оправиться от поражения и стабилизировать обострившиеся отношения с Ираном. Несмотря на тайные призывы прусских и французских дипломатов к реваншу, Порта старалась вести себя осмотрительно. Правда, ее искушали еще и слухи о приближающейся войне России со шведами и поляками.

Так или иначе, шаткое, но все же равновесие между Россией и Турцией в крымском вопросе удерживать удавалось. Но продолжаться вечно это не могло. И дело было не столько в русско-турецком соперничестве, сколько в особенностях внутреннего развития «независимого» Крымского ханства, контролировать которое извне становилось невозможным.

Петербургу в принципе нужна была в Крыму более или менее устойчивая обстановка, не требовавшая его срочного и энергичного вмешательства. Отсюда крайняя осторожность, предписанная русским войскам, расквартированным на периферии Крымского полуострова, а также первоначальное нежелание поддерживать Шагин-Гирея — соперника Девлет-Гирея в борьбе за ханский трон.

Шагин-Гирея, человека чрезвычайно амбициозного, это не смущало. В 1775 году он начал открытую борьбу против Девлет-Гирея, опираясь на своих сторонников. Часть их он нашел в Тамани и на Северо-Западном Кавказе. Эти земли не впервые становились для кандидатов на ханский престол военно-политическим и социальным плацдармом. (Отсюда, кстати, начинал свой поход во власть и Девлет-Гирей.) Хотя беспорядка там было никак не меньше, чем в Крыму, Шагин-Гирею в данном случае это было даже на руку, поскольку давало возможность обзавестись достаточным количеством приверженцев, готовых провозгласить (и вскоре провозгласивших) его ханом.

По мере возрастания политической активности Девлет-Гирея Екатерина II стала принимать более деятельное участие в судьбе его конкурента Шагин-Гирея, «чтоб татары не уловлены были тайными Порты Оттоманской коварствами в прежнее порабощение».

Как бы ни хотела Екатерина II иметь на ханском престоле своего ставленника, в ее отношениях с Портой это была не ключевая проблема. Гораздо более важной императрица считала задачу добиться от султана четкого соблюдения Кючук-Кайнарджийского договора, случаи нарушения которого множились. Не всегда османское руководство было повинно напрямую, но, как правило, оно вольно или невольно поощряло нарушителей. К числу совершенно осознанных действий, шедших вразрез с условиями мира, относилось нежелание выводить османские войска из Крыма и с Таманского полуострова, а также поощрение бахчисарайской делегации, находившейся в Стамбуле в надежде на помощь Турции против России.

Стамбул не спешил выполнять условия мирного договора, явно решив прощупать общее настроение Екатерины II, степень ее расположенности к уступкам и пределы ее терпимости к стремлению турок сохранить свое присутствие в Крыму и

на Северо-Западном Кавказе. Порте удалось втянуть Петербург в вязкий дипломатический диалог, который она вела в ленивом темпе, уклоняясь от прямых ответов, демонстрируя «искусство» непонимания ясной и простой позиции оппонента. Вывести переговоры из тупикового русла в конструктивное Порта соглашалась лишь при условии, что Петербург пойдет на пересмотр итогов войны.

Расстановка политических сил в Крыму складывалась не в пользу России. Порта продемонстрировала свою «верность» Кючук-Кайнарджийскому договору тем, что отправила Девлет-Гирею «подарки, превосходящие присланные от нее Сахиб-Гирею» — в знак официального утверждения его в достоинстве хана. Для русских дипломатов это не было неожиданностью. Чтобы предположить со стороны Турции нечто подобное в принципе не требовалось сверхпроницательности, поскольку ее лицемерие имело глубоко рациональную основу. Турки попросту не могли удержаться от помощи Девлет-Гирею, который сделал своим главным предвыборным козырем клятвенное обещание уничтожить якобы ненавистную татарам независимость.

Исполнение этого обещания Девлет-Гирей вполне логично связывал с распространением своей власти или влияния на земли в пределах исторических границ Крымского ханства. Девлет-Гирей стремился взять под свой контроль все это пространство и распоряжаться им совсем не так, как это было предусмотрено Кючук-Кайнарджийским договором. Порта лишь приветствовала такое направление мыслей и оказывала своему ставленнику всяческую моральную поддержку, которая ощутимо дополнялась военной и финансовой.

Осуществляя политику собирания крымских земель и восстановления османского вассалитета, Девлет-Гирей использовал традиционные средства. Чтобы напомнить ногайцам и черкесам об исторической территории распространения ханского «суверенитета» и заодно заставить забыть об итогах русско-турецкой войны, Девлет-Гирей прислал на Кубань своего сераскера (читай — губернатора) Тохтамыш-Гирея. Тот, обосновавшись в Таманской крепости, где, помимо собственного войска, в его распоряжении находились 200 турецких янычар под видом купцов, развил энергичную деятельность по созданию татарско-черкесского военно-политического союза под эгидой крымского хана. Первой попыткой опробовать этот союз в деле явилось нападение на Шагин-Гирея и полное разграбление его временной резиденции — города Копыла.

Данная акция, как бы она ни задевала самолюбие Петербурга, была абсолютно логичной с политико-стратегической точки зрения. Девлет-Гирею требовалось во что бы то ни стало избавиться от соперника, претендующего на его место. Шагин-Гирей представлял опасность не столько сам по себе, сколько поддержкой, которую ему оказывала Россия и которая в известном смысле являлась для бахчисарайского правителя предметом зависти. Убрав конкурента, Девлет-Гирей открыл бы для себя возможность самому стать подопечным Петербурга.

Динамика развития ситуации, как видно, выглядела не самым обнадеживающим для России образом. Но переламывать ее в свою пользу с помощью военного вмешательства Екатерина II по-прежнему не хотела. Императрица велела своему чрезвычайному послу в Стамбуле Н.В.Репнину требовать скорейшего очищения Таманского полуострова «до последней ноги турецких войск», а также полного отказа турок от вмешательства во внутренние проблемы Крыма и Северо-Западного Кавказа.

Однако логика развития событий делала для России очевидной невозможность бесконечно оставаться на оборонительных и умиротворительных позициях. Покушение на Шагин-Гирея являлось открыто враждебным актом, извиняться за который Порта и не думала. Более того, она предъявила Н.В.Репнину упреки по поводу русского вмешательства в ногайские дела.

На все симптомы растущей напряженности императрица решила искать такой ответ, чтобы общая ситуация осталась под контролем и в то же время не пришлось ради этого жертвовать влиянием и авторитетом России.

Во-первых, была активизирована политика, направленная «к приобретению между тамошними народами (крымскими татарами, азовско-кубанскими ногайцами и черкесами. — *В.Д.*) к стороне нашей доброходства и приверженности».

Во-вторых, Девлет-Гирею был предъявлен официальный протест, в котором он

прямо обвинялся в организации нападения на русский конвой, приставленный к Шагин-Гирею для его безопасности. Этот шаг квалифицировался как оскорбление «высокого Российского Императорского двора» и провокация, направленная на обострение русско-турецких отношений, поскольку ее преподнесли всем так, будто она совершена с санкции Порты. Петербург не скрыл своего недовольства тем фактом, что Девлет-Гирей фактически узурпировал бахчисарайский престол, «присвоив себе ханское правление… непорядочным образом» и не «по желанию всех крымских поколений (орд. — *В.Д.*)».

В-третьих, Н.В.Репнину было предписано находиться в режиме постоянного диалога с османским правительством, чтобы оказывать сдерживающее влияние на местные горячие головы.

У российского посольства в Стамбуле работы явно прибавилось. В помощь Н.В.Репнину был направлен «обыкновенный министр дружеского сношения», то есть регулярный резидент А.С.Стахиев, призванный заниматься ежедневными посольскими делами. В начале 1776 г. именно он сообщал в Коллегию иностранных дел, что османское правительство «не намерено отступить от своих беспутных и невежливых требований относительно татар».

Подтверждения не заставили себя ждать. В мае 1776 г. специальный представитель Абдул-Хамида I (1774—1789 гг.) привез к Девлет-Гирею указ (хатти-шериф), утверждающий его в ханском достоинстве «по прежнему обыкновению». Указ был торжественно оглашен в присутствии всех крымских мурз и сановников. «Прежнее обыкновение» выражалось и в том, что Девлет-Гирею были вручены исторические символы султанского благословения на власть — кафтан, сабля и перо. Порта в полном объеме восстановила ритуал посвящения в ханы, имевший не только декоративную составляющую. Произошло то, на что и рассчитывали в Стамбуле: правящая элита Крыма однозначно восприняла это действо как свидетельство возвращения в османское подданство.

Порта осознанно шла на конфликт с Петербургом. В османской политике стали проглядывать такие черты, которые объективно указывали на активные приготовления к новой войне с русскими.

Несмотря на все эти крайне тревожные симптомы, трудно было понять, насколько твердо Порта взяла курс на разрыв с Петербургом. Она и сама этого не знала: факторы соблазна и страха находились в очень неустойчивом равновесии. Будучи совершенно неудовлетворенной многими положениями Кючук-Кайнарджийского договора, она стремилась к их ревизии и выжидала момент. Но воинственный порыв охлаждался воспоминаниями о недавнем печальном опыте общения с Россией на языке орудий, а также пониманием того, что у нее есть свои контрресурсы морально-политического и финансового характера, не говоря уже о могущественной армии. Эти диаметрально противоположные импульсы приводили к такой ситуации в османских правящих кругах, когда соотношение сил между партиями войны и мира колебалось, как качели. Картина, открывающаяся взору историка, и в самом деле отдает легким абсурдом. Порта — по всем признакам целенаправленно — обостряла отношения с Петербургом в самое неподходящее время, когда она еще не оправилась от тяжелейшей войны 1768—1774 гг., воевала с Персией и при этом все глубже погружалась во внутренние неурядицы.

Однако ни одно государство, в каком бы упадке оно ни находилось, не может позволить себе роскошь строить свою внешнеполитическую стратегию только на абсурде. Абдул-Хамид I и его окружение, конечно, анализировали ситуацию и старались действовать в соответствии с результатами этого анализа.

Самым вроде бы беспроигрышным является предположение о том, что существовал главный императив, которым руководствовалась или, во всяком случае, должна была руководствоваться Порта: если не остановить, то хотя бы сдержать распад Османской империи. Однако это для историка зачастую ничего не проясняет, а лишь множит вопросы, сомнения и недоумения относительно средств, выбранных для достижения цели.

Изучая политику османского правительства в Крыму и на Северо-Западном Кавказе после 1774 г., можно заметить, что охранительному императиву сопутство-

вали замыслы, которые одни предпочтут назвать реставраторскими, другие — реваншистскими. Какое понятие тут ни употребляй, не похоже, чтобы Абдул-Хамид I не осознавал всей опасности курса на заведомое провоцирование России. Ему не нужна была новая позорная война. Но проблема была еще и в том, что и унизительный мир, лишавший Османскую империю вассально-подвластных территорий, султана тоже не устраивал.

Выход, судя по всему, Порта искала в попытках перевести свои отношения с Петербургом в такое состояние, которое даст ей возможность повышать уровень напряжения, не доводя дело до открытого военного конфликта. Тем самым, путем своеобразного шантажа, основанного на посыле о том, что Россия тоже не горит желанием воевать, ей навязывался торг на предмет пересмотра условий Кючук-Кайнарджийского мира.

Делая подобные предположения, стоит сказать, что в своем расчете на миролюбие Екатерины II султан во многом оказался прав. Война оставалась для императрицы самой нежелательной развязкой, последней чертой отступления от стратегии поиска политических и дипломатических решений. Она не оставляла надежды уйти от столкновения с Турцией и в то же время склонить ее к соблюдению мирного договора. Это была не политика безусловного непротивления, а политика изощренного лавирования во избежание того, что совершенно не входило в планы императрицы на обозримое будущее.

В этих планах все более заметное место отводилось Шагин-Гирею как единственному на тот момент человеку, с помощью которого предполагалось сместить Девлет-Гирея — проводника интересов Порты, превратившего независимость Крымского ханства в фикцию.

Однако Шагин-Гирей был очень сложным объектом для манипуляций, особенно если они производились грубо и примитивно. Роль дисциплинированной марионетки его явно угнетала. В его амбициозном сознании роились фантастические проекты строительства под его монаршим скипетром и просвещенным руководством могущественной Крымской империи, контролирующей значительную, самую важную часть черноморско-каспийского пространства. Он мнил себя крупным международным игроком, который заставит считаться с собой и Россию, и Турцию, и Европу. Шагин-Гирей был, конечно, умен, образован, обладал практической сноровкой и проницательностью в тактических вопросах. Но ему остро не хватало стратегического видения и реализма. Он почему-то вообразил, будто Екатерина II намерена бросить материальные и моральные ресурсы своего государства на осуществление идеи, принципиально расходящейся с национальными интересами России.

Оставлять в Бахчисарае прежнего правителя было опасно во всех отношениях. И сильный, и слабый, Девлет-Гирей представлял для России неразрешимую проблему. В первом случае — как полноценный союзник Порты, во втором — как ее послушный слуга. Екатерина II не сомневалась, что от него нужно избавляться, но пока не имела четкого и наименее рискованного плана действий.

Исторические документы содержат самые разноречивые сведения о настроениях крымского и кубанского населения, что, видимо, действительно свидетельствовало об их неустойчивости. Это сбивало с толку и русское командование. Имея надежных осведомителей на крымско-кубанском пространстве, оно, тем не менее, не могло составить ясной картины происходящего, поскольку такой картины в реальности не существовало. С одной стороны, к командующему русскими войсками в Крыму А.А.Прозоровскому приходили сообщения о том, что чуть ли не весь полуостров находится в радостном ожидании прихода Шагин-Гирея, с другой — он получал совсем другие известия, из которых следовало, что даже на Кубани, где калга-султан (в крымской политической иерархии такой титул принадлежал первой, после хана, персоне и наиболее вероятному наследнику власти; до избрания ханом калгой-султаном называли Шагин-Гирея) избран ханом, у него нет единодушной поддержки. Шпионские донесения о якобы готовящемся бегстве Девлет-Гирея из Бахчисарая и турок из Кафы тут же опровергались информацией противоположного свойства.

Чем дольше длился статус-кво, тем больше накапливался потенциал для разрушения хрупкого равновесия между приверженцами и противниками Девлет-Гирея, не

в пользу последних. Для бахчисарайского правителя и его сановного окружения все более актуальным становился вопрос — почему русские не идут дальше Перекопа и Кубани? Ответ, казавшийся наиболее логичным, был таков: русские не хотят войны с Турцией. Значит, нужно этим воспользоваться, перехватить инициативу и перейти в политическое контрнаступление.

Впрочем, не только в политическое. Среди части крымской знати и общества наблюдался подъем воинственных настроений, подогревавшихся слухами о том, что турецкий «султан обещался хану (Девлет-Гирею. — *В.Д.*) помощь давать». Прислать свои войска собирались также некрасовские казаки и абазинцы. Не остался безучастным и французский консул в Бахчисарае, внушавший хану идею о необходимости сопротивления России. В результате Девлет-Гирей, у которого, по словам одного русского информатора, «всякий день разные мыслеположения происходили», стал более определенным в своих намерениях. Если раньше слышно было, будто он готов к бегству из Крыма, то в конце декабря 1776 г. появились сообщения о том, что хан распаковал баулы и думает уже совсем о другом.

Сторонники России откровенно говорили: есть лишь один способ свергнуть Девлет-Гирея — двинуть против него войска, «а инако он никак не оставит своего начальства».

Русские войска, однако, стояли без движения. Крайне негативный морально-политический потенциал этой совершенно непонятной для крымцев и кубанцев «стратегии» необходимо было чем-то ослабить. Осознавшее это русское командование пыталось обнадеживать пророссийскую часть татарской знати соответствующими посланиями, подкрепляя их убедительными финансовыми и другими аргументами. Разумеется, такие паллиативы имели свой предел эффективности.

Изменить ситуацию могла лишь открыто продемонстрированная Екатериной II воля к действию. Конец колебаниям императрицы ознаменовался ее рескриптом фельдмаршалу П.А.Румянцеву от 13 января 1777 г. В преамбуле документа она полностью одобрила политическую деятельность своих генералов в Крыму и на Кубани. Государыня начертала целую программу дальнейших действий, сочетавшую четкие установки с глубоким пониманием необходимости творческого, гибкого подхода к их осуществлению.

Екатерина II отнюдь не рассталась со своим желанием «обойтись с Портою в настоящих хлопотах *без разрыва драгоценного* (курсив мой. — *В.Д.*) мира». Но среди ее приоритетов более актуальной теперь стала задача — не допустить, чтобы турки, явно взявшие курс на подготовку к реваншистской войне, застали Россию врасплох. Решать эту задачу предписывалось так: с одной стороны, учредить в Бахчисарае пророссийское правительство во главе с Шагин-Гиреем и тем самым лишить Порту крымского военно-политического плацдарма, а значит — искушения «отваживать себя на новую тщетную войну»; с другой — «предуготовить на всякий случай и способы, нужные и достаточные к отражению неприятельского нашествия».

В первую очередь императрицу заботил вопрос о том, чтобы как можно скорее и безопаснее переправить Шагин-Гирея с Кубани (где располагалась его резиденция) в Крым «без всякого прикосновения к турецким войскам», находившимся на Таманском полуострове. Она по-прежнему не желала подавать Порте ни «малейшего повода к нареканию» и видела почти идеальный способ избежать этого в употреблении «всех пристойных, а в случае нужды и денежных средств» к склонению турок на добровольный уход восвояси с предоставлением им гарантий «от всяких обид и озлобления».

В рескрипте Екатерины II придавалось большое значение пропагандистской подготовке переезда Шагин-Гирея в Крым. Императрица считала необходимым посоветовать калге-султану обратиться к крымским жителям с манифестами, в которых звучала бы мысль, что он пришел дать им независимость, торжественно признанную двумя империями (Турцией и Россией) и самовольно отмененную «развратителем» Девлет-Гиреем, не желающим «оставить потомкам своим сие драгоценное наследство в неприкосновенной целостности».

Появлению Шагин-Гирея должны были предшествовать и сопутствовать другие организационно-подготовительные мероприятия, которые позволили бы обеспечить

быстрый созыв в Бахчисарае «публичного съезда» для «признания нового самодержавного государя», «ни от кого не зависимого».

Екатерина II была далека от того, чтобы настаивать на «классическом» способе свержения Девлет-Гирея. Она не имела ничего против предоставления ему возможностей уйти тихо и спокойно. Но, не испытывая к хану ни малейшего доверия, возражала против каких бы то ни было переговоров с ним, в ходе которых он мог ради сохранения власти пообещать России все что угодно.

План Екатерины II включал и другой немаловажный аспект, предполагавший отправку к турецкому султану и его военным чиновникам на Тамани и в Крыму официальных уведомлений о вступлении Шагин-Гирея в новую должность — должность независимого правителя, требующую от всех иностранных государств соблюдения его суверенитета. Это означало, что турки должны уйти «из Тамани и других татарских крепостей» и «отдать сии крепости в собственное его (Шагин-Гирея. — *В.Д.*) управление и стражу».

Рескрипт императрицы П.А.Румянцеву важен не столько своими конкретными предписаниями, сколько заметным в нем концептуальным сдвигом в подходе к русско-турецкому спору по крымскому вопросу. Екатерина II по-прежнему не расстается с надеждой избежать разрыва и готова по-прежнему не жалеть усилий для сохранения мира. Однако теперь она, под напором обстоятельств, вынуждена брать в расчет реальную перспективу войны и думать о практической подготовке к ней. Хотя рескрипт почти целиком посвящен проблеме политического разрешения русско-турецких противоречий, в нем есть и военно-стратегическая составляющая, содержащая принципиально новый акцент. Оставляя в силе свой приказ — ни в коем случае «не задирать турков» — императрица вместе с тем предоставила П.А.Румянцеву и его подчиненным гораздо большую свободу выбора тех или иных ответов на возникавшие угрозы.

Оружие, однако, оставалось для Екатерины II самым крайним средством, обращаться к которому она, несмотря на свою готовность к войне, очень не хотела. Помочь ей тут могло только благоразумие османского правительства. Именно к нему и решила апеллировать императрица через своего посланника в Стамбуле. Рескриптом от 13 января 1777 г. А.С.Стахиеву было поручено объясниться с Портой предельно откровенно и сделать это «под видом собственного вашего рассуждения», дабы не причинять ей многих неудобств, обычно порождаемых официальными дипломатическими демаршами.

Екатерина II предписывала напомнить султану, что до сих пор он так и не выполнил положений Кючук-Кайнарджийского договора по крымско-кубанскому вопросу, хотя регулярно получал от Петербурга соответствующие протесты. Императрица укоряла турок за нежелание оценить великодушие России, имевшей «в прошлую войну всю удобность» присвоить Крым, но отказавшейся от законного военного трофея ради того, чтобы это ханство, обретя независимость, перестало быть источником «взаимных между обеими Империями хлопот, остуд, разрывов и неприятельств».

Подчеркивая терпение России и ее усердие в стремлении сберечь «драгоценный мир», императрица вместе с тем предупреждала, что «всякому снисхождению есть предел» и «если ныне дела не будут скоро и с точностью приведены в присвоенное им мирным трактатом положение», то у Петербурга появятся все основания усомниться в доброй воле Порты и ее готовности соблюдать правила, принятые в общении между цивилизованными государствами. А.С.Стахиеву дозволялось в конфиденциальном порядке намекнуть турецким министрам, что новая война, если Стамбул все же решится на нее, обойдется ему гораздо дороже.

Конечно, это был не ультиматум, а пока лишь оповещение об отказе России и дальше терпеливо выслушивать смехотворные объяснения о том, что османские войска находятся на Кубани вопреки официальному приказу уйти оттуда, а также мириться с военными приготовлениями Порты, сопровождаемыми активной политической работой ее эмиссаров в Крыму и на Тамани. Это было предложение тщательно взвесить последствия продолжения казуистической тактики уклонения не только от выполнения Кючук-Кайнарджийского договора, но даже от предметного обсуждения русских претензий.

Русский протеже

С приближением весны и появлением известий о скором переезде Шагин-Гирея с Кубани в Крым внутриполитическая обстановка в ханстве становилась еще более хаотичной. Русские разведчики доносили, что лояльная к России крымская знать нервничает и просит Прозоровского поспешить.

Девлет-Гирей оказался для России не таким уж простым препятствием, как может показаться при знакомстве с некоторыми оптимистическими сообщениями из Крыма. При всех своих колебаниях он отчаянно цеплялся за власть. И действовал весьма неглупо, опираясь на парадоксальную логику. Похоже, Девлет-Гирей избрал дерзкий, но при определенном стечении обстоятельств, возможно, и не безнадежный способ сохранения престола — посеять хаос, чтобы именно он стал мощной преградой на пути у русских и их ставленника. И если при этом еще что-нибудь случится с Шагин-Гиреем, то для России единственным спасением от полного расстройства дел может оказаться компромисс с действующим крымским ханом.

Шансов на такой оборот событий, скорее всего, было немного, но они не равнялись нулю. С точки зрения политической стратегии Девлет-Гирей, конечно, находился в глубокой обороне, но он перемежал ее блистательными контрнаступлениями, где хороши были все средства. В конце 1776 — начале 1777 г. возросло количество ханских эмиссаров на Кубани, стремившихся ввести край «в ссору и разорение», то есть экспортировать туда политику, которую Девлет-Гирей проводил в Крыму.

Кое-что в поведении Девлет-Гирея было весьма загадочным или, по крайней мере, не поддающимся простым истолкованиям. В частности, в какой-то момент он вроде бы сделал вид, будто смирился со своей участью и даже готов подсказать Петербургу, как довести проект «Шагин-Гирей» до успешного завершения. Этот совет Девлет-Гирей давал не напрямую, а в виде «утечки информации» из его ближнего окружения. Суть «подсказок» была в следующем. Россия настолько могущественна, что может позволить себе выбрать самое простое решение — силой расчистить Шагин-Гирею дорогу к власти. Но этим она открыто утвердит за ним роль марионетки и дискредитирует его в глазах крымского общества. Другое дело, если он высадится в Крыму один, без сопровождения русских: тогда не останется таких, кто бы «не был к нему усерден», и «дело в совершенство придет».

Девлет-Гирей фактически предлагал план собственного свержения. Но именно тут возникают подозрения. И главное из них вызвано ключевой идеей Девлет-Гирея: рядом с калгой-султаном не должно быть русских. А тогда жизнь соискателя бахчисарайского престола всецело зависела бы от того — кому и когда придет в голову положить конец «проблеме Шагин-Гирея» старым испытанным способом.

В то же время Девлет-Гирей порой с блеском демонстрировал свою способность к дипломатической изворотливости. В письмах к русским генералам хан, неизменно сохраняя учтивый тон, заявлял, «что между обеими Империями (Турцией и Россией. — *В.Д.*) заключенная союзная дружба по-прежнему крепка и ненарушима пребывает». Он прилежно изображал себя стойким приверженцем международных договоров, в частности, Кючук-Кайнарджийского, а русских укорял в нарушении его, но делал это в довольно мягкой и тактичной форме. Искусный в дипломатической риторике, Девлет-Гирей умел облечь свои протесты в пристойные формы, найти в которых даже намек на неуважение к России было сложно. Единственным, но при этом самым важным, что вызывало справедливое неудовольствие русской стороны, являлась твердая решимость Девлет-Гирея официально позиционироваться в качестве вассала султана, а это в корне противоречило последнему русско-турецкому мирному договору.

Русские генералы, как заметно по их переписке, старались в своих действиях учесть остававшиеся в распоряжении Девлет-Гирея морально-политические и военные ресурсы. Не исключено, что он попытался еще больше раскрутить маховик обычных крымских междоусобиц, чтобы направить их в русло противоборства между, условно говоря, проосманской и пророссийской партиями. В этой борьбе Петербург хотел победить бескровно или с минимальными потерями для обеих сторон, для чего

требовалась тщательная подготовка «триумфального» въезда Шагин-Гирея в Крым. Серьезное внимание уделялось вопросу о материальном и моральном вознаграждении тех представителей крымской знати, которые помогут решить дело мирно, склонив Девлет-Гирея к добровольному уходу.

Шагин-Гирей проявлял крайнее беспокойство перед лицом перспективы «повреждения начатых для его жребия дел» в результате вполне вероятного открытого вмешательства Порты. Эта нервозность усиливалась давлением со стороны сторонников калги-султана, упрекавших его в бездействии и, возможно, подозревавших в малодушии.

К середине января 1777 г. благодаря целому ряду подготовленных екатерининскими генералами обстоятельств дорога Шагин-Гирея к бахчисарайскому престолу была в военно-политическом смысле практически свободна. Если раньше крымское общество (в лице его даже самой лояльной к Шагин-Гирею и России части) придерживалось осторожно-выжидательной позиции, то отныне внутри него стала заметна активная подготовка к встрече калги-султана и созыву народного съезда для избрания его ханом.

Между тем Шагин-Гирея не покидали опасения, что Крым не примет его, а русские настаивать не станут, отдав предпочтение поискам другого, не связанного с ним решения. Русские генералы всячески старались избавить Шагин-Гирея от страха и досужих подозрений, твердо обещая поддержку при любых обстоятельствах.

1 февраля 1777 г. все жители Таманского полуострова присягнули Шагин-Гирею, признав в нем «самодержавного нашего хана» и обязавшись «принимать его повеления с послушанием и подражательно законам исполнять всякие дела с усердием». Среди присягнувших были представители черкесских племен натухайцы, шапсуги, абазины.

К этому же времени стало ясно, что «полнейшая безурядица» в крымских владениях и утрата Девлет-Гиреем почти всех властных рычагов в условиях анархии и раскола внутри правящей элиты не оставляли Екатерине II иного выбора, как помогать Шагин-Гирею, ибо других, более подходящих ставленников у нее не было. Проблема легитимности, по большому счету, уже никого не интересовала ни в Стамбуле, ни в Петербурге. Главное — найти хоть какую-то марионетку, способную направить необратимый процесс распада крымского государства в более или менее управляемое русло. Понятно, что каждая держава при этом хотела извлечь максимальную для себя выгоду из последствий такой политической катастрофы.

«Независимость» Крыма внешне создавала для России и Турции ситуацию «равных возможностей» и «честной конкуренции». В этой конкуренции у Петербурга появлялись все более весомые аргументы. Русские войска держали в своих руках ключевые стратегические точки Крымского полуострова; Шагин-Гирей явно придерживался пророссийского курса; в крайне противоречивой картине внешнеполитических настроений местных элит и рядового населения, по свидетельству османских источников, все более заметными становились предпочтения в пользу России. Это был глубоко прагматический, житейский выбор, связанный с пониманием бессилия Порты и нежеланием рисковать своей жизнью и имуществом, воюя с русскими.

Девлет-Гирей оказался бессильным перед лицом бушевавшего в Крыму хаоса. В своих решениях он полностью отдался во власть ближайших советников, одни из которых предлагали ему бежать, другие — стоять до конца.

Девлет-Гирей во многом сам упростил задачу своему сопернику. Он давно порывался бежать, но не решался отчасти потому, что побаивался влиятельных людей из ближайшего окружения, которые расценили бы это как предательство, а отчасти потому, что до последнего надеялся на благоприятную перемену обстоятельств.

К весне 1777 года обстоятельства действительно стали резко меняться, но в безнадежном для Девлет-Гирея направлении. Хан посчитал благоразумным дальше не испытывать судьбу и в марте отправил в балаклавский порт все свое громадное имущество вместе с многочисленным гаремом. Русские войска — что весьма любопытно — помогли перевезти это хозяйство и погрузить его на суда, стоявшие в Балаклаве. В середине апреля Девлет-Гирей прибыл в Стамбул.

21 апреля 1777 года высшее собрание крымских сановников и знати торжественно провозгласило Шагин-Гирея новым ханом, дав ему «о своей преданности письменное за общими печатями обязательство».

Версия о том, что Шагин-Гирей оказался на троне только благодаря русским штыкам, плохо согласуется с фактами. И прежде всего — с наблюдением, так сказать, пострадавшей стороны, то есть самого Девлет-Гирея, который, имея причины не любить Россию, все же отдает ей должное. Он, в частности, писал о достойном поведении русского войска на крымской территории, которое «никого не трогает, хотя бы и кто задирал его». Возможно, именно эта осмотрительность способствовала существенному расширению социально-политической опоры российского ставленника.

Однако Шагин-Гирей отнюдь не решил крымские проблемы. Если на пути к власти претендент вел себя расчетливо и благоразумно (кстати, не без влияния русских советов), то, заполучив власть, сделал все, чтобы ее потерять.

Видимо, не чуждый мании величия, он вообразил себя суверенным правителем и крупным реформатором и вопреки предостережениям русских военных и дипломатов затеял спешные и радикальные преобразования на европейский манер. Они — особенно учреждение регулярной армии и изменение системы налогообложения — легли тяжелым материальным и моральным бременем на крымское население.

Крымский мятеж: кто против кого?

В октябре 1777 года против Шагин-Гирея поднялся всеобщий бунт. Всего за несколько месяцев пребывания во власти хан умудрился восстановить против себя все крымское общество. Поняв свою ошибку, Шагин-Гирей принялся срочно рассылать манифесты, извещавшие об отказе от реформ и возвращении к старым обычаям. Но было поздно — ему уже никто не верил. В панике хан обратился за спасением к русским войскам.

Для Екатерины II трудно было придумать более нежелательного и более несвоевременного события. В перспективе она намеревалась решить крымский вопрос в свою пользу, но не раньше, чем созреют условия для этого, включая физическую готовность русской армии снова воевать с Турцией.

При сложившихся, точнее, созданных опрометчивым Шагин-Гиреем обстоятельствах, императрица считала совершенно неразумным форсировать процесс присоединения Крыма к России. Сейчас главным для нее было восстановление порядка и спасение своего незадачливого ставленника. Русские военачальники взяли Шагин-Гирея под защиту и принялись за чужую, неблагодарную работу по подавлению бунта.

Порте, напротив, подобное развитие ситуации было на руку. Султан Абдул-Хамид I (1774—1789 гг.) — каким бы трезвым умом он ни обладал — не мог не испытывать на себе мощное давление реваншистской партии при дворе. Объективная неготовность Турции к войне во многом теряла свое значение в качестве сдерживающего рационального аргумента для тех, кого события в Крыму ввергали в неотразимое искушение вмешаться со всей решительностью.

В Стамбуле не собирались уступать Крым ни России, ни кому-либо из ее ставленников. Турецкий Диван (совет министров) считал вступление Шагин-Гирея на ханство нарушением Кючук-Кайнарджийского договора. Порта решила уравновесить это обстоятельство созданием между Бугом и Днестром военно-политического плацдарма против Шагин-Гирея (а значит, и России). Османские эмиссары принялись за активную работу среди татарского населения Северного Причерноморья, для возбуждения которого много не требовалось, тем более теперь, в эпоху «великих реформ».

Не менее интенсивная деятельность велась и на самом Крымском полуострове, где в декабре 1777 года высадился османский протеже Селим-Гирей III, некогда уже посидевший на ханском престоле и намеревавшийся вернуть его себе. Проблем с «избранием» нового кандидата вообще не предвиделось: бунтующим уже было все

равно, кого противопоставить продавшемуся гяурам «вестернизатору» Шагин-Гирею.

В начале января 1778 года Диван принял решение отправить в Крым корабли с 80-тысячным десантом и сосредоточить 45-тысячный корпус янычар около Измаила. Поговаривали также о мобилизации 30 тысяч турецких солдат из Анатолии и 60 тысяч из Румелии.

Одновременно Порта подробно уведомила европейские державы о мотивах своих рискованных действий: она представила их как вынужденный ответ на вопиющие нарушения Россией «независимого» статуса Крымского ханства.

Все это было очень похоже на планомерную и вполне традиционную подготовку к войне. Однако вопрос «против кого именно?» предстает, по трезвом размышлении, не столь уж однозначным.

Напомним еще раз, что в это время Турция еще не восстановилась после поражения от России. Присутствия значительных турецких контингентов требовала опасная обстановка на границах с Персией, которой османы проиграли борьбу за Басру. Социально-экономическая и политическая ситуация внутри Османской империи была далека от благополучной.

Часть высших сановников в Стамбуле все это прекрасно понимала. К числу «понимающих» относился и султан. Хотя Абдул-Хамид I под влиянием реваншистов «впал в разные сомнения» (такими словами определяют его состояние источники), прямого столкновения с Россией он явно опасался. Но оставить без ответа обращенные к нему просьбы крымских оппозиционеров о помощи султан тоже не мог.

Выйти из этого крайне сложного положения Абдул-Хамид I попытался весьма затейливым и рискованным путем. В самом общем виде его стратегия сводилась к деликатной и трудно реализуемой задаче: посадить на бахчисарайский престол своего человека и заставить Россию не только смириться с этим, но и в дальнейшем строго соблюдать «независимость» Крыма в османской «трактовке». Именно с такой целью султан, по сути, бряцал оружием, в принципе не желая его применять.

Лишний раз об этом свидетельствует поведение османской армии. На протяжении 1778 года одна ее часть была сосредоточена в Суджук-кале, другая находилась на кораблях, стоявших на севастопольском рейде, третья — в Румелии. Все они (в совокупности около 90 тысяч человек, точных цифр нет) практически бездействовали.

Общую логику в действиях Турции проследить можно. Гораздо труднее понять, на что она реально рассчитывала. На готовность Екатерины II спокойно наблюдать за тем, как бунтовщики, при моральной или физической поддержке османских войск, будут свергать Шагин-Гирея? Или на то, что русская армия — от греха подальше — уйдет за Перекоп?

Если расчет строился именно на таких предположениях, то вскоре Порте пришлось убедиться в том, что они в корне ошибочны. Екатерина II уже ни при каких обстоятельствах не могла отречься от своего протеже, даже осознавая, что он ей во многом крайне неудобен. Уйти из Крыма под давлением Турции, опиравшейся на своих местных сторонников, для России было равносильно военному поражению.

До конца проникнуть в планы Порты не представлялось возможным. Отсутствие единства мнений в османской правящей элите заставляло колебаться и самого султана. Из Стамбула приходили противоречивые известия. То оттуда слышалось: «Будем воевать», то «Останемся в мире».

Уже само по себе присутствие османских сил на стратегически важных позициях (Суджук-кале, Тамань, Севастополь), откуда легко было атаковать Крымский полуостров, являлось вызовом для России и провокационным фактором для ее реальных и потенциальных противников среди местного населения.

Оставаться безучастным наблюдателем процесса реализации османских сценариев Екатерина II не собиралась. Русские войска взяли Шагин-Гирея под защиту и сравнительно быстро подавили мятеж. В феврале 1778 года Селим-Гирей III (которому, между прочим, было уже 66 лет) бежал на турецком фрегате в Синоп. Он имел все основания опасаться за свою жизнь, ибо по его наущению мятежники перебили почти всех родственников Шагин-Гирея.

Действуя против бунтовщиков решительно, Петербург вместе с тем проявлял исключительную сдержанность в отношении османских войск, чтобы лишний раз не провоцировать их на такое вмешательство, при котором полномасштабной войны уже не избежать. В каком-то смысле это можно назвать политикой, позволявшей Порте сохранить лицо.

Тем не менее состояние военной тревоги сохранялось на протяжении почти всего 1778 года. За это время между русскими и турками случались довольно опасные инциденты, но они так и не стали детонаторами войны. Ей помешало не только тонкое и осмотрительное поведение Петербурга, но и ряд других обстоятельств. Среди них — «не вовремя» поднимавшиеся жестокие штормы на Черном море, моровые язвы, внезапно поражавшие десантные войска, усиление реалистических тенденций в османском руководстве, где в конце концов возобладало мнение «людей, смотревших истине прямо в глаза».

Важное значение имело и изменение общеевропейского международного фона. К концу 1770-х годов, например, Франция — одна из главных вдохновительниц антироссийской политики Турции — была вынуждена заметно скорректировать свой курс в отношении Стамбула и Петербурга. Причина тому — резко обострившиеся англо-французские разногласия по поводу американских колоний, на фоне чего восстанавливать против себя Екатерину II Парижу не хотелось.

Благорасположением России также пытались заручиться Пруссия и Австрия, постоянно конфликтовавшие друг с другом. Для них центрально-европейские проблемы, в решении которых Петербург мог сыграть существенную роль, были гораздо весомее османских и крымских.

Однако турки в своих реальных военных приготовлениях, не говоря уже об официальной риторике и пропагандистско-провокационной деятельности в Крыму, Северном Причерноморье и на Северо-Западном Кавказе, уже зашли чересчур далеко. Настолько далеко, что теперь просто взять и бесславно отступить значило бы испытать унижение, очень похожее на поражение в настоящей войне. Поэтому Стамбул лихорадочно ищет компромиссный сценарий завершения военной тревоги 1778 года. Тут, впрочем, следует заметить, что компромисс в понимании османского руководства всегда являлся очень специфической категорией, зачастую лишенной своего обычного сущностного содержания.

Это стало совершенно очевидно в очередной раз, когда в августе 1778 года Порта вступила в предварительные переговоры с Петербургом об условиях урегулирования конфликта. Она начала их весьма странно для державы, желающей мира, — с уведомления, что «мы (османы. — *В.Д.*) готовы двинуться» на помощь своим крымским единоверцам в ответ на их многочисленные просьбы. Русским войскам предлагалось не оказывать «сопротивления нашему приближению», дабы не быть «причиной долженствующих произойти отсюда дурных последствий». Сообщалось также, что «цель Высокой Державы (Турции. — *В.Д.*) состоит лишь в умиротворении», во имя которого ее армия должна занять Крымский полуостров в соответствии с «высочайшим договором (Кючук-Кайнарджийским. — *В.Д.*)», признающим, что все татарское население находится «в духовном подданстве всеобщего калифата» во главе с турецким султаном. Иными словами, предложенный «компромисс» предусматривал безоговорочное согласие России, если она не хочет войны, на полное восстановление османской власти и влияние в Крыму.

Петербург оказался в затруднительном положении. Решить проблему в известном смысле помогло чутье Екатерины II и ее сановников, догадавшихся, что османский «ультиматум» — это, скорее, жест отчаяния, чем прелюдия к военному наступлению.

Тем не менее найти обоюдоприемлемый выход из положения было непросто. Нельзя забывать, что события 1778 года разворачивались на виду у этнополитических элит и народов Крыма, Северного Причерноморья, Кавказа, Балкан. Следили за развитием ситуации и европейские кабинеты. Под этими пристальными взорами Россия просто не могла себе позволить спасать османскую честь за счет собственного унижения. Порта сама загнала себя в угол и теперь не знала, как выйти из него без моральных потерь. В некоторых местах турецкие и русские войска стояли друг от

друга на расстоянии пушечного выстрела — любое неосторожное движение было чревато спонтанной эскалацией войны. Стамбул не мог проконтролировать каждый шаг своих военачальников, которые, между прочим, получили предписание: «Если от русских последует противодействие, то, положась на Бога и Пророка, приступить к завоеванию».

Постфактум все выглядит так, будто Россия действительно нашла оптимальное решение. Недвусмысленно дав понять, что не пустит османские войска на Крымский полуостров, Петербург одновременно выразил полную готовность к мирному урегулированию конфликта. Екатерина II не стеснялась демонстрировать добрую волю и отсутствие желания ставить турок в безвыходное положение. Однако платить за сохранение мира непомерную цену она тоже не хотела.

Перестраховочная конвенция

После сложных дипломатических маневров, взаимного зондирования настроений высших властей и неисповедимых перипетий подковерной борьбы внутри стамбульской правящей элиты между Россией и Турцией начались полновесные переговоры. Результатом стала подписанная 10 марта 1779 года Айналы-Кавакская конвенция. По форме это было как бы пояснительное приложение к Кючук-Кайнарджийскому договору. По сути же — компромисс, свидетельствовавший о том, что обе державы пошли на уступки.

Трудно сказать, кто уступил больше, кто меньше, если учесть, что в подобных исторических ситуациях каждая сторона склонна считать себя недостаточно вознагражденной. В любом случае стоит сначала обратиться к содержанию главных статей конвенции.

Петербург соглашался руководствоваться в крымском вопросе сложившимися реалиями, в соответствии с которыми «нация татарская», хотя и объявлена «вольной и независимой», все же остается «единоверной с турками». Поскольку это придает некую специфическую окраску османско-крымским отношениям, Российский императорский двор обещал «не прекословить и не противиться всему тому, что необходимо нужно» для сохранения духовно-религиозной составляющей в этих отношениях.

Речь прежде всего шла о древних инаугурационных ритуалах, сопровождавших восшествие очередного хана на бахчисарайский престол и предусматривавших предоставление инвеституры со стороны турецкого султана. Однако если раньше это была реальная санкция, наполненная глубоким политическим содержанием, то теперь в ней осталась лишь символическая часть. Отныне султан обязывался давать «благословительную грамоту» «без малейшего затруднения и отговорки» и ни под каким предлогом «не касаться гражданской и политической власти татарских ханов».

Несмотря на предельно четкое изложение данного условия, оно, тем не менее, повторяется еще раз в иной формулировке: Блистательная Порта отрекается «от всех своих мирских прав на все орды, роды и племена татарские» и «вновь обязывается оных никогда и ни под каким предлогом не возобновлять, но признавать татар вольною и независимою нациею». На случай возникновения в Крыму взрывоопасной ситуации Петербург и Стамбул дали друг другу гарантии невмешательства без «предварительного и полюбовного» согласия.

За эти пункты конвенции Россия заплатила определенную цену. Она должна была вывести войска из Крыма, с Тамани, Правобережной Кубани и «не вводить их туда вновь ни под каким видом». Аналогичное обязательство Турции имело меньшее значение, ибо она сохраняла свое военное присутствие на Черноморском побережье Кавказа южнее устья Кубани.

Петербургу пришлось признать, что власть Шагин-Гирея (то есть независимость) не распространяется на Очаков, прилегающие земли, а также на территории между Днестром и Бугом. Правда, Россия оговорила одно условие: Турция лишалась права превращать это пространство в сферу своего военного присутствия и допускать миграцию туда османских подданных.

Остальные положения конвенции касались подтверждения привилегий России в торговых и религиозных вопросах.

Еще раз повторим: этот документ можно оценивать по-разному, но так или иначе он заслуживает гораздо большего внимания, чем ему уделяется историками. Конвенция важна тем, что она ознаменовала завершение весьма острого русско-турецкого кризиса и на какое-то время разрядила обстановку. Порта была вынуждена совершенно внятно заявить о своем отказе от посягательств на независимость Крыма. России удалось отодвинуть перспективу новой войны на неопределенное время, чтобы лучше к ней подготовиться. Вывод русских войск из Крымского ханства, с одной стороны, лишал Петербург прежних военно-политических рычагов контроля, с другой — освобождал от обременительной необходимости обеспечивать там порядок и постоянно спасать Шагин-Гирея от последствий его необдуманных действий.

Вместе с тем Айналы-Кавакская конвенция, при всем ее «чистосердечном», «изъяснительном» пафосе, при всех ее порой скрупулезных формулировках, не могла расставить все точки над i. В вопросе о границах независимого Крымского ханства (особенно восточных — Кубань, Черкесия) конвенция была менее определенной, чем договор в Карасу и Кючук-Кайнарджийский договор. Она вызвала явное неудовольствие Шагин-Гирея, протестовавшего против любой формы зависимости от Порты и претендовавшего на статус суверенного государя.

Пытаясь обратить события 1778 года в свою пользу, хан по-прежнему вынашивал нереалистичные, гегемонистские, реставраторские планы и надеялся на беззаветную помощь России в их осуществлении. При этом он предпочитал не обременять себя ответными политическими обязательствами.

Как выяснилось, амбиции Шагин-Гирея простирались гораздо дальше того, о чем мог бы помышлять человек, способный к адекватной оценке собственного положения. Создается впечатление, что хан стремился к созданию «маленькой Крымской империи», куда входили бы не только Северное Причерноморье (вплоть до слияния Прута с Дунаем) и вся Черкесия по обе стороны Кубани, но и Черноморское побережье Кавказа, включая Абхазию с Сухум-кале и другими укрепленными портами.

Отсутствие в Айналы-Кавакской конвенции пункта о соответствующих границах Крымского ханства вызвало у Шагин-Гирея возмущение. Попытки русских дипломатов (в том числе графа Н.И.Панина) успокоить пылкого мечтателя и вернуть его на землю были малоуспешными. Неимоверных трудов стоило уговорить хана соблюсти формальную процедуру, предусмотренную 2-м артикулом Айналы-Кавакской конвенции, и отправить в Стамбул своих официальных представителей для получения от султана «благословительной грамоты». Шагин-Гирей этим не ограничился. Он послал в Порту ходатайство о передаче под его власть буджакских татар (проживавших между Днестром и Дунаем), а также черкесских племен. Это было похоже на предложение вознаградить хана за его согласие унизить себя испрашиванием инвеституры у «верховного калифа».

В Стамбуле сразу смекнули, что этот щекотливый вопрос нужно обсуждать не с делегатами Шагин-Гирея, а с русским посланником А.С.Стахиевым. В беседе с ним рейс-эфенди (министр иностранных дел) давал не лишенное здравого смысла объяснение в связи с отказом Порты удовлетворить притязания Шагин-Гирея на Черкесию. Суть его сводилась к следующему. Черкесские племена всегда были проблемой для Турции, Крымского ханства и России, поскольку «это народ сварливый и буйный». Официально передать их под власть Шагин-Гирея — значит создать условия для того, чтобы внутричеркесские усобицы перекинулись через Керченский пролив и нашли выход в волнениях против хана. Это неминуемо повлечет за собой вмешательство Петербурга и Стамбула (чего, кстати, буква и дух Айналы-Кавакской конвенции в принципе не исключали) с вполне вероятной перспективой обострения русско-турецких отношений («и пойдут тогда разные дрязги»). Поэтому Порта сочла целесообразным вообще обойти черкесский вопрос молчанием.

Стахиев принял эти доводы. Видимо, Петербург, уже изучивший непростую натуру Шагин-Гирея и его амбициозные замыслы, не был уверен в необходимости чрезмерно расширять сферу ханской власти. Не понравилось русскому посланнику другое — очевидное стремление Порты скрыть от него содержание ее переговоров с

крымскими делегатами. Причина стала ясной, когда обнаружилось, что смысл отправленной к Шагин-Гирею султанской благословительной грамоты мало чем отличался от прежних инвеститур, акцентируя подданство хана верховному калифу. Эта грамота также предполагала, что церемониал вручения ее Шагин-Гирею будет обставлен согласно древнему обычаю, символизирующему вассально-сюзеренный характер крымско-османских отношений. После решительного протеста Стахиева дело было поправлено, однако вопросы остались. Ответ на главный из них так и не нашелся: являлся ли этот инцидент следствием административного беспорядка в Порте или же результатом тонкой интриги Шагин-Гирея, сплетенной, чтобы поссорить две державы и извлечь из этого выгоду.

Как бы там ни было, с начала 1780 года заметны признаки сближения между Шагин-Гиреем и османским руководством, что, естественно, вызывало у Петербурга растущие подозрения. Чтобы рассеять их, хан демонстративно выказывает по отношению к Екатерине II смирение и почтительность, граничащие с самоуничижением. Так, он просит зачислить его в Петербургский полк хотя бы капралом, заявляя тем самым о намерении верой и правдой служить Ее Императорскому Величеству. Вместе с тем Шагин-Гирей стремится построить независимое государство и установить в нем порядок. Он хочет иметь все необходимые атрибуты суверенитета: прочную личную власть, административный аппарат, дееспособную армию, финансовую систему, экономику, государственные границы и т.д. Для достижения этих целей хан возвращается к идее радикального реформирования, «вестернизации» крымского общества, возлагая большие надежды на помощь России.

Попыткам внутренних преобразований сопутствовала активная «внешняя» политика. Основными объектами экспансионистских чаяний Шагин-Гирея были Черкесия и Северное Прикубанье. Не имея сил и способности для военного захвата этих территорий, он пытался установить там свое господство с помощью изощреннейших интриг.

Личность и деяния Шагин-Гирея получили противоречивые оценки у современников и историков. Одни считают его небесталанным правителем, другие — никчемным. Третьи пытаются найти между двумя этими крайностями более или менее объективную уравновешивающую, и, возможно, они ближе к истине. Какое бы из этих суждений ни было верным, после 1779 года очевидным становилось одно: реальный ход событий и системообразующие векторы в исторической эволюции крымского вопроса практически не зависели ни от Шагин-Гирея, ни от любого другого персонажа на его месте. Именно объективные тенденции в российской имперской политике вообще и в русско-османских отношениях в частности превращали крымского хана из некогда весьма самостоятельного игрока в сугубо номинальную фигуру, статиста, обреченного безучастно наблюдать за стремительно разворачивающимся последним актом в долгой борьбе за Крым между двумя империями — поднимающейся и увядающей.

Возможно, Шагин-Гирею удалось бы продлить свою политическую жизнь, если бы он проявлял больше умеренности и реализма. Хан же, напротив, развил бурную деятельность и, вроде бы хитроумно лавируя между Стамбулом и Петербургом, в конце концов сделал все для того, чтобы стать крайне неудобным для обеих сторон по одним и тем же причинам.

Порту совершенно не устраивали черкесские планы Шагин-Гирея, и она даже предложила России оказать совместное давление на хана, чтобы принудить его к отказу от экспансии на восток. Турки не желали пускать кого-либо на территории к югу от устья Кубани. Они срочно укрепили свои форпосты Суджук-кале и Сухум-кале, развернув одновременно проосманскую агитацию среди черкесских и ногайских племен, чтобы не дать Шагин-Гирею (и, кстати говоря, России) переманить их на свою сторону. Принят был и ряд других мер: турецкий комендант в Суджук-кале Ферах-Али-паша породнился с шапсугским племенем, женившись на девушке из местной знатной фамилии. Он раздавал щедрые подарки влиятельным шапсугам, построил мечети и медресе.

И все же политика Порты в отношении Крымского ханства и Северо-Западного Кавказа зачастую была крайне непоследовательной, чтобы не сказать — бестолко-

вой. Причина, конечно, не в отсутствии в османской правящей элите умных, трезвомыслящих и дальновидных людей, а в том духе склок, интриг, распрей, заговоров, который насквозь пропитал властную верхушку Стамбула. Порта легко и неожиданно переходила от политики сближения с крымским ханом к политике мобилизации против него населения Крыма и Северо-Западного Кавказа. Абдул-Хамид I был последователен лишь в одном — в нежелании признавать в Шагин-Гирее суверенного правителя. В частности, ханские представители, в отличие от послов независимых государств, не удостаивались султанских аудиенций, что являлось прозрачным намеком на вассальный статус Шагин-Гирея. Петербург прекрасно понимал подтекст этого незамысловатого приема и делал соответствующие представления османской стороне. Но тщетно.

Стамбул, как уже отмечалось, колебался между двумя соблазнами: либо приручить хана, либо с помощью народного восстания посадить на престол более послушного человека. В конце концов, османское правительство взяло курс на свержение Шагин-Гирея. Турецкие агенты в Крыму принялись за работу, которая параллельно велась и на Северо-Западном Кавказе.

Своими действиями Порта, как полагают турецкие историки, лишила Шагин-Гирея пространства для маневра и толкнула его в объятия России. Хану действительно ничего не оставалось, как просить Екатерину II защитить его от происков Порты. Причем он акцентировал, и не без основания, тот факт, что возникает реальная угроза интересам России. Выходившие из-под контроля события не дали императрице времени на раздумья.

Когда нет выбора: Манифест 1783 года

Шагин-Гирей с маниакальной настойчивостью продолжал свои вестернизаторские эксперименты в традиционалистском обществе, решительно отторгавшем чуждые ему новшества. Турецким эмиссарам не составило большого труда спровоцировать волнения среди крымского населения. Весной 1782 года они приняли широкий размах. Шагин-Гирей бежал из Бахчисарая и укрылся в керченской крепости. Мятежники избрали нового хана и послали в Стамбул делегатов за султанской благословительной грамотой.

Екатерине II снова пришлось спасать своего ставленника, точнее — всю стратегию России в крымском вопросе. Русские войска вошли на полуостров и подавили восстание. Императрица вернула Шагин-Гирея к власти, как вскоре выяснилось — лишь для того, чтобы убедиться в своей ошибке. Хан, обезумевший от чувства мести, учинил беспощадную расправу над многими участниками бунта, тем самым дискредитируя прежде всего Россию, ибо к этому времени себя он уже дискредитировал окончательно. Разгневанная Екатерина II, видимо, избавившаяся от последних иллюзий относительно «просветительско-гуманистической» ориентации Шагин-Гирея, велела «объявить хану в самых сильных выражениях» о ее решительном порицании массовых репрессий, подающих «причины к новым бунтам» и идущих «вразрез с политикой и видами русского правительства».

Догадавшись, что крымские события развиваются в неблагоприятном для нее направлении, Порта решила ответить на них наращиванием своих воинских контингентов в Суджук-кале, на Тамани и в низовьях Кубани, а также резкой активизацией антироссийской пропаганды среди черкесов и ногайцев, многие из которых еще не сделали свой выбор между Турцией и Россией. Реально это могло означать, что Стамбул готовится к двум возможным сценариям. Либо турки, используя военные плацдармы на Черноморском побережье Кавказа, на Кубани и на Тамани, вторгаются в Крым и приводят в Бахчисарайский дворец своего ставленника, что чревато новой войной с русскими. Либо соглашаются на негласный или официальный раздел ханского наследства: Россия получает Крымский полуостров, а Турция — Тамань и земли по обе стороны реки Кубань.

Поскольку Екатерину II совершенно не устраивал первый из этих сценариев и во многом не устраивал второй, она оказалась перед необходимостью действовать

быстро и решительно. «Независимость» Крыма оборачивалась для России громадной, дорогостоящей, перманентно взрывоопасной проблемой военно-материального и морально-политического характера. Екатерина II и ее ближайшие советники опасались, что при отсутствии в российском «кадровом резерве» другого, более подходящего ставленника «второе пришествие» Шагин-Гирея станет большой воронкой, куда будут постоянно утекать силы и деньги России. Политика, допускавшая расходы на содержание крымского хана в условиях пребывания его на осадном положении и непрекращающейся гражданской войны, исчерпала свой рациональный ресурс, перестала удовлетворять как стратегические, так и тактические планы Екатерины II. Ей в Крыму, помимо прочего, требовалась широкая социально-политическая опора, в деле формирования которой Шагин-Гирей превратился в очевидную помеху.

Крымские проблемы сплелись в гордиев узел, распутать который, тем более применявшимися до того методами, было уже невозможно. Во второй половине 1782 года Екатерина II решилась на радикальную меру, сообщив Г.А.Потемкину, что «надобно помышлять о присвоении сего полуострова». Но прежде она хотела подготовить к этому крымское общество.

Императрица повелела «употребить все способы завести посреди татарских народов ближайшие связи и поселить в них доброхотство и доверие к стороне нашей, дабы потом, когда потребно окажется, удобно можно было их склонить на принесение Ее Императорскому Величеству просьбы о принятии их в подданство». Вполне естественную неприязнь крымцев к идее перехода под «гяурскую» власть, а также безусловно наличествовавшие проосманские настроения (зачастую перевешивавшие историческое недоверие к Порте) предполагалось нейтрализовать путем убеждения местных элит и рядового населения в том, что Екатерина II искренне желает спасти их «от дальнейших мучительств и утеснений (со стороны Шагин-Гирея. — *В.Д.*)». И это была правда, хотя, конечно, не вся.

В свете дальнейших событий можно с уверенностью утверждать: кроме данного обещания императрица припасла целый набор социально-политических средств для упреждения открыто враждебной реакции крымско-татарского общества.

8 апреля 1783 года был обнародован «Манифест Великой Императрицы Екатерины II о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России». Этот документ достоин пристального внимания не столько своей пропагандистской подоплекой, без которой он, с жанровой точки зрения, просто не мог обойтись, сколько обстоятельной мотивировкой причин решительных действий Петербурга. Манифест соединил в себе форму международно-правового акта и глубокое предметное, аналитическое содержание. Историку остается лишь пересказать этот текст, составленный так, что добавить к нему практически нечего.

Екатерина II начинает с напоминания о том, что еще в 1774 году Россия, чьи войска разгромили турок и заняли Крым, имела полное право оставить ханство в своих руках, но не сделала этого, чтобы оно перестало наконец быть источником «распрей и остуды» в отношениях между Петербургом и Стамбулом. Однако надежды России не оправдались. Татарская независимость породила еще большие угрозы «тишине и безопасности» южных российских окраин. Крымцы оказались не способными «ко вкушению плодов таковой свободы». Слепо «преклоняясь на чужие внушения», они поднимали кровавые мятежи против своих законных правителей и принуждали Россию к вооруженному вмешательству, которое, во-первых, едва не привело к новой войне с Портой, во-вторых, стоило Петербургу «не дешево».

Екатерина II подчеркивает настойчивость и последовательность России в политике сохранения татарской вольности, несмотря на то, что она приносила российскому государству огромные убытки и «потерю людей, которая выше всякой денежной оценки». Идти на это заставляла лишь вера в возможность вознаграждения России безопасным соседством с Крымом.

Императрица акцентирует еще один существенный момент. Петербург, по ее мнению, воспользовался только частью тех «справедливых» поводов к введению войск в «Татарскую область», которые крымское население подавало в изрядном количестве и в вопиющих формах и которые толкали Россию к «присвоению начальства» над

теми местами. Но всякий раз она осознанно жертвовала этими реальными возможностями ради «мира, тишины и устройства посреди Татар», ради «доброго согласия и дружбы с Портою Оттоманскою».

Именно отсюда выводит Екатерина II свой заключительный аргумент. Он основан на известных положениях Кючук-Кайнарджийского договора и Айналы-Кавакской конвенции о том, что Петербург и Стамбул берут на себя «взаимные обязательства о вольности и независимости Татарских народов», к коим относилось население не только Крымского полуострова, но также Тамани и Правобережной Кубани.

Если в начале манифеста Екатерина II ограничивается намеком на роль «чужих внушений» в дестабилизации обстановки в Крыму, то затем она прямо обвиняет Порту в стремлении «исправлять верховную власть на землях Татарских», в частности на Тамани (тогда это был остров) и сопредельных землях Северного Прикубанья. Между тем на эти территории, как и на историческую часть Крымского ханства, распространялись и «независимый» статус, и взаимные русско-турецкие обязательства по соблюдению его. Екатерина II не преминула выразить в манифесте свое возмущение тем, что чиновник, официально назначенный османским наместником в Тамани и прибывший туда с войском, объявил местных жителей турецкими подданными и публично отрубил голову посланцу Шагин-Гирея, всего лишь передавшему «вопрошение» хана о целях появления турок на острове.

Логично и последовательно разворачиваемая Екатериной II аргументация в конце концов воплощается в главную идею. Она проста: предпринимавшиеся Россией в течение многих лет высокозатратные усилия, направленные на сохранение татарской независимости, «чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям», оказались по вышеуказанным причинам тщетными. Из этого следовало, что международно-правовые акты, касавшиеся Крымского ханства, доказали свою нежизнеспособность, и теперь они мертвы.

Исходя из данной реальности, Екатерина II объявляла о том, что провалившийся эксперимент с суверенизацией Крыма «поставляет Нас (императрицу. — *В.Д.*) во все те права, кои победами Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира (в 1774 году. — *В.Д.*)». Далее идут слова о «благе», «величии» и «безопасности» отечества, во имя которых Екатерина II вынуждена прибегнуть к «средству, навсегда отдаляющему неприятные причины, возмущающие вечный мир, между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный». И, наконец, главное: «…решились Мы (Екатерина II. — *В.Д.*) взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону (то есть — правый, северный берег реки. — *В.Д.*)».

Стремясь упредить возможную негативную реакцию татарского общества на «перемену их бытия», Екатерина II гарантировала «свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего» свободу вероисповедания, охрану и защиту верующих, неприкосновенность традиций, обрядов, культовых заведений, имущества. Было также обещано уравнять население бывшего Крымского ханства в правах и преимуществах с подданными Российской империи. Причем местная элита получила ясный намек на то, что ее прежний социальный статус непременно будет преобразован в соответствующий внутриимперский аналог.

В заключительных строках манифеста Екатерина II выразила надежду на «верность, усердие и благонравие новых Наших подданных», которые смогут по достоинству и с благодарностью оценить все неоспоримые выгоды «счастливого своего превращения из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный».

Историки, склонные подчеркивать пропагандистскую риторику и оправдательную тональность екатерининского манифеста, тем самым игнорируют очень важную его составляющую — его конкретное текстуальное содержание, весьма адекватно отражавшее реальную подноготную процесса присоединения Крыма к России. В этом смысле «неправды» в манифесте не было. Другое дело, что Екатерина II, поставившая перед собой крупную геополитическую задачу (обзаведение полноценной стратегической позицией, обеспечивавшей безраздельное господство в Северном Причерноморье), рано или поздно все равно довела бы ее до логического конца вне зависимости от ситуации в Крыму. Стремительное и угрожающее для России (и

русско-турецких отношений) развитие этой ситуации лишь ускорило развязку по сценарию, который Екатерина II, безусловно, держала в голове, но при иных обстоятельствах, возможно, не стала бы спешить с его реализацией.

Поэтому в принципе нет ничего удивительного в относительно спокойной реакции Порты на екатерининский манифест. Абдул-Хамид I понимал, что сопровождавшийся «полнейшей безурядицей» процесс распада крымской государственности достиг кульминации. Покончить с этим мог лишь кто-то извне — либо Петербург, либо Стамбул, и только одним способом — упразднением ханского «суверенитета» как фиктивного и вредного института, ставшего необратимо злокачественным источником и экспортером хаоса за пределы Крыма.

Есть основания полагать, что Абдул-Хамид I сам помышлял о разрубании этого гордиева узла. Однако его попытки опередить Екатерину II (главная из которых предпринята в 1778 году) были не очень убедительны из-за страха перед войной с Россией и неблагоприятной для Порты международной конъюнктуры.

Все это придавало Екатерине II дополнительную решимость. Взяв инициативу в свои руки, императрица в какой-то степени помогла султану (на тот момент, по крайней мере), избавив его от все более невыносимой крымской ноши. С этим, видимо, и нужно связывать молчаливое согласие Абдул-Хамида I на присоединение к России Крыма и прилегающих к нему земель. Порту, похоже, настолько изнурил материально и морально «вечный крымский вопрос», что она была вынуждена принять один весьма спорный с международно-правовой точки зрения аргумент екатерининского манифеста. Ведь там, по сути, говорилось о возвращении России «законных прав» на Крым, приобретенных силой оружия в ходе последней русско-турецкой войны. Однако эти «права» плохо согласовывались с тремя международными договорами (одним русско-крымским 1772 года и двумя русско-османскими 1774 и 1779 годов), провозглашавшими Крым независимым.

Впрочем, оправданием для Петербурга служит один немаловажный факт. Политические элиты и рядовое население Крыма, Тамани, Правобережной Кубани в апреле 1783 года принесли верноподданнические присяги Екатерине II, признав тем самым законность ее манифеста и свое согласие войти в состав Российской империи. Это был своеобразный всенародный референдум, показавший не столько великую любовь к иноверческой державе, сколько огромную надежду на прекращение кровавой анархии в Крымском ханстве.

Между тем весьма непредвиденной и досадной помехой для России стал, как ни странно, Шагин-Гирей, обязанный ей всей своей политической карьерой, всем своим немалым состоянием, а в ряде моментов жизнью. Полностью утратив социальную опору и чувство реальности, хан судорожно цеплялся за малейшую, самую призрачную надежду сохранить власть. На по-человечески очень заботливое предложение Екатерины II переселиться в Россию, чтобы оказаться на ее щедром пожизненном попечении, он ответил бегством в Тамань, где затеял очередную интригу с целью поднять свое значение в глазах Петербурга и Стамбула, заставить их соперничать между собой за возможность получить от него «важные» услуги. Вероятно, он хотел выторговать для себя остров с примыкающими к нему территориями в качестве пожизненной или наследственной вотчины-синекуры

Не найдя необходимой поддержки на Тамани, Шагин-Гирей отправился искать ее у закубанских черкесов. Но и там у него ничего не получилось. Целый год понадобился Екатерине II, чтобы открыть своему строптивому протеже глаза на реальное положение вещей и уговорить поселиться в России. Шагин-Гирея разместили в Калуге, где он ни в чем не нуждался. Однако хан не оценил предоставленной ему возможности наслаждаться жизнью и, скорее всего, вообще не понял, от какой перспективы был спасен Екатериной II. Во всяком случае, отплатил он ей неблагодарностью. Жаждавшему деятельности Шагин-Гирею Калуга быстро наскучила. В поисках поприща, достойного его явно завышенных представлений о самом себе, бывший хан вступил в тайную переписку с Портой и одновременно попросил Екатерину II о дозволении уехать в Турцию. Возможно, таким способом он хотел заслужить прощение султана и проложить себе путь к почетному возвращению в Стамбул и новым карьерным перспективам. Но не исключено и то, что он, как уже бывало прежде, просто

блефовал. Предположить это позволяет сильное огорчение хана в связи с полученным согласием Екатерины II. На подобную реакцию он не рассчитывал, ожидая, скорее всего, уговоров, отступных, «серьезных предложений» и т.д.

Так или иначе, Шагин-Гирею ничего не оставалось, как покинуть Россию. Поначалу турки встретили хана, как и обещали, «ласково и предупредительно», со «всяческим почетом и вниманием». Затем Порта, по словам В.Д.Смирнова, «коварно изменившая долгу гостеприимства», сослала своего «блудного сына» на остров Родос и там казнила. Шагин-Гирей сам, без чьей-либо помощи, привел свою недолгую сумбурную карьеру к закономерному финалу.

В Стамбуле все спокойно

Шагин-Гирей был не самой большой проблемой для Петербурга. Манифест Екатерины II вызвал неоднозначную реакцию в крымско-татарском обществе. Часть его, как уже отмечалось, присягнула России. Другая предпочла переселиться в пределы Османской империи (за Днестр). Третья (в основном кубанские татары и ногайцы) колебалась, но под влиянием того же Шагин-Гирея начала боевые действия и против российских войск, и против татар, лояльных к России.

Командующий стоявшим на Кубани корпусом генерал А.В.Суворов пытался погасить бунт дипломатическими способами, не раз обращаясь к местным мурзам с умиротворительными увещеваниями. Тщетно. В августе-сентябре 1783 года татарские предводители организовали ряд довольно мощных атак на русские укрепленные посты. Тогда А.В.Суворов, получивший от князя Г.А.Потемкина повеление действовать решительно, в середине октября подавил все очаги сопротивления. Побежденным была предоставлена возможность поселиться в Западном Предкавказье, включая Азовское побережье.

Теперь предстояло решить в определенном смысле самый важный вопрос — добиться официального признания Портой Манифеста о присоединении Крымского ханства к России, чтобы тем самым придать ему международно-правовую силу. Против ожиданий, эта задача оказалась не такой уж сложной по причине, которая заслуживает того, чтобы напомнить о ней еще раз.

Турция и Крым изначально были друг для друга и союзниками, и большими проблемами. С течением времени взаимной пользы от вассально-сюзеренных отношений становилось все меньше, а обоюдного вреда от нараставших противоречий все больше. Порта вообще и Абдул-Хамид I в частности устали от крымского вопроса, а бахчисарайские ханы — от постоянной необходимости вести напряженную борьбу за расположение султана. Острота и безысходность ситуации, с точки зрения глубинных причин, обусловливались тем, что динамика распада так и не созревшей крымской государственности получила дополнительный, фатальный импульс в связи с уже принимавшим необратимые формы процессом увядания государственности османско-имперской. Наслаиваясь друг на друга, эти явления создавали эффект взаимоиндуцирования. Крым объективно стал для Османской империи балластом, от которого требовалось избавиться, чтобы продлить свое существование.

Начиная с поражения в войне 1768—1774 годов, турки лицом к лицу столкнулись с приобретавшей все более неотложный характер проблемой поиска оптимального соотношения между размерами своей империи и реальными возможностями ее содержания. Весьма показательно: первые признаки понимания Портой того факта, что Османская империя перегружена лишними, чрезмерно отдаленными и поэтому дорогостоящими с точки зрения обороны территориями, появились в начале XVIII века. Уже тогда, как полагают современные исследователи, турецкое руководство рассматривало северо-западные имперские территории как разменную монету в османско-европейских отношениях. Существует также мнение, будто в 1739 году Порта была готова пожертвовать Крымским ханством в пользу России, но сама Россия тогда еще не созрела для такого приобретения.

Так это или нет, но в 1783 году Абдул-Хамид I не позволил себе никаких достойных внимания Петербурга протестов против манифеста Екатерины II. Нельзя вместе

с тем сказать, что решение о присоединении Крыма легко далось Екатерине, несмотря на всю последовательность и масштабность ее южной геополитической стратегии. Императрица была явно против такого решения в 1774 году и достаточно долго колебалась после этого, прекрасно понимая разницу между уровнем своей ответственности за сохранение стабильности в соседнем, пусть лишь формально независимом государстве и своим монаршим долгом поддерживать аналогичное состояние уже на собственной имперской окраине.

Учитывая всю совокупность фундаментальных факторов прежде всего жесткого геополитического характера, упрекать Екатерину II в отсутствии альтруистического желания тратить немыслимые силы и средства на реанимацию нежизнеспособного и непредсказуемого государства просто глупо. В конце концов, ей пришлось сделать единственно возможный вывод из исторического опыта, свидетельствовавшего о том, что курс на строительство и бесконечный ремонт «нейтральных» и «независимых» барьеров между Российской и Османской империями исчерпал свой конструктивный капитал.

28 декабря 1783 года в Стамбуле (Константинополе) представители России и Турции подписали договор, санкционировавший переход Крымского ханства под юрисдикцию Петербурга. Официальной границей между двумя империями провозглашалась река Кубань.

После нескольких десятков лет мучительного умирания «больного человека» Северного Причерноморья, у одра которого врачеватели постепенно вынуждены были превратиться в душеприказчиков, крымское государство в качестве политического субъекта ушло в небытие безвозвратно.

Слово историкам

Разбираться в причинах этой смерти историки будут еще очень долго и далеко не всегда глубоко, профессионально, непредвзято. Кто-то найдет врожденно-органическую патологию, не оставлявшую шансов на иной исход. Кто-то будет развивать тему о стечении роковых случайностей, о шансах на «исторический прорыв» к подлинной независимости Крымского ханства, о «великом вестернизаторе» Шагин-Гирее, о коварной России, подрубившей на корню перспективы строительства национального государства и т.д. Однако это уже область изучения вероятного, но не случившегося, и тут что-либо проверить или доказать невозможно.

Больше смысла в том, чтобы поразмышлять над другими историографическими веяниями нашего времени. В частности, над тезисом, что присоединение Крымского ханства являлось геополитическим излишеством для России, вторгавшейся в чуждое и ненужное ей цивилизационное пространство. Ряд современных исследователей упрекает Российскую империю в неспособности ограничить себя разумными пределами, а российский империализм — в утрате чувства меры. Утверждается, что захвату Крыма нет никакого оправдания ни с точки зрения «международного (иногда добавляется — современного. — *В.Д.*) права»(!), ни с точки зрения морали. А мысль о «купеческо-разбойном характере» южной политики России вообще выглядит анахронизмом, извлеченным на свет из идеологического и терминологического арсенала школы М.Н.Покровского.

Невольно возникает ощущение, что ученым, представляющим это историографическое направление, страшно не повезло с предметом изучения — историей Российской империи, уникальной и неповторимой в своей агрессивной жестокости, безнравственности, алчности. Некоторых исследователей настолько увлек этот «особый», «патологический» случай мировой истории, что они совершенно потеряли профессиональный интерес к моделям поведения на международной арене других держав. А когда такой интерес вдруг возникает, то вместе с ним появляются очень стройные объяснения мотивов западноевропейской колониальной экспансии. Выясняется, что существуют объективные, жесткие геополитические, экономические, престижные, династические и пр. императивы, вынуждавшие великие державы завоевывать гигантские заморские территории. Была еще и «высокая цивилизаторская

миссия», осуществлявшаяся «подвижниками», которые уничтожали на своем пути всех (а их было большинство), кто оказывал сопротивление, не понимая жертвенного подвига «белого человека», несущего свет веры, разума и просвещения первобытным туземцам.

Вся эта мотивация куда-то внезапно исчезает, как только речь заходит о ее приложении к истории внешней политики России. Сущность данного процесса — многовекового по протяженности и сложнейшего по содержанию — предпочитают проверять на сугубо нравственном оселке на предмет строгого соответствия таким категориям, как «мораль», «гуманизм», «справедливость» и — самое несуразное — «нормы современного международного права».

Не найдя никакого соответствия, некоторые служители Клио заставляют ее выносить единственно возможный приговор: внешняя (и внутренняя) политика России — это опасная историческая аберрация, продолжающаяся и по сей день. Примечательно, что критике подвергаются даже высказывания ученых, широко известных своими русофобскими «слабостями», когда они пытаются хотя бы на какой-то момент освободиться от предрассудков в отношении России. В частности, «классикам марксизма» не прощается утверждение, что Петр Великий «захватил лишь то, что было абсолютно необходимо для нормального развития страны», а также мысль о «прогрессивной роли России на Востоке».

Из всего этого можно сделать по крайней мере один общий вывод: между слепым оправданием той международной политики, к которой принуждали Россию объективные обстоятельства, и априорным осуждением всех ее действий существует широкое, во многом неосвоенное поле для плодотворного поиска спокойных, взвешенных, по возможности деидеологизированных подходов к сравнительно-историческому изучению формирования феномена Российской империи. История падения Крыма — лишь один из показательных фрагментов этой необъятной темы.

Лев Симкин

Путч

Двадцать лет назад, в августе 1991 года, произошло событие, ставшее поворотной точкой в истории не только России, но и всего современного мира.

Тем не менее стоит напомнить основные его моменты.

19 августа было объявлено, что «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР» и «в соответствии со статьей 127[3] Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР», а также по «требованиям широких слоев населения» в стране вводится режим чрезвычайного положения. Был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), который временно взял на себя всю полноту власти. Горбачев в этот момент находился в отпуске в Крыму.

Несмотря на решительное заявление, ГКЧП за все время своего краткого существования ни разу не высказал никакой определенной точки зрения по конкретным вопросам, ограничившись общими фразами в «Обращении к советскому народу» и невнятным выступлением по телевидению. Комитет не предпринимал абсолютно никаких действий, если не считать того, что в Москву «для охраны общественного порядка» были введены войска и бронетехника.

Руководство РСФСР во главе с Б.Ельциным «стало на защиту Конституции и Президента СССР». ЦК КПСС самоустранился от участия в событиях, заявив, что «не скажет о своем отношении к ГКЧП, пока не узнает, что с его Генеральным секретарем товарищем Горбачевым». Точно так же поступило большинство руководителей союзных республик, занявших выжидательную позицию.

Ситуация разрешилась неожиданно быстро и просто. 21 августа с Горбачевым была наконец установлена связь по телефону. Вице-президент России А.В.Руцкой и премьер-министр И.С.Силаев отправились в Крым и привезли Президента в Москву. Члены ГКЧП были арестованы.

Согласно официальной версии, сформулированной Б.Ельциным, а затем утвержденной Верховным Советом СССР, создание ГКЧП являлось попыткой государственного переворота, организованного группой заговорщиков. Именно она стала вскоре предлогом для последующего развала СССР.

Всего-то двадцать лет прошло, не так давно это было, а кого ни спроси, вразумительного ответа не дождешься, кто там был да против кого. Многие вообще не заметили в августе девяносто первого никакого путча и лишь под Новый год с удивлением обнаружили себя живущими в другой стране. Сами участники событий вроде пытались объясниться, да уж больно оно с самого начала было перепутано. И еще больше запуталось, когда в девяносто третьем вновь случился путч, ровно на том же месте.

Симкин Лев Семенович — доктор юридических наук, профессор Российского государственного института интеллектуальной собственности. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

По пути на работу

Девятнадцатого августа, обогнав на шоссе колонну танков или, может, бронетранспортеров, я вернулся с дачи в Москву и, приняв душ под звуки доносившегося из комнаты «Лебединого озера», поспешил защищать демократию. Нет, не к Белому, а к серому дому, бывшей школе-пятиэтажке. Там ютилось скромное эрэсэфэсэровское ведомство, где я совместительствовал в качестве одного из советников его руководителя.

Тем летом в Москве было сразу два президента и министерств — тоже по паре, союзное — во главе с министром-коммунистом и республиканское, управлявшееся, разумеется, демократом. Министры, молодые и энергичные, оба из народных депутатов, свои должности получили недавно, один — из рук союзной власти, второй — соответственно российской. Оба честно отрабатывали оказанное им доверие и между собой не ладили.

Собственно, министерств и прежде было по два, главные вопросы в отрасли обычно решались в союзных ведомствах, республиканские же существовали отчасти для декорации, надо же было чем-то доказывать федеративное устройство Советского социалистического государства. Никто не подозревал, что вскоре последние станут первыми и вся власть упадет в их слабые, непривыкшие к тяжелой работе руки.

...Я подходил к министерству с опаской, поскольку не исключал возможности скорых арестов демократов и их присных. И чувствовал себя отчаянно смелым, особенно в сравнении с другим советником, сказавшимся больным.

Тишина

Испуг прошел при виде стоявшего на том же месте обшарпанного министерского здания, вокруг которого не было никакого оцепления, оттуда никого не выводили в наручниках, словом, не было всего того, что я навоображал себе по пути. Министерские чиновники занимались привычными делами, как ни в чем не бывало. Телефоны и телефаксы работали, никому не пришло в голову их отключить. По ним на следующий день *на места* будут отправлять телеграмму с требованием не подчиняться, ни в коем случае не подчиняться гэкачепистам. Но это завтра, двадцатого августа, а девятнадцатого все шло как обычно.

Тишина объяснялась отсутствием министра, пребывавшего в отпуске. Его секретарша по секрету поделилась со мной, что ее босс, придя в себя от утреннего шока, откуда-то издалека звонил ей и интересовался, не сменили ли милицейский наряд на входе. Та спустилась вниз проверить — знакомый милиционер привычно дремал в вестибюле. В то время чиновники еще не успели оградить себя от посторонних вооруженной до зубов охраной при металлических рамках да с мониторами.

Думаю, чувство облегчения испытали в то утро и самые близкие соратники Ельцина. Вместо ожидаемого ареста они смогли спокойно доехать на казенных авто с правительственных дач до Белого дома и уже оттуда созывать митинги и рассылать прокламации. Сам Ельцин прилетел из Казахстана, где проводил отпуск, приехал на дачу и оттуда беспрепятственно добрался до Белого дома. И в первый, и во все последующие дни путча все аэропорты, и внутренние, и международные, работали в обычном режиме, всех впускали и всех выпускали, чему особенно удивлялись прилетавшие в Москву иностранцы.

Журналист-демократ Андрей С. позже рассказывал о своем звонке в Варшаву редактору популярной газеты, матерому борцу с коммунизмом — «у нас переворот». Вот что он услышал в ответ: «Слушай, переворотов, которые оставляют рабочими все телефоны, не существует, успокойся».

Не берусь судить о причинах нерешительности заговорщиков. В тот день я подумал, что, видно, они просто не поверили в возможность сопротивления и потому

не торопились приступать к репрессиям. В конце концов, это были руководители страны, пусть и за исключением первого лица (Горбачева), против которого они, собственно, и восстали. В их руках были все рычаги — армия, *органы* и так далее... Куда торопиться?

Потом я расспрашивал осведомленных людей, причастных к расследованию, и понял — ГКЧП был неоднороден, в нем были и ястребы, и голуби. Эти последние опасались кровопролития и гражданской войны, что само по себе неплохо о них говорит.

...Чтобы как-то оправдать свое появление в министерстве, я немного потолкался в курилке. Там высказывались разные мнения по поводу происходящего, но большинство склонялось к тому, что скоро все будет как прежде, до перестройки, ну, начальство поменяют, нам не привыкать, наше дело маленькое, мы же не кооператоры какие, прости господи.

Были и недовольные, те сгрудились в одном из кабинетов у транзистора и внимали «Эху Москвы». По радиоточкам, установленным во всех служебных помещениях, передавали то, что в советских фильмах с субтитрами называлось словами: «звучит тревожная музыка».

В приемной министра был телевизор, но в новостях повторяли одни и те же грозные по тону и пустые по содержанию заявления ГКЧП, а самих новостей не было. В перерывах между ними шли, один за другим, концерты серьезной музыки, о которых потом еще долго вспоминали ценители, — такого по телевизору, да еще в столь густой концентрации никогда не показывали. Остальные, напротив, страдали от отсутствия развлекалова. К тому моменту ТВ стало поинтереснее, чем прежде. Не говоря уже о Кашпировском и Чумаке, всеобщую любовь завоевали латиноамериканские сериалы — уже отшумели страсти по рабыне Изауре, но нам еще не было известно, что богатые тоже плачут.

По пути с работы

По пути домой я на всякий случай заглянул в продмаг. Если кто забыл, прилавки тем летом были заставлены рыбными консервами, впрочем, вскоре и они исчезли. В тот вечер, однако, *выбросили* сахарный песок, народ разбирал, радуясь удаче. Один политграмотный дед стал нахваливать ГКЧП за нежданное появление сахара, но его не поддержала безразличная к политике очередь. Хотя от магазина до Белого дома была всего пара километров, судьба его обитателей мало кого волновала. Недовольство вызывало то, что больше двух кило в одни руки не давали.

В самом же Белом доме, размеры которого несравнимы с нашей пятиэтажкой, творилась страшная суета. Однако в этой суете в тот день, похоже, было задействовано не так уж много людей. Только один из моих тогдашних знакомых, чиновник не слишком высокого ранга, чье рабочее место было в Белом доме, запершись в кабинете, по заданию ельцинского помощника обзванивал кого-то там в областных советах и осторожно выяснял настроения.

В основном же простой чиновный народ, а это немалая часть белодомовских обитателей, сидел за столами или прильнул к окнам, наблюдая за происходящим вокруг здания, а после окончания рабочего дня покидал место работы и шел мимо собиравшихся защитников демократии, стараясь по возможности с ними не смешиваться.

Вечером по телевизору передавали пресс-конференцию гэкачепистов. К моему удивлению, вместо того, чтобы вещать чугунными голосами о возвращении старого порядка, они почему-то лепетали что-то невнятное. На это мигом отреагировали журналисты. Не все, конечно, — большинство, как положено, задавало начальству подобострастные риторические вопросы, не требовавшие ответов. Но одна юная девушка выкрикнула о государственном перевороте, а пожилой мэтр иронически поинтересовался у сидевшего в президиуме колхозного деятеля: «А вы-то как сюда попали?». И ничего, обошлось.

Социализм не вечен

Как я уже говорил, мне казалось, что они победят. Так называемые путчисты представляли собой все руководство страны, от вице-президента до премьера, за одним исключением — Горбачева, объявленного ими больным. В его болезнь, однако, никто не поверил, поскольку в обращении ГКЧП было сказано о тупике горбачевских реформ. Тут уж одно из двух, или заболел, или завел в тупик — слишком много причин всегда вызывает сомнение.

Конечно, времена были уже не те, безотчетный страх перед властью прошел, но только отчасти. За *их* спиной были семь десятилетий, а за *нашей* — недолгое перестроечное время со всеми его странностями и неизвестностью, куда еще все повернет. Даже до путча мало кто ожидал отмены социализма, ну был бы он немного другой, «с человеческим лицом».

Кто ж мог представить, что Советский Союз рухнет? Солженицын пугал Запад нашествием коммунизма всего лет за десять до его падения. Диссидентам страна казалась монолитом. Единственный, кто предсказал ее распад, — Андрей Амальрик, да и то связывал его с войной с Китаем.

Между прочим, китайцы, как справедливо заметил Бегбедер, это единственный народ, способный быть одновременно и очень капиталистическим, и очень коммунистическим.

Казалось бы, так не бывает, не зря же француз дважды использовал слово «очень» — нельзя быть «просто» и тем, и другим одновременно. Но китайцы все делают, с нашей точки зрения, «очень». И в коммунизме они были первыми — по крайней мере, судя хотя бы по масштабам «культурной революции». Нынче же, не отказавшись от коммунистического вчера, плавно перешли в капиталистическое завтра. Время для них — пустяк, люди, кажется, тоже — этот удивительный народ смотрит в вечность.

Что же касается нашего, не менее удивительного народа, он перешел в капитализм сразу и бесповоротно, сам того не заметив.

День второй

Следующим утром я вновь поспешил на службу. Жизнь там закипела, источником видимой энергии стал вернувшийся из отпуска молодой министр, дверь в его кабинет не закрывалась, туда и оттуда сновали люди с бумагами.

Меня присовокупили к тем особо доверенным, кому поручили готовить бумагу о противозаконности объявленного в стране чрезвычайного положения. В действиях доверенных лиц, однако, никак не ощущалось единого порыва. Никто, казалось, не был особенно возбужден и не проявлял своего отношения к происходящему, не охал и не возмущался. Похоже, все вели себя подчеркнуто индифферентно. Дескать, мы делаем свою работу, ничего личного. И пусть даже победит противная сторона, к нам не придерешься.

Наверное, мы легко могли бы писать нечто противоположное, поддерживая тех, других. Кто тогда мог знать, кого именно в конце концов назовут путчистами? Ведь путч не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе.

Конечно, внутри у каждого возникал нехороший холодок. В конце концов, мы все были никакие не диссиденты, а обычные советские люди и трепетали перед партийными органами и просто органами, теми самыми, которые вдохновили ГКЧП на подвиги. А тут нам выпало писать такую крамолу, о которой еще вчера подумать было страшно. И делалось это по приказу начальства, чем фантасмагоричность ситуации еще более усугублялась.

Наша группа была не единственной. Министр, находившийся на прямой связи с Белым домом, по всей видимости, получал оттуда все новые и новые задания, одно хлеще другого, и передавал подчиненным для исполнения. В курилке я услышал от

коллег о проектах безумных указов, способных поразить самое смелое воображение. В них шла речь о запрете КПСС, закрытии коммунистических газет, ликвидации КГБ и прочих невероятных вещах. Кое-что из тех прожектов стало явью, но случилось все позже, тогда же последствия для их авторов были, как любили говорить в те дни, непредсказуемы.

В душе я недолюбливал советскую власть и на кухнях с друзьями не раз ее поругивал. Но здесь рядом были чужие люди, от которых я прежде не слышал о власти дурного слова. Понимая нелепость ситуации, все чувствовали себя не в своей тарелке и к тому же опасались вполне возможных санкций, когда большевики возвратятся и все вернут под свой контроль.

С нервным смехом мы предавали бумаге безумные идеи, стараясь немедленно позабыть их содержание, а в свободную минуту выходили на соседнюю улицу подивиться танкам, которые, по словам Жванецкого, ходили по Москве вместо троллейбусов.

О движущих силах демократической революции

В шесть вечера с чувством исполненного долга все разошлись по домам, а мы вдвоем с коллегой, с которым, похоже, говорили на одном языке, отправились к Белому дому. Народ там был все больше молодой, незнакомый, бросалось в глаза множество бородатых лиц (у нас в министерстве ношение бороды, как свидетельство свободомыслия, не поощрялось), некоторые по виду напоминали торгашей-кооператоров, лезть с ними на баррикады как-то не хотелось.

А ведь это они повернули колесо русской истории. Или не они, а те, кто выступал перед ними с горячими речами и воззваниями, как Ельцин на танке? Или же его закулисные сторонники, те, кто вел секретные переговоры с командирами шедших в Москву войск и секретарями обкомов, недавно возглавившими областные советы, уговаривая их переметнуться на свою сторону?

А может, какая-то роль принадлежала и нам, канцелярским крысам, оказавшимся в нужное время в нужном месте? Нынче к круглой дате вспомнили о персонажах недавней истории, и о тех, кто устроил заговор, и о тех, кто им противостоял — в Белом доме и вокруг. Но если уж вспоминать, то помимо этих да безмолвствовавшего, как водится, народа были и другие, на третьих ролях — малозаметные чиновники-столоначальники, винтики государства, тонувшего на их глазах. Чем они занимались, что видели, что чувствовали? Да не в их привычках много рассказывать. Возможно, сей пробел немного восполнит мой рассказ от имени одного из них, пусть и не самого типичного, такого, знаете ли, страдающего конформиста.

В свое время до меня дошло, что буржуазные революции делаются вовсе не буржуазией. Возможно, и демократические перемены не обязательно приносят демократы. Или не только демократы. Во всяком случае, немного людей с либеральными убеждениями встретилось мне в коридорах тогдашней власти, и их дальнейшая судьба и карьера, а точнее, ее отсутствие — лишнее тому подтверждение.

Перечитал написанное и понял, что у читателя мог возникнуть вопрос, а почему, собственно, при виде защищавших Белый дом представителей нарождающейся буржуазии — кооператоров, персонажи моего рассказа не пожелали с ними смешиваться. Вместо ответа сошлюсь на малозначительный эпизод, случившийся в столовой городской прокуратуры в тот же день, но чуть раньше, в обеденное время. Два буфетчика или повара, не знаю точно, словом, молодые ребята, стоявшие на раздаче, после того, как схлынула голодная толпа прокуроров, демонстративно сняли белые халаты и гордо объявили, что отправляются на защиту Белого дома. Обедавшие индифферентно наблюдали за этой сценой, никто их не останавливал.

Среди прокуроров были люди разных воззрений — те, кто постарше, сочувствовали путчистам, среди молодых многие были на стороне российской власти. Но увиденное вызвало у всех неприятный осадок. Здесь было нечто вроде классовой розни. И не в том дело, что обедавшие принадлежали к высокому сословию, а обслуживающий персонал — к низкому. В известном смысле, дело обстояло с точностью

до наоборот. В то время среди московских чиновников, как ни трудно в это сегодня поверить, преобладали люди небогатые и честные, тогда как работники общепита не всегда отличались названными качествами.

Между прочим, один из свидетелей этой сцены спустя несколько дней проводил обыск у поверженного первого секретаря московского горкома КПСС и был обескуражен скромностью обстановки градоначальника, особенно наличием черно-белого телевизора марки «Рубин». Правда, глава столичной партийной организации к тому моменту собственно градоначальником уже не был, перестройка выдвинула на этот пост мэра-демократа.

Не подумайте, что автор хочет сказать что-то плохое о толпе у Белого дома, это была, как справедливо писали в газетах конца августа, прекрасная толпа. Просто я пытаюсь объяснить мотивы действий, а точнее бездействия определенного сорта людей, вот и все.

Кстати, было бы ошибкой считать, что чиновников вовсе не было на баррикадах. Тем же вечером вокруг Белого дома бродила группа судей одного из московских судов во главе с председателем, горячим сторонником судейской независимости, обещанной демократической властью. И все же большинство из нас сидели и выжидали, ловя отовсюду хоть какие-нибудь сигналы.

Правда, некоторые отчаянные люди умудрялись сами их подавать, что стало возможно в условиях царившей неразберихи.

Страх и бесстрашие

В трехчасовом выпуске новостей по Первому каналу вдруг показали Ельцина и его команду и сообщили об объявлении ими ГКЧП вне закона, из чего многие решили, что ветер подул в другую сторону. На самом деле верные власти теленачальники, занятые подготовкой вечерней программы, не удосужились проконтролировать дневной эфир, и туда на свой страх и риск вставила крамолу скромная редакторша. Популярнейший телеведущий уверял впоследствии, что именно из-за нее провалился путч.

Другая смелая женщина, сотрудница секретариата премьера, одного из главных заговорщиков, разослала во все регионы по кремлевскому факсу постановление Верховного совета России с осуждением ГКЧП. Иные простодушные местные начальники решили, что в Кремль уже вошли войска демократов.

На самом деле штурмовать Кремль никто не собирался, хотя в Белом доме вроде бы обсуждали вопрос о возможности бомбежки Кремля двумя самолетами, «если не будет другого выхода», как впоследствии признавались в интервью два очень высоких лица из тогдашних сторонников Ельцина, впоследствии с ним расплевавшихся.

По счастью, ничего такого не случилось. Зато приступили к реализации другого фантастического сценария — по примеру польского и чехословацкого правительств времен Второй мировой войны, нашедших приют в Лондоне, сформировали «правительство в изгнании», готовое в случае чего поднять народ против коммунистов. В это самое правительство Ельцин назначил трех верных людей и тайно отправил на Урал — в свою бывшую вотчину, в бункер, выстроенный в свое время для защиты местного начальства от американской атомной бомбы.

За кулисами

Еще, пожалуй, следует пояснить читателю, какую такую закулису я имел в виду, говоря о тайных контактах белодомовцев. В те дни у демократического начальства шла своя секретная жизнь, булыжник — орудие другого революционного класса — уступил место телефону. Отнюдь не только мои знакомцы, все без исключения главные персонажи той истории потом не раз вспоминали, как звонили местным началь-

никам и уговаривали переметнуться на другую сторону. И, представьте, большинство дало себя уговорить, почти все областные советы не поддержали ГКЧП.

Больше того, Ельцин и его соратники в течение всех трех дней путча то и дело лично созванивались с самими членами ГКЧП, включая председателя КГБ, причем по свидетельству людей, присутствовавших при разговорах, по тону вовсе не враждебных. Можно предположить, что они легко понимали друг друга — не будучи одной крови, и те, и другие в общем-то принадлежали к одному кругу.

Телефонные разговоры непримиримых врагов особенно удивили Егора Гайдара, запечатлевшего их в одной из книг. А московский мэр и вовсе пришел к выводу, что победе над путчистами мы обязаны не только «действиям масс, но и сложным и тонким переговорам Ельцина с армией и безопасностью, с местными аппаратчиками» (лексика первоисточника сохранена). Вероятно, он оценил дипломатическое искусство первого российского президента никак не ниже «действий масс» и потому на митинге в честь *нашей* победы без обиняков предложил присвоить Ельцину звание Героя Советского Союза. Смелое предложение так и не было реализовано, то ли не успели, то ли еще что.

Если уж я все равно забежал вперед, то скажу, что в отличие от мэра, сохранившего верность президенту, иные из соратников вскоре с ним рассорились и принялись наперебой вспоминать, будто на вторую ночь путча он «хотел сбежать в американское посольство», но раздумал и просто «пил с собутыльниками и закусывал деликатесами в бункере Белого дома». Упоминание «деликатесов» указывает на время создания клеветнического рассказа, скорее всего рожденного в голодном девяносто втором или, в крайнем случае, девяносто третьем году.

Лично я слышал от тех, кто в тот день пришел в Белый дом на работу, о толпах новых людей, ходивших по коридорам власти как ни в чем не бывало. Известные писатели и артисты быстро освоились и переходили из одного высокого кабинета в другой. Самые смелые провели там ночь в ожидании возможного штурма — помню фотографию Ростроповича, сидящего в коридоре с автоматом Калашникова рядом с заснувшим охранником. Рассказывали и о людях, вовсе никому не известных, по виду кооператорах, предлагавших осажденным помощь — продовольствие, деньги, автомобили. Кого-то из них тоже запускали к начальству, в том числе к военному, неожиданно возникшему внутри Белого дома, оборону которого возложили на *своего* генерала. Снаружи был чужой генерал. В разговоре с одним из российских руководителей он обещал захватить Белый дом за пять минут, но почему-то не стал, то ли не было приказа, то ли приказ был какой-то не такой. Позже этого чужого объявили защитником Белого дома, вроде бы со своим войском он перешел на сторону восставшего народа, хотя сам ни тогда, ни позже не мог или не хотел вразумительно объяснить, на чьей же стороне тогда был.

Торопиться не надо

Умные люди вообще помалкивали, как во время, так и после событий. Проявляли себя люди недальновидные.

Помните, в первой части моего затянувшегося повествования упоминалось некое союзное ведомство, в республиканском звене которого трудился, а точнее, совместительствовал автор? Во главе его стояли деятели старой закалки, и, несмотря на пребывание начальника в отпуске, коллегия во главе с первым замом одобрила чрезвычайные меры и рекомендовала подведомственным учреждениям поддержать ГКЧП.

Как отреагировали на решение коллегии? Да никак. Многие из местных сочувствовали путчистам, больно уж надоело *раскачивание лодки*, но почти все благоразумно проигнорировали указания, равно как и факсы демократов противоположного содержания. К тому же начальники, при всей симпатии к первым и неприязни ко вторым, уже почувствовали преимущества свободы, то бишь местного *суверенитета*, забрезжила перспектива хорошей вольной жизни, и стремление к ней пересилило природное отвращение к демократии.

А что же глава ведомства? Не рванись он с черноморского пляжа в Москву, все могло бы сложиться иначе. Так нет, побежал за билетами и не понял своего счастья, когда в кассе не оказалось даже начальственной брони. Беспокойная душа, дошел до командующего округом, козыряя своим статусом, и убедил-таки отправить его военным бортом. Двадцатого августа вечером примчался в Москву, вышел на службу двадцать первого и двадцать второго, натурально, был уволен одним из первых. На его место назначили первого зама, того самого, что от души поддержал ГКЧП. До самого конца Союза этот зам оставался и.о., потом еще целый год, не торопясь, передавал дела новой власти и с почетом был препровожден в отставку.

При всей несоизмеримости нашего падения замечу, что немногим позже и меня за излишнюю ретивость подвинули, из двух советников оставив одного — того, который девятнадцатого не пришел на службу. Впрочем, *советовал* я по совместительству, так что потерю места легко пережил.

Понедельник закончился в субботу

Утро третьего дня путча началось с известия о гибели трех молодых людей в неравной схватке с боевыми машинами пехоты в тоннеле на подступах к Белому дому. Не вижу смысла пересказывать здесь этот трагический эпизод. Мне важно поведать лишь о том, что видел и испытывал сам или, в крайнем случае, слышал от людей, к чьим словам отношусь с доверием, стараясь не повторять общеизвестное.

Вновь забегу на несколько дней вперед. В пятницу вечером раввину Зиновию К. позвонили и не допускающим возражений тоном предложили прибыть завтра на площадь пятидесятилетия Октября (так называлась Манежка) для *отпевания* одного из погибших, оказавшегося евреем по паспорту (еще одна примета прошлого — указание этнической принадлежности в документах).

К тому моменту люди в православном священническом облачении уже стали появляться на официальных церемониях, теперь же, с победой демократии, пришел черед проявить религиозный плюрализм.

— В субботу по иудейским законам хоронить нельзя, — возразил Зиновий.

— Это государственные похороны, переносить нельзя, — ответили ему. И вновь настоятельно попросили прийти. К нему обращались не к первому, другие отказались, а этот был известен своим либерализмом. Короче, пришлось соглашаться.

Наутро, за пятнадцать минут до назначенного часа, Зиновий вышел из метро «Площадь революции» и увидел необъятное людское море, раскинувшееся довольно-таки широко. У маленького человека в кипе с молитвенником под мышкой не было никакого шанса протолкнуться до Манежа. Тем не менее он надел талес и стал прорываться вперед, извиняясь и объясняя встречным-поперечным, куда направляется. И, представьте, стоявшие через каждые двадцать метров люди с военной выправкой пропускали его вперед безо всяких документов. Да у него и не было их с собой, за исключением пропуска с основного места работы, «Гипропрома», — Богу он служил на общественных началах.

К Манежу, рядом с которым выстроили трибуну, он добрался в момент зачтения Горбачевым указа о награждении погибших званием Героя Советского Союза, разумеется, посмертно. Внизу стояли три гроба, рядом с которыми на низких скамеечках сидели родители погибших.

— Ты не имеешь права этого делать, — откуда-то сзади послышался голос Изи М., знакомого хасида, невесть как оказавшегося у него за спиной. — Сегодня суббота. Пусть хоронят завтра.

— Давай спросим у родителей покойного, что они по этому поводу думают.

Убитые горем родители были советскими людьми, далекими от того, что еще недавно считалось религиозным дурманом, и их удивила сама постановка вопроса. К тому же им в голову не могла прийти мысль сорвать государственные похороны. Выслушав ответ и обернувшись к коллеге, Зиновий обнаружил, что того и след простыл.

Раввина узнали по талесу и позвали на трибуну, где сразу после митрополита,

будущего патриарха, он вышел к микрофону и, раскрыв молитвенник, прочитал на иврите перед сотней телекамер поминальный кадиш по всем трем несчастным молодым людям, без различия происхождения. Евреи всегда своих выручат, невзирая на день недели, но если что, и за других Бога попросят.

Позже, на кладбище, после того как два гроба понесли в часовню, а один — ненадолго оставили, Зиновий сказал, обращаясь к Нему, лишь то, что положено говорить на проводах еврея из этого мира.

Между прочим, когда процессия только двинулась с Манежки к Ваганькову, раввину предложили место в руководящем автобусе, да он отказался — дескать, в субботу не имею права, только пешком.

Свой среди чужих

...Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать еще одну историю про того же раввина, случившуюся в октябре девяносто третьего, аккурат после второго путча. За это время многое изменилось, демократы давно переселились в Кремль, в оставленном ими Белом доме засели путчисты, покуда тех не выкурили с помощью прицельного огня. Однако номер телефона Зиновия К., видно, оставался в кремлевских анналах, и его вновь позвали на траурный митинг, на этот раз к Белому дому.

По пути от метро «Краснопресненская» (несмотря на близость к власти, денег на другой транспорт ребе не нажил) он проходил мимо стадиона, где незадолго до того держали мятежников. Тех, кто штурмовал мэрию и участвовал в марше на Останкино, и тех, кто просто попал под раздачу.

У стадиона стояла толпа, Зиновий заметил в ней священника в рясе с крестом и решил, что ему сюда. Тот читал молитву, этот достал Тору и начал свое. На него недовольно покосились, попросили потише, но не тронули — пусть себе бубнит.

Наутро раввину позвонили из Кремля и укорили в неявке. Он стал было спорить, покуда не понял, что вчера попал по ошибке туда, где поминали погибших защитников Белого дома, а его ждали на митинге победителей, по другую сторону покалеченного в недавних боях здания.

Этот новый путч ни в чем другом не походил на предыдущий, но завершался, как и тот, первый, под звуки еврейской поминальной молитвы. Ничего не поделаешь, двести лет вместе, или на одном месте, не знаю даже, как бы так поточнее выразиться.

Экипаж машины боевой

Вернемся в август девяносто первого. После того как похоронили жертв путча, дошел черед до того, чтобы покарать виновных в их гибели. На эту роль поначалу выбрали, помимо главных гэкачепистов, нескольких солдат — членов экипажа БМП-536, расследование же поручили женщине-следователю и принялись торопить — и сверху, и снизу. К начальственным советам она давно привыкла, а вот уличные нетерпеливые борцы с путчистами сильно досаждали, звонили с угрозами, у входа в городскую прокуратуру выставляли пикеты. Особенно нелегко давался ей путь на работу от станции метро «Павелецкая», приходилось при выходе оглядываться по сторонам.

К слову, после путча странные люди зачастили в дворянский особняк, издавна занимаемый московской прокуратурой. Они, как положено, записывались на прием и, дорвавшись до дежурного прокурора, возбужденно требовали ареста знакомых коммунистов или, в крайнем случае, выселения их из города. А что делать, приходилось с сумасшедшими разговаривать, такое время.

Женщина-следователь оказалась с характером и, допросив человек двести, пришла вовсе не к тому решению, которого от нее ожидали. Бойцов Таманской дивизии подняли по боевой тревоге 19-го рано утром, еще до объявления ЧП, и отправили в Москву. В течение двух суток они не отходили от машин и толком не

представляли, что творится вокруг. Получив приказ, двадцатого в полночь колонна из четырнадцати БМП втянулась в тоннель под пересечением Калининского проспекта с Садовым кольцом и пошла на таран баррикад. К ним побежали люди с бутылками с бензином, крича: «Убийцы! Фашисты!». Заполыхала броня сначала на одной, потом на другой машине, на башню третьей накинули брезент. Механик-водитель этой третьей пытался маневрировать, оператор-наводчик — вращал башню, стремясь сбросить брезент, в конце концов машина врезалась в колонну тоннеля, а один из нападавших, или защитников, — как считать — погиб.

Выводы следователя выглядели следующим образом — «личный состав отражал нападение гражданских лиц, которое не прекратилось даже после применения военнослужащими боевого оружия... в действиях экипажа БМП-536 нет состава преступления, военнослужащие, верные военной присяге, действовали в целях защиты интересов Советского государства» (другого-то государства, заметим, у нас не было). Правда, экипаж машины боевой, в отличие от *гражданских лиц,* ничем не наградили, если не считать наградой обретенную свободу, свободу и в прямом, и в переносном смысле.

Членов ГКЧП тоже начали было судить за трагический инцидент в тоннеле, это обвинение послужило довеском к основному — в измене родине (неясно только, какой). Оба, не успев рассыпаться, были погребены под думской амнистией 1994 года.

Да и не все скорбели по павшим героям, скажем, известный писатель и редактор газеты в ответ на вопрос, как относится к погибшим мальчикам, сказал, что, если целостность державы требует умерщвления этих трех, он за это умерщвление. Он по сей день любит вспоминать, как весной девяносто первого будущий глава российской компартии, в ту пору скромный цековец, попросил написать его «Воззвание к народу», именно так, ни больше ни меньше. Сотворенный им отчаянный антигорбачевский призыв, подписанный сразу известными патриотами, был опубликован в июле и стал своего рода сигналом. Тем обидней ему было, что гэкачеписты использовали его втемную, заранее не открыв, кому и о чем дан сигнал. Но все равно, по собственному признанию, писатель целых два дня пребывал в эйфории, особенно от того, что в редакцию один за одним приходили старики в орденах, как на праздник, и предлагали через него свои услуги новой власти.

На третий день их поток схлынул. Наутро стал очевиден конец путча, и те, кто еще вчера восхищался ГКЧП, внезапно притихли. Даже престарелый автор гимнов позвонил в редакцию и потребовал срочно снять написанное им двадцатого числа и уже набранное и сверстанное приветствие гэкачепистам.

«В России все секрет и ничего не тайна»

Утро первого дня свободы я просидел дома, уткнувшись в телевизор с Горбачевым, ночью прилетевшим из крымского плена, а потом — с его спасителем, в прошлом боевым летчиком, а ныне российским вице-президентом (была такая должность). Этот, последний, возбужденно рассказывал о гонке самолетов в Крым и при этом лихо шевелил усами, чем заслужил благосклонность советских (еще) женщин. Горбачев же не был, как обычно, словоохотлив и сообщил лишь, что вернулся в другую страну, об остальном не сильно распространялся: «Я вам все равно никогда не скажу всего».

До сих пор он хранит какую-то тайну, несмотря на все усилия журналистов ее из него вытянуть. Рассказы же других, того же российского вице-президента, опровергает, но как-то невнятно: «Там Сашка... Извиняюсь, что я назвал так. Он веселый человек, быстро говорит все... Даже что-то, по-моему, семьдесят процентов того, что не было» (из интервью на «Эхе Москвы», август 2011-го).

Путчисты, между прочим, поначалу тоже темнили, все обещали в будущем поведать что-то важное. Выйдя из Лефортова и разговорившись, стали все валить на Горбачева, во что сразу и безоговорочно поверили ненавидевшие его коммунисты. Между прочим, и у Ельцина в одном из интервью вырвалось, что Горбачев действовал

по взаимно согласованному с путчистами плану и ждал, кто победит, рассчитывая в любом случае примкнуть к победителям.

Несмотря на множество сторонников этой точки зрения, мне лично не верится в прямой сговор с участием Горбачева. В крайнем случае, я готов поверить лишь в то, что путчисты, возможно, как-то не так его поняли (причем не в разгаре, а на раннем этапе заговора) — вообще иной раз его трудновато было понять. Не знаю уж, как они там в Политбюро между собой разговаривали, как истолковывали начальственные недомолвки.

А уже позже, непосредственно перед путчем, он был тверд как никогда. В подтверждение сошлюсь на опубликованный протокол допроса на следствии министра обороны СССР Дмитрия Язова о визите заговорщиков к Горбачеву в Форос с предложением подписать документы о чрезвычайном положении: «18 августа в 22.00 объявилась делегация из Крыма. Все под хмельком. Расселись и стали по порядку рассказывать... Примерно час Горбачев не принимал, потом они зашли сами в его рабочий кабинет... Обрисовали ему обстановку в стране, что катимся в пропасть. И сказали, что неплохо бы вам, Михаил Сергеевич, уйти в отставку или временно поболеть... Он их выгнал, подписывать документы не стал».

А вот что мог утаить Горбачев от нас, телезрителей, на этот счет попробую высказать свое собственное предположение. Мне показалось, он побоялся раскрыть нечто таившее для него опасность, а именно сведения о содействии путчистам со стороны некоего высокого лица, его явного недоброжелателя и успешного соперника. Существует же вполне конспирологическая версия, согласно которой Ельцин знал о путче заранее, обещал не вмешиваться, по каковой причине путчисты его и не тронули, но в конце концов вмешался и всех переиграл — на всякого мудреца довольно простоты.

В самом деле, почему бы гэкачепистам было не поставить его в известность о своих планах, надеясь как минимум на нейтралитет? Его личную неприязнь к Горбачеву не надо было никому доказывать, к тому же у него, как и у заговорщиков, были причины для недовольства проектом союзного договора — в соответствии с этим, так и не подписанным благодаря путчистам документом российские автономные республики получали, наравне с Россией, статус союзных республик. Но если даже его и не предупредили, он и без них мог проведать об антигорбачевском заговоре.

Что-то такое носилось в воздухе, номенклатуре явно надоел Горбачев — по разным причинам, в числе которых была всеобщая в том кругу уверенность, что страну ему не удержать. За полгода до путча о нем публично предупредил Эдуард Шеварднадзе. За пару месяцев, в июне, во время визита Ельцина в Штаты московский мэр пришел в американское посольство и, опасаясь подслушивания со стороны чекистов, написал на бумажке просьбу передать российскому президенту, чтобы тот поскорее возвращался, вот-вот грядет переворот, и для вящей убедительности написал (верно!) три имени будущих путчистов.

Не ручаясь за точность, приведу рассказ одного из московских начальников той поры, впечатленного своим разговором с секретарем горкома партии (в июне или июле) и поделившегося услышанным со своим окружением. Тот высказался в том смысле, что скоро безобразию придет конец, а на вопрос о Ельцине как о единственной на горизонте сильной фигуре, способной противостоять заговору, ответил: «Борис Николаевич в курсе».

«Ельцинская» версия имеет смутное сходство с «горбачевской» не только недоказуемостью, но и тем, что, похоже, возникла из каких-то неясных крупиц правды, вроде той, которую я здесь привожу.

«Если даже будет доказано, что ситуация разыграна Ельциным, а ГКЧП "подставили", — пишет в своей книге Валерия Новодворская, говоря об этой версии как о чем-то само собой разумеющемся, — то я на Ельцина не в претензии... Я в претензии на недостаточно смелую игру. Я бы на его месте еще не так сыграла. Под предлогом борьбы с ГКЧП вызвала бы войска НАТО и США и под их прикрытием провела бы реформы, как американцы в Японии и Германии после 1945 года». Вопреки призыву

пламенной революционерки никаких американцев Ельцин вызывать не стал, а вместо того отбыл из Москвы в очередной отпуск, что, впрочем, случилось несколько позже.

К слову скажу, мысль о призыве варягов приходила в голову не одной Новодворской. Известный писатель недавно признался, как позвонил своей приятельнице, датской журналистке, и попросил опубликовать «довольно сумасшедшее заявление», «...что Кабаков некий, который недавно был здесь с презентацией своей книги, обращается лично от себя к... командованию НАТО с просьбой о военном вмешательстве против коммунистического реванша».

Раз уж речь зашла о домыслах и догадках, приведу уж вовсе фантастическую версию происшедшего, принадлежащую еще одному писателю — Дмитрию Галковскому.

«18 августа в Москве произошел путч Ельцина, главной движущей силой которого были чеченские боевики. Они ворвались в Москву на грузовиках, переодетые в форму советских офицеров, захватили министерства и Кремль, арестовали членов правительства. Арестованных заставили войти в никогда не существовавший ГКЧП. Отдельная группа изолировала Горбачева в Крыму. Тех, кто оказал хоть какое-то сопротивление, убили (маршала Ахромеева), остальных загнали пинками в грузовик и повезли на знаменитую "пресс-конференцию ГКЧП". Люди там сидели избитые, в пиджаках с чужого плеча, бледные как полотно. У них тряслись руки. На следующий день Пуго попытался сказать правду — его убили. Остальные замолчали навсегда. Горбачев заявил официально: правды о перевороте не узнает никто. За проведенную операцию Басаева и его боевиков наградили орденами. Чечне сказали: "Делайте, что хотите"».

Конечно, ничего такого не было и быть не могло. Это злой пародийный рассказ — кощунственно скрещивать фарсовую пресс-конференцию девяносто первого года с трагическими процессами тридцать седьмого. Чеченская составляющая делает его к тому же ужасающе неполиткорректным. И все же писателем-мифотворцем схвачено и переведено в анекдотическую форму нечто важное.

История, так или иначе, мифологизируется. Миф о кровавом заговоре злых путчистов, не удавшемся из-за народа, стремившегося к демократии, довольно быстро сменился другим — о злых демократах, помешавших добрым путчистам вернуть нашу родину СССР. Исторический анекдот о сговоре Ельцина с чеченскими боевиками, возможно, тоже имеет право на существование.

Свобода у аквапарка

Раз уж Чечня все равно затесалась в этот текст, то пусть читатель не удивляется появлению в нем аквапарка, открывшегося в этом году в городе Гудермесе. Я еще помню, как лет пять назад, когда только приступали к его строительству, по телевизору показали молодую даму в шикарном наряде, выходящую из коллекционного «Хаммера». Дама закладывала в фундамент строящегося аквапарка капсулу с посланием будущим поколениям.

Эта мода пришла из шестидесятых годов прошлого века, когда такие капсулы закладывались с тем, чтобы быть выкопанными при коммунизме, т.е. после 1980 года. В них людям счастливого будущего завещали не забывать тех, кто его для них построил. Где эти капсулы теперь, кто их выкопал? Странно, что в наше время вернулись к забытому советскому обычаю, тогда же народом и осмеянному.

Припоминается герой грузинского анекдота, спрашивавший держащего лопату соседа, что это он делает. «Миллион закапываю», — гордо отвечал тот. «Зачем?». «При коммунизме выкопаю». «Какой же ты глупый, Гиви, при коммунизме денег не будет». И слышит в ответ: «Это у тебя не будет».

А ведь знаменитый отец светской львицы был одним из тех, кто коммунизм закапывал. Как же все мы (мы, относившие себя к интеллигенции, тогда еще испытывали более или менее общие чувства) поначалу восхищались его профессорским

красноречием на съездах чиновных депутатов. Как гордились блестящим мэром, возвратившим своему городу имя Петра. В нем видели своего среди чужих, но слишком скоро он оказался чужим среди своих.

Так вышло, в день смерти великого демократа, в феврале 2000 года, я заседал в одном ученом совете, после которого случилось скромное застолье, где водку закусывали вареной картошкой и вареной же колбасой. За столом собрались профессора-гуманитарии, вынужденные бегать с лекциями из края в край Москвы, на зарплату которых нельзя было купить приличный костюм, а ведь раньше среди них попадались настоящие пижоны. И никто, никто добрым словом не помянул усопшего. Напротив, у кого-то вырвались злые слова. В ответ на мое робкое замечание — о мертвых хорошо или ничего, было проговорено что-то вроде — он сам из нас и нас же обрек на позорное существование. Своим такое не прощается. Сердца говоривших не смягчили и неудачи его последних лет — проигрыш выборов, травля со стороны бывших друзей, болезнь, бегство в Париж и даже внезапная смерть.

Он, как никто другой, олицетворял начало взращенной с его помощью демократии по-русски, а его единокровное дитя стала символом новой страны, нацлидером которой оказался любимый ученик профессора. В дни путча он был рядом с ним и помогал противостоять коммунистическому заговору. Было время закапывать Советский Союз, потом наступило другое — с сожалением о нем вспоминать.

«Поставь на место!»

Что-то мой рассказ уж слишком отдалился от третьего дня путча, вечером которого я, устав от телевизора, вышел подышать свежим после дождя воздухом (неделя выпала дождливая) и прошел немного вверх по улице Горького, против течения довольно большого числа людей, продвигавшихся по направлению к Лубянке. Кажется, в руках они несли огромный триколор, а может, это я пересказываю увиденную назавтра телевизионную картинку.

Как гласит старая байка, Каганович собирался снести храм Василия Блаженного, чтобы не мешал проезду техники на парадах, и снял его модель с макета Красной площади, на что Сталин заметил: «Лазарь, поставь на место».

...Ах, как *им* хотелось бы вернуть на место железного Феликса, свергнутого с пьедестала в ту ночь. Года не проходит, чтобы какой-нибудь начальник со слезами на глазах не молил о том Кремль. Говорят, по бронзовым щекам Дзержинского, когда его ставили на новый постамент в парке на Крымском Валу, тоже потекли слезы — пролилась скопившаяся в глазных впадинах дождевая вода.

Это я к тому, что в августе 2011 года вновь начали мусолить предложение вернуть монумент на место, на этот раз внесенное префектом московского центра. К слову сказать, сносили памятник вопреки действовавшим тогда законам, и я помню, как чесали в затылке прокуроры, с ужасом взирая на происходящее. Взирая — в переносном смысле. В прямом — молча наблюдали из своих кабинетов лубянские сотрудники и не думая вмешиваться.

В августе девяносто первого Москвой рулили совсем другие префекты, и назывались они иначе, и думали по-другому. Впрочем, особенности правового мышления начальства всегда были для меня тайной за семью печатями. Скажем, вскоре после путча новый председатель центрального райсовета провозгласил «суверенитет района» и право распоряжаться землей и имуществом на его территории, но этого ему показалось мало, и он объявил контроль над воздушным пространством.

Взглянуть бы на эти удивительные законы — им самое место в музее. Между прочим, судьбой тех бумаг, о которых я рассказывал в первой части своего повествования, и вправду интересовались сотрудники музея, намеревавшиеся сохранить для истории черновики исторических указов и распоряжений. Им на всякий случай отказали. Пришлось довольствоваться обгорелым каркасом троллейбуса, и он еще долго стоял в музейном дворе как напоминание о ночном бое в тоннеле под Садовым.

Следом за музейщиками в министерство заявилась пара сотрудников тех самых органов, которых так опасались в августовские дни мы, авторы революционных законопроектов. Желая, по-видимому, услужить победителям, они интересовались чиновниками, уклонявшимися от писания изобличительных бумаг, их настроениями. С этими разговаривали повежливее, чем с музейщиками, но тоже выпроводили. Казалось, их время ушло безвозвратно и больше не следует ожидать от них неприятностей. Жизнь показала ошибочность смелого прогноза.

Короткий период демократов-выдвиженцев быстро выдохся, их скоро смели другие люди, и те немногие из числа ушедших, кто не успел или не захотел ничего себе прихватить, на чем свет ругают нынешнюю власть. Но таких, по счастью, меньшинство, в большинстве же своем, покинув госструктуры, они нашли достойное место в бизнесе или еще где, уступив площадку сторонникам возвращения Дзержинского на законное место.

Свои

Как только некоторых из моих друзей-демократов после августа поназначали на большие посты, они стали вести себя со мной так, будто знают что-то такое, чего я не знаю и никогда не узнаю. Возможно, так оно и было.

Например, для меня осталось загадкой, по каким мотивам они подбирали новых, готовых к переменам чиновников. Брать их было неоткуда, и потому к старым кадрам обращались с призывом приходить с идеями. Тех, кто приходил с самыми революционными и глупыми, привечали и повышали. На некоторых ключевых позициях в знакомых мне министерствах вообще оказались дураки, пьяницы да мелкие жулики.

Между тем в начале девяностых там еще оставались опытные специалисты, не успевшие уйти в коммерцию. Но они оказались в стороне от раздачи постов, вакансии стали занимать странные люди в растянутых свитерах вместо рубашек с галстуками, которых прежде не подпустили бы к аппарату на пушечный выстрел.

Руководителем одного учреждения по инициативе моего высокопоставленного друга назначили упомянутого выше Андрея С., исключительно благодаря заслугам перед демократией. Прежде он никогда никем не управлял и, будучи к тому же гулякой, на новом посту не оставил вредных привычек.

Как рассказывали, на одном из заседаний правительства его непривычный вид привлек внимание премьера, заинтересовавшегося, кто этот нетрезвый бородатый господин в заднем ряду, то и дело отпускавший вполголоса матерные реплики. Обнаружив, что это глава федерального ведомства, он долго не мог прийти в себя и в тот же день отправил его в отставку.

Только в послепутчевой Москве «силовиками» могли руководить демократы с мэнээсовским прошлым. Помню, с каким умным видом новоиспеченные генералы высказывались по телевизору о качестве уголовного закона, с которым едва успели ознакомиться.

Одного из них я недавно повстречал на демократической тусовке. В отличие от вечно ноющих о народной доле ее участников этот уверял, что народ живет все лучше, в сетевых магазинах (он, кстати, возглавляет ассоциацию торговых гигантов) простые люди покупают дорогую бытовую технику и хотят только одного — стабильности.

Бывают, конечно, казусы, не без этого, — нахмурился было этот деятель, когда заговорили о судьбе посаженного олигарха Михаила Х., — впрочем, тот сам виноват. Он лично слышал от Х. когда-то, еще до посадки, — «в нормальной стране я давно бы сидел в тюрьме», вот и сел, и правильно, если государство дало тебе возможность украсть, верни все по первому требованию.

Сам веселый, довольный, хорошо выглядит.

«Но все же свобода и демократия…»

Вообще я замечал, что отношение кого-либо к августовским событиям иной раз прямо связано с его благосостоянием. Уважаемый мною семидесятипятилетний профессор Московского университета проклинает те дни как источник всех его личных бед и главной из них — нищенской пенсии. Правда, вопреки коммунистической премудрости — о приоритете бытия над сознанием мне известны и другие старики, которые, несмотря на собственное неблагополучие, все не могут прийти в себя от дарованной тем августом возможности говорить и писать, что вздумается, пусть их разговоры интересны лишь таким же, а написанное ими вряд ли кто опубликует. Есть и третьи, и хотя они в полном порядке благодаря детям-капиталистам, тем не менее страдают по утраченному Советскому Союзу и его справедливому устройству.

Что же касается тех, кто помоложе, с ними дело обстоит посложнее. Даже тем, чья жизнь изменилась к лучшему, что-то мешает хорошо говорить о минувшем. Смотрят-то они на прошлое из сегодняшнего дня, зная, что случилось потом, и получается, именно за это они и боролись.

Все эти люди, о которых я говорю, относились к «интеллигентам», одному из четырех (по Игорю Эйдману) существовавших в СССР социокультурных типов наряду с «работягами», «начальниками» и «торгашами». Среди защитников Белого дома попадался каждый из них, но большинство, по-видимому, составляли «интеллигенты» и «торгаши». Кто из них в большей степени выиграл в результате происшедших после путча перемен?

«Начальники» на фоне волны борьбы с их грошовыми (по нынешним временам) привилегиями смогли конвертировать власть в собственность и передать ее своим наследникам. «Торгаши» получили возможность легально заниматься бизнесом. Проиграли, все по тому же Эйдману, «работяги» и «интеллигенты», поскольку в массе своей не пробились в бизнес или в новые начальники, а их уровень жизни и социальный статус резко понизился, по крайней мере, в девяностые годы. «Работяги», правда, получили дешевую водку, а «интеллигенты» — обрели свободы передвижения и информации, не способные, впрочем, заменить всю полноту политических свобод. Вряд ли следует говорить, что надежды тех и других на социальную справедливость не оправдались.

«В августе 1991-го я был в числе его защитников, то есть на стороне Ельцина. В октябре 1993-го я тоже был в числе защитников Белого дома, уже против Ельцина. Уже тогда я понял, к чему мы придем…» — так инженер-электрик из Москвы прокомментировал свой ответ об отношении к августовскому путчу на одном из сайтов. В юбилейные дни 2011 года интернет заполнили анкеты на тему, кто что делал в августе девяносто первого, а телевидение — передачи, среди телезрителей которых поддержка ГКЧП зашкаливала за 80 процентов.

Для того чтобы не допустить уж вовсе разгромного счета, приведу выдержки из мейлов двух моих знакомых, откликнувшихся на мою просьбу вспомнить относительно недавнее прошлое.

«…Я был частью одной из множества маленьких групп, строивших баррикады и проведших одну из августовских ночей в Белом доме. В нее входили комсомольский работник, учительница математики из соседней школы, бывший фарцовщик, открывший два продуктовых ларька, и бухгалтер — ваш покорный слуга. Каждый из нас ожидал чего-то нового и хорошего для себя и своей страны и почему-то надеялся, что перемены в жизни наступят прямо этой ночью. Когда прошло время и минуло состояние эйфории, стало ясно, что для людей, не стремящихся во власть или к большим деньгам, ничего особенного не произошло».

«…Я только-только успела накупить множество книг, о которых мечтала в детстве и юности, и переживала, что теперь их опять будет недостать. Потом добавились переживания по мужу, ушедшему к Белому дому и оставившему без ответа мой вопрос: «Понимаешь ли ты, что у тебя ребенок?». На третий день муж вернулся с друзьями, и все вместе мы радостно выпивали за то, что наш шестилетний сын будет свободно читать все, что пожелает. Дальше этого мои представления о свободе не

простирались. Нужно ли говорить, что мой выросший сын — не читатель, что с мужем я давно развелась. Но все же свобода и демократия, и мои драгоценные книжки стоят на своих полках».

Чего не может быть на свете?

Еще немного занимательной социологии. По Симону Кордонскому, у нас всегда один и тот же строй. В периоды стабильности управление ресурсами монополизировано государством, в революции и перестройки ресурсы расхищаются, а потом возвращаются туда же, где были.

Расхитители бывают трех типов — «воры», «бандиты» и «удельные князья». Все они до поры скрыты в *ресурсном* государстве, становясь в смутные времена главными актерами российской драмы. Как только государство дает слабину и начинает либерализацию экономики, они начинают воровать, грабить и готовиться к отделению своих княжеств.

У каждого свой тип культуры. Например, воровская — с легендами об удачливых ворах и шансоном или бандитская — эти в отличие от воров озабочены судьбами страны, которую крышуют, ее величием и потому любят высокое искусство «типа опера-балет» и Иосифа Кобзона.

...Никита Богословский когда-то спросил Леонида Утесова, чего никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть на свете. «Я думаю, — ответил тот, — блатные песни никогда не будут звучать в Колонном зале». Зазвучали.

В одном месте прибыло, в другом — убыло. При Ельцине куда-то делся политический анекдот. Мы перестали смеяться над политическими остротами, основанными на двоемыслии «начальников», и стали — над действительностью. Когда, в отличие от советских времен, они начали думать и говорить одно и то же, анекдот стал былью.

Особенно разошлись, отведав даденного им суверенитета, местные удельные князья. Один хотел было построить легальный публичный дом, собирался слетать на другие планеты, завел себе советника по космосу. Была у него идея наделить чиновников земельными вотчинами, лишив бюджетного содержания.

В прежние времена такое было возможно только в анекдоте, да он и был — о том, как собрал первый секретарь обкома свое окружение: «Ну теперь все у вас уже есть, пора и о людях подумать». «А по сколько душ будут давать?» — спросил самый простодушный чиновник.

Да, забыл сказать, после визита в Америку этот деятель стал фанатом тогдашнего американского президента (тогда такое еще не каралось) и даже произнес в телекамеры: «Хороший мужик Билл Клинтон, завидую Монике Левински». Жизнь превратилась в анекдот, разве не так?

«Как ученый»

После путча во власть ринулось множество молодых людей с кандидатской, а то и с докторской степенью, уже потому ощущавших некоторое превосходство над прежней номенклатурой. Той это казалось обидным и подвигло многих «остепениться».

Знакомый *мэнээс* из газового НИИ купил дочке квартиру благодаря кандидатским диссертациям, написанным для «красных директоров» с Урала. Не уверен, что те их до конца дочитали.

В гуманитарной сфере возникла еще более мощная индустрия по производству научных трудов. Ее расцвету способствовало то обстоятельство, что раньше считалось неприличным защищать докторскую менее чем через десять лет после кандидатской, теперь же ни у кого не вызывал вопросов перерыв в два-три года.

Один видный деятель за пару лет, не манкируя должностными обязанностями,

испек две диссертации и столько же пухлых монографий. Когда его осторожно уличили в расхождении между тем, что написано в одной из них, и данной им директивой, он, не моргнув глазом, пояснил: так-то я выступал как ученый, а сейчас — как должностное лицо.

В те годы начальники полюбили говорить о себе — «я, как министр», «я, как политик», а кто заимел ученую степень — еще и «как ученый».

Иные заделались писателями. Один такой принял на службу в свое учреждение литературного «негра» и потребовал довести до всеобщего сведения, как из простого мента сумел дорасти до государственного деятеля. «Негр», чьи собственные произведения я знал и ценил, пожаловался мне на несоразмерно низкую оплату каторжного труда по приукрашиванию довольно-таки скудной биографии. Когда книга под фамилией заказчика вышла, я, воспользовавшись коротким с ним знакомством, поинтересовался, поощрил ли он подлинного автора. Ответом было недоумение, за что ж платить-то, если тот лишь записывал чужие слова, да и те все переврал.

Девяносто третий год

В девяносто первом году многие полюбили демократию по той простой причине, что поверили — скоро заживем как на демократическом Западе. Но жить в России так, как будто она и есть Запад, получилось у немногих. Если бы они при этом еще не обещали остальным златые горы...

В девяносто третьем году племянник женился на дочке вице-премьера, что само по себе неплохо характеризовало нашу юную демократию, допускавшую мезальянс. В день знакомства с его родителями мать жениха, еще не разуверившаяся в демократах, попыталась завести с отцом невесты разговор о политике.

— Когда же заживем лучше? — спросила в лоб сестра.

Ее собеседник уже зажил куда лучше, чем прежде, но речь шла не только о нем.

— В этом году и в следующем, — не моргнув глазом, бодро ответил он, — будет так же или даже хуже. В девяносто пятом наступит перелом, а к девяносто восьмому все окончательно выправится.

Быстрота ответа и точность прогноза привели меня в уныние. А сестра восприняла его как должное, когда-то же рынок должен все расставить по местам. Некоторые к тому моменту уже пользовались его плодами, получая так называемые дивиденды от «МММ» и прочих рекламируемых по телевизору компаний.

Знаменитым финансовым пирамидам оставалось жить меньше года. Брачный союз протянул немногим дольше. В девяносто восьмом случился дефолт.

...Пора заканчивать мои заметки, которые, вероятно, не имели бы право на существование, будь о тех днях написаны повести-романы и сняты художественные фильмы. Но их нет как нет. Никому не интересно, как так вышло, что двадцать лет назад мы проснулись в другом царстве-государстве. Нам так повезло или, напротив, не повезло, что на нашем веку распалась связь времен и на нас обрушились обстоятельства новой жизни, а мы даже не сумели договориться между собой, что это было. Осталось лишь короткое слово — путч.

Вспоминается чеховский Фирс, тот вообще не называл по имени реформу 1861 года (отмена крепостного права) — он говорит так: «до несчастья» или «после несчастья».

Александр Воронель

Мир как воля и представление

...человеческая реальность состоит не из времени и пространства,
а из неизвестно чьих шепотов, бормотаний, выкриков и голосов.

Виктор Пелевин. «Зал поющих кариатид»

Способность западной цивилизации защититься от вторжения врагов или чуждых варварских норм поведения определяется не военными силами. Материальные силы свободного мира (с небольшой натяжкой можно эту цивилизацию называть и так) почти безграничны. Однако готовность западного человека следовать собственным принципам сегодня повсеместно сильно подорвана. Он и сам по временам не прочь повесить серьгу в нос, разрисовать татуировкой свое тело и заткнуть рот оппоненту. Во всех европейских странах растет процент неонацистов, антиглобалистов, сатанистов и всяческих отщепенцев...

В таких условиях избиратель (благо в этих демократических странах кое-что еще зависит от избирателя) хочет от своего политического руководства какого-то прояснения, как говорят журналисты, «политического горизонта».

Однако в делах и речах современных политиков часто поражают логические несуразности, непоследовательность, отсутствие исторической перспективы — недостаток всего того, что, казалось бы, должно составлять основу профессиональных качеств общественного деятеля. Это часто дает рядовым гражданам основания пренебрежительно судить о политическом руководстве и ощущать свое интеллектуальное превосходство. Возможно, оправданное...

Однажды на отпуске мы с девятилетним внуком шли вдоль деревенской улицы в немецкой деревне, и он меня спросил:

— Почему все в Израиле так сильно ругают правительство?

Мы в это время подошли к местному кафе, и я задержался с ответом, заходя напиться. У стойки с пивом толпились местные жители и громко орали. Все перекрывал мощный согласный рев: «Unsere Regierung — Scheisse!»[1].

— Вот видишь, — сказал я внуку. — Мы не одиноки...

Издеваться над своим правительством даже вошло в джентльменский набор всякого западного интеллигента. Джорджа Буша американские интеллектуалы единогласно считали дураком. И Рейгана, кстати, тоже...

Однако что такое интеллект и каким образом его можно применить к реальности общественной жизни?

По-видимому, интеллект — это способность анализировать сложную реальность, выделять существенные тенденции в хаотическом потоке событий, распутывать клубки противоречий, различать главные и второстепенные скрытые мотивы и предвидеть будущие последствия поведения людей и организаций. Одним словом, схематизировать. То есть упрощать. Несомненно, что это хорошо для понимания действительности. Многие интеллектуалы хорошо ее понимают...

Александр Воронель — физик, профессор Тель-Авивского университета, главный редактор литературного журнала «22». В «Дружбе народов» публикуется впервые.

[1] Наше правительство — дерьмо! — (*нем*.).

Хорошо ли это для эффективного воздействия на нее? Непременно ли для такого воздействия необходимо детальное понимание?

В этом как раз можно сомневаться.

Когда, выехав из России, я впервые посетил США, со мной захотели встретиться люди из РЭНД-корпорейшн, знаменитой исследовательской фирмы, которая составляет аналитические обзоры для правительства.

Может быть, они рассчитывали узнать от меня какие-нибудь важные российские секреты?

Я пошел на встречу, уверенный, как и все советские диссиденты, до и после меня, что, наконец, открою глаза этим жалким, беспомощным либералам, которые спят на краю пропасти, куда вот-вот готов провалиться весь их демократический мир…

Обе стороны были разочарованы встречей. Оказалось, что мне нечего сообщить об СССР, чего бы лихие ребята из РЭНД не знали. Обо всех аспектах советской жизни они были осведомлены гораздо лучше меня.

Я был поражен их осведомленностью и спросил:

— Почему же ваш президент ведет себя и высказывается так, будто он ничего об СССР не знает и не понимает?

Вместо ответа эксперт, беседовавший со мной, приоткрыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Бен, поди-ка сюда! Здесь у нас сидит парень, который верит, что наш президент, принимая решения и произнося свои речи, считается с нашими отчетами…

А с чем же считается президент?!

Экспертные оценки фактического состояния дел — вроде тех, что дает РЭНД-корпорейшн, — лишь один из факторов, и часто не главный, влияющих на принятие ответственного решения.

Политическая реальность является только наполовину материальной, а более чем наполовину виртуальной, воображаемой и изображаемой.

Соподчинение элементов этой действительности не поддается строгому мышлению прежде всего потому, что в первую очередь приходится учитывать полностью нестрогое мышление многомиллионных соучаствующих масс. Это мышление только в исключительно редких случаях определяется волей политических деятелей. Скорее политические деятели сами являются заложниками (а наиболее успешные — даже медиумами) спонтанно сложившихся массовых стереотипов.

Всякий предмет, приковывающий общественное внимание, всякое явление и всякое государственное устройство имеют три разных модуса существования:

1) Что на самом деле.

2) Что люди об этом думают.

3) Что профессиональные оценщики — реклама, масс-медиа или журналисты, критики или эксперты — захотят нам представить.

Три эти стороны одного образа редко находятся в гармоническом согласии, и относительный вес его компонент в разных группах людей совершенно разный.

При современном уровне глобализации мы стоим перед почти непроницаемо вязкой общественно-политической реальностью, в отношении которой любое воздействие может оказаться катастрофическим по своим последствиям. Одновременно эта топкая трясина бесконечно податлива. Случайный локальный скандал или колебание биржи может изменить весь пасьянс. Политическая реальность в отличие от материальной состоит из совершенно несопоставимых, разнородных элементов, среди которых не только трудно угадать относительную важность каждого, но и невозможно удержать один и тот же расклад на протяжении заметного промежутка времени.

Согласно одному из сюрреалистических рассказов Борхеса при дворе китайского императора *«все животные делятся на: а) принадлежащих императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) нарисованных кистью, д) сказочных и е) прочих»*…

Подобно этому и политическая действительность состоит из: *нераспознаваемых государственных интересов, неотличимых от личных интересов их представите-*

лей, из случайно закрепившихся словесных штампов, военных возможностей, устоявшихся привычек обывателей, исторических народных обид, доходов коммерческих и масс-медийных компаний, решений судов, повсеместных сознательных и непроизвольных дезинформаций, амбиций должностных лиц и журналистов, случайных недоразумений, зарплаты поденщиков и профессоров, качеств программистов и еще многих, многих прочих реальных и воображаемых элементов…

Я еще ведь, кажется, не упомянул бесчисленные подкупы, забастовки, посулы и угрозы, колебания биржи, шпионские и воровские аферы, причуды знаменитостей… Судьбы целых народов зависят от капризов голливудских звезд и остроумия телекомментаторов. Какой бы отдельный аспект реальности мы ни выделили, окажется, что в единственном числе он не является решающим, и многие из них вступают в противоречие (или усиливающее взаимодействие) друг с другом…

Сошлюсь на страну, где я теперь живу. Шестьдесят лет назад при возникновении Израиля мир, казалось, был проще. Нефть была дешевле. Газеты и телевидение были не так влиятельны. Западные обыватели, обнищавшие и напуганные недавней мировой войной, были меньше уверены в себе. Поп-звезды не всегда имели политические предпочтения. Население Израиля было в десять раз меньше и гораздо более однородно. Успехи израильских, да и других демократических политиков того особого времени ни в какой мере не могут служить примером для сегодняшнего лидера.

Демократия как сообщество свободных и ответственных индивидов, какой она мыслилась в американской Декларации независимости, не существовала, конечно, и в момент ее провозглашения. Но стремление к ней в значительных группах населения европейских стран присутствовало.

Однако за прошедшие двести лет благосостояние свободных стран сильно выросло. Слишком большая часть их населения, будучи освобождена от давящей ежедневной заботы о хлебе и безопасности, может себе позволить не ограниченное ни страхом, ни нуждой, не мотивированное ни классовым, ни расовым стимулом участие в общественных (а равно и антиобщественных) движениях.

Если в прошлом можно было приблизительно согласиться, что «любовь и голод правят миром», то в государствах «всеобщего благосостояния», особенно после успешной сексуальной революции, ничто уже больше миром не правит. Свободный мир стал неуправляем. Политическая жизнь стала не столько полем столкновения интересов социальных слоев, сколько полем столкновения амбиций профессиональных политиков. Моментальный успех стал единственным критерием для лидера. И склонность к компромиссу в ущерб здравому смыслу и собственному отдаленному будущему вошла в регулярную практику этой цивилизации.

Серьезное отношение ООН к требованиям палестинских организаций, которое в 1947 году диктовалось условиями назревающей «холодной войны» и открывало СССР редкий шанс протянуть руку на Ближний Восток, уже и тогда означало многообещающую уступку требованиям террористов изменить в их пользу европейские критерии. Существовавшие тогда же и в Германии организации беженцев из Судетов, Силезии и Польши в просоветских масс-медиа раздраженно называли «реваншистскими».

Как-то в Америке нам с женой пришлось разговориться с хозяйкой придорожного мотельчика. Она оказалась судетской немкой и рассказала, как им с братом (тогда еще детям — в 1945 году) пришлось бежать из Чехии. От неминуемой смерти в руках разъяренных чехов их спасла только счастливая мысль деда представляться евреями. (А мы и не знали, что родиться евреем может быть ценным преимуществом!) Вместо того чтобы, подобно палестинцам, протестовать и всю жизнь мстить чехам, они перебрались в Америку и после долгих мытарств открыли свой маленький бизнес…

Представим себе теперь, что миллионы этих «реваншистов», насильно выселенных из своих домов и переживших кровавые погромы и бескровные изнасилования, отказались от вживания в чуждый им образцовый порядок западных земель Германии, пренебрегли судьбой детей и внуков и решили потратить жизнь на массовые протесты и террор (а при обострении «холодной войны» у ЦРУ, возможно, нашлось бы для них и финансирование). Разгневанные немцы-пруссаки из Померании и Кенигсберга взрывались бы в берлинском и пражском метро и захватывали советс-

ких, польских и чешских заложников на международных авиалиниях. Требовала бы тогда ООН вернуть «обездоленному прусскому народу» Восточную Пруссию?...

В отличие от «мягкосердечных», ненастойчивых немцев реваншисты в арабском мире и через шестьдесят лет (т.е. по-видимому, уже их внуки и правнуки) все еще надеются на какого-то Хоттабыча, который произведет для них чудо, до сих пор считавшееся недоступным даже Богу, — стереть прошлое и вернуться к границам какого-нибудь прошедшего года...

Впрочем, это только у нас с тех пор прошло шестьдесят лет.

В мусульманском мире время не течет.

Все преобразования в пользу прогресса в прошлом происходили в результате деспотической, едва ли не преступной активности элитарных групп и отдельных деспотов, выбрасывавших массы людей из их традиционных ячеек и превращавших их в резервную рабочую (или военную) силу, которую можно сосредоточить для использования в новом направлении. Огораживания в Англии, войны с индейцами в Северной и Латинской Америке, вывоз рабов-негров из Африки, преобразования Петра I и И.Сталина в России имеют один и тот же смысл — мобилизации и переориентации больших масс населения на иной (потенциально более динамичный) образ жизни (или смерти).

Все эти действия, спустя столетия справедливо трактуемые как злодейства, были возможны лишь в той мере, в какой (и только до того времени, пока) большая часть вынуждаемых к переменам людей не имела собственного голоса.

Атмосфера последних ста лет, зависимая от общественного мнения, препятствует всякому реальному изменению, ибо всякое рациональное, инициированное сверху изменение общественных условий возможно лишь насильственно. Оно неизбежно ущемляет интересы какой-то части населения, успевшей приспособиться именно к этим условиям.

А всякое насильственное изменение (например, переселение), не согласованное с его жертвами, есть — по современному определению — преступление властей.

Михаил Горбачев, который на Западе оценивается как прогрессивный герой, давший свободу своему народу, воспринимается самим этим народом чуть ли не как преступник, нарушивший их цветущее существование на полдороге к полному торжеству справедливости и в мировом масштабе. Только умелое манипулирование и изощренная демагогия спасли Ельцина от победы коммунистов на выборах...

И это после всех разоблачений злодейств прежних режимов!

Любые изменения болезненны для какой-нибудь части населения. Особенно болезненны они всегда для той части, которая не склонна (или чаще не способна) к ним приспособиться. Это прежде всего касается бедных, необразованных и догматично настроенных. Такая коалиция почти всегда побеждает в обществе, где у каждого только один голос. Поэтому в демократических обществах так велика (я бы сказал, решающа) роль политической демагогии, лоббирования и разных форм коррупции. Именно эти отклонения от демократического идеала и обеспечивают обществам некоторую подвижность. Вопросом номер один для каждой демократической страны становится вопрос о направлении результирующего вектора изменений.

Логически безупречные концепции знающих интеллектуалов хороши как идеологический материал для сплочения кружка сторонников, возможно, группы лоббистов, может быть, даже для основания новой партии. Но вряд ли они могут послужить основой для принятия конкретных сиюминутных политических решений лидеров. Их конкретные решения почти всегда непоследовательны и недальновидны, хотя эффект этих решений часто оказывается долговременным. Только из таких — непоследовательных, но со временем ставших привычными — случайных решений и составляется тот кусочно-разрывный процесс, из которого мы в своей наивности хотим вылепить непрерывную Историю.

Демократически избранный политик должен не только осуществлять свое головокружительно парадоксальное движение в такой действительности, но еще и как-то объяснять и обосновывать свои решения одновременно своему и окружающим народам.

Вот почему демократический лидер часто запинается и временами допускает логические зияния в обосновании своих решений. Вот почему он часто подозревается (и то и дело уличается) в лицемерии. Его реакция на видимые всем события одновременно является также и его непризнанным отзывом на те неуловимые дуновения в настроении масс людей, нюансы в тоне дипломатов, колебания в самолюбии влиятельных лоббистов, расхождения в экспертных оценках генералов и аналитиков, которые в своей совокупности внятны только опытным манипуляторам. Успешные лидеры обладают интуицией игрока, которая подсказывает им момент для удачного хода, когда интеллект молчит (и, может быть, даже мешает?).

Тридцать лет назад весь мир и заметная часть нашего населения были в бешенстве, когда Израиль разбомбил атомный реактор в Ираке, на котором работали французские техники. Теперь мир должен был бы поблагодарить за это Менахема Бегина, а европейские техники вряд ли еще раз захотят пытать судьбу, хотя в тот раз, благодаря деликатности израильских спецслужб, французские техники не были задеты. Все же Иран теперь обречен нанимать только более беспечных российских техников.

Тот же Менахем Бегин, вопреки своей идеологии, сопротивлению старых соратников и обоснованным сомнениям, принял решение о мире с Египтом, который, худобедно, держится уже почти тридцать лет и, похоже, президент Мубарак теперь становится чуть ли не одним из вернейших союзников Израиля…

Бегин принял оба эти решения потому, что он привык полагаться на свою интуицию больше, чем на экспертные оценки… Это очень неприятная человеческая черта. Но без такой самоуверенности ни один глава правительства не смог бы работать.

Наибольшей самоуверенностью, наряду с магнетической силой внушения, обладают как раз некоторые тяжелые психопаты, и это не секрет, что почти вся первая половина XX века прошла под знаком титанической борьбы двух великих параноиков за господство над миром. Оба они, и Сталин и Гитлер, неоднократно принимали решения, радикализм которых поражал современников, заставляя одних признавать их гениальными, других — безумными. Их деятельность во многих деталях до сих пор порождает ужас в свободном мире и, пожалуй, ученическое, неумелое подражание и обоснованную зависть в несвободном мире деспотов и экстремистов.

Невообразимая сложность современной реальности поощряет обывателя к вере в вождей. Все более слепая вера в вождей в сочетании со столь же слепой верой в универсальные демократические процедуры формирует в «свободных» обществах необоснованную надежду на чудесные решения неразрешимых проблем. Эта вера у избалованного легкой жизнью обывателя, привыкшего вручать свои проблемы политической элите, то и дело берет верх над всякими рациональными соображениями и здравым смыслом.

После целого столетия веры в «науку», Историю, эволюцию, объективные условия, производительные силы, «классовые» и «расовые» интересы; после Льва Толстого с его «народным разумом» и Карла Маркса с его «классовой борьбой» и «производственными отношениями»; после возникновения и развития научной социологии и признанных успехов антропологии мы опять, словно старуха к разбитому корыту, возвращаемся к произволу предводителей, эпидемическим народным психозам в духе крестовых походов и «священных войн», к отчаянным планам заговорщиков…

Наступает всеобщее господство волюнтаризма. Мир уже больше не «объективная реальность, данная нам в ощущениях», а скорее опять «воля и представление», как было до исторического материализма, во времена королей-завоевателей, волшебников и героев. Не пора ли уже поверить и в чудеса?

Вадим Кирпичев

Смысл коммунизма, или Возвращение Спартака в Рим

> Этот вопрос не смогли решить ни современники, ни потомки, ему посвящены статьи и целые книги, о нем до сих пор спорят. Наверное, это и есть самое непонятное в истории Спартаковской войны. Почему Спартак остался в Италии?
>
> *Андрей Валентинов. «Спартак»*

Слезы наворачивались у меня на глазах, когда подростком я читал эти страницы Джованьоли. Спартак прорвался в Цизальпинскую Галлию. Проклятый имперский Рим остался за плечами. Наконец-то можно уйти из тюрьмы народов. Беги, Спартак, беги! К жизни, воле, свободе!

И вдруг вождь рабов разворачивает легионы и возвращается в Рим на верную смерть. Восставшие гладиаторы будут разгромлены, други Спартака будут корчиться на крепких римских крестах.

Спартак, зачем ты вернулся?

Валентинов прав: есть десятки версий. Все не выдерживают критики. Но ответ мы сейчас получим. Правда, для этого придется до донышка понять смысл коммунизма. Откроем мы и финальную тайну Спартака. Как известно, армия рабов была разгромлена под Брундизием, но тела вождя не нашли. Спартак не Чапаев, реку Урал не переплывал, но исчез бесследно. В конце статьи мы уже будем точно знать, куда ушел величайший предводитель рабов.

Опиум для рабочего класса

Идея коммунизма всегда вызывала подозрения в утопизме. Кто был ничем, станет всем, последние — первыми. Раб капитала — рабочий взойдет вдруг в царствие земное коммунизма, получит по потребностям. Весь строй учения намекал: перед нами христианского толка политическая сказка для эксплуатируемых.

Как-то после лекции по научному коммунизму я подошел к преподавателю со своим недоумением. В истории ведь никогда эксплуатируемые классы не побеждали. Не рабы уничтожили рабовладельческий строй, а феодализм. Не крепостные отправили королей на гильотину, а буржуа. Новая, передовая формация всегда сметала малопроизводительный старый строй, а вовсе не эксплуатируемые классы. Не старые рабы в итоге побеждали, а новые эксплуататоры.

Вместо ответа преподаватель подвел меня к окну, за которым бурлила страна победившего социализма. Тогда я не нашелся, что ему ответить.

Кирпичев Вадим Владимирович — прозаик. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Коммунизм — утопия

Вроде бы перед нами аксиома. Марксизм есть полезнейшая социально-политическая сказка, миф эксплуатируемых. Опиум для рабочего класса.

Аналогии между марксизмом и восстанием Спартака буквально напрашиваются. Спартак вел на Рим легионы рабов. Маркс поднимал на борьбу с буржуазией армию эксплуатируемого рабочего класса. Спартак обещал сокрушить римскую Волчицу. Маркс был уверен в итоговой победе угнетенных капиталом рабочих. Утопизм марксизма-спартакизма достаточно очевиден. Рабы не могут уничтожить хозяев. Рабочие не в силах победить капиталистов. Их бунты могут только на время ослабить степень эксплуатации, вырвать послабления, но не власть.

Логично? Абсолютно. По этой безупречной, как мне кажется, логике марксизм есть всего лишь реактивная идеология эксплуатируемого класса. Идейный противовес идеологии либерализма и беспощадной эксплуатации. Средство устойчивости системы. В политической реальности буржуазного общества коммунистические партии могут быть только в оппозиции, а не у власти. Дело рабов бунтовать, но не править. Вырывать социалку, но не руководить процессом рабовладельческой эксплуатации. Марксизм — это перманентное восстание Спартака, которое не может закончиться победой. История не знает успешных бунтов рабов. На Западе коммунисты никогда не приходили к власти.

Сравним формации. Так мы лучше поймем идентичность спартакизма и марксизма.

Уравняем рабовладельческий строй с капиталистическим.

В чем смысл любой формации? Заставить много и хорошо работать высшего примата. А он не зря высший, он далеко не дурак, поэтому задача сия архисложная. Для ее решения требуется тяжеловесная, мощная система принуждения. А способов всего два — экономическое принуждение и внеэкономическое. Вот и вся корневая разница между капиталистами и рабовладельцами.

Рабовладельческий строй — античный капитализм. Нынешний капитализм — финансовое рабство.

Рабочий — свободный раб капитала. Вольноотпущенник, поменявший оковы на зарплату. Капитализм на этапе промышленной революции, на очередном витке развития эксплуатации высшего примата возродил рабство в виде диктата капитала. Плетью стал желтый дьявол. Так что капиталист есть прямой наследник рабовладельца. Пару хозяин—раб сменила пара капиталист—рабочий.

Но любая эксплуатация, пусть и самая передовая и эффективная, неизбежно порождает реактивное, сопротивленческое движение. Восстание рабов организовал Спартак, протест рабочих вылился в марксизм.

Обреченность спартакизма-марксизма очевидна. Борьба рабов и рабочих за власть в принципе неизбежно ведет к неудаче. В рамках данных формаций эксплуатируемые способны вырвать у хозяев лишь облегчение своей участи, не больше.

Поэтому идеология рабов-рабочих есть всегда утопия. Без хозяина, капиталиста, кто заставит высшего примата пахать в земном раю, эдемовские нужники чистить?

Тысячелетняя история Рима, вся практика еврокоммунизма подтверждают нашу теорию. Восставшие рабы из века в век корчились на крестах, по 30—40 процентов набирали компартии Италии и Франции на выборах, а от власти шарахались, как Маркс от ладана.

Предел возможностей коммунистической оппозиции в буржуазной стране — это протирание штанов на скамьях оппозиции в парламенте. Во власти коммунистам надо заставлять рабочих выдавать наивысшую производительность труда, но профикапиталисты с этой ролью справляются куда лучше. Поэтому марксизм-утопизм и не победил в Западной Европе.

Сама идея победы рабов-рабочих бессмысленна. Перехватит раб плеть, сам станет хозяином, будет гноить других рабов. Отберет рабочий капитал, сам станет капиталистом, будет эксплуатировать труд рабочих.

Вот мы и получили предварительный ответ на вопрос: *Почему Спартак остался в Италии?*

Спартак знал, а его соратники, умирая мучительной смертью на крестах, может быть, поняли то, чего так и не понял Маркс. Рим — это не пространство, Рим — это замкнутое время, это один и тот же повторяющийся «день сурка». А из рабского времени дезертировать в рай нельзя. Рим — это один-единственный день длиной в тысячу лет. Рим — древнеримский ГУЛАГ, с колючей проволокой, скрученной из секунд, а на вышке стоит вертухаем сам бог времени Сатурн.

Ну, ушел бы Спартак в благословенную Галлию — что дальше? Пришлось бы городить Второй Рим. Спартак — Цезарь. Гладиаторы — сенаторы. А рабы? Останутся рабами. Рабовладельческая формация — самая передовая и производительная система античности. Только с ее помощью можно составить конкуренцию Вечному городу.

Об этом ли мечтал Спартак? Нет. Рыцарь не захотел становиться драконом. И он повернул легионы на юг. Это был его выбор между крестом Рима Первого и императорской короной Рима Второго.

И вот уже Красс готовится к триумфу, которого так и не получит за победу над презренным рабом, Помпей спешит из Испании, Цезарь собирает легионы — вся мощь Рима поднимается обрушить свою ненависть на гениального раба.

И была бы наша логика совершенно безупречна, не вмешайся в дело Россия.

Страна победившего парадокса

Либо коммунизм не утопия, либо в СССР строили не коммунизм.

Помните, как изящно преподаватель научного коммунизма опроверг мои рассуждения об утопизме марксизма?

СССР был. Китай есть. И сейчас в Шанхае китайский профессор научного коммунизма подводит к окну студента-скептика и показывает тому сияющий новенькими небоскребами коммунистический град страны, на исторических часах которой без пяти минут мировое экономическое лидерство.

Почему коммунизм победил? США ныне при последнем издыхании, Европу душит «варваризация», а Поднебесная империя на всех парах летит к мировому господству. Да и почти весь двадцатый век СССР на равных противостоял всему Западу.

Вспомним начало прошлого века. Грянул 17-й год. Бабахнула «Аврора», и разговоры об утопизме марксизма сразу приутихли. Утопия стала былью.

Свершилась победа коммунистической идеи? Или Россия стала страной победившего парадокса?

Дело в том, что по всем марксистским догмам социализм должен был победить на Западе, в странах развитого капитализма. Но история завертела невиданный парадокс, и победил социализм вовсе не в Европе, а в полуазиатской России, на краю западной Ойкумены.

Парадокс? Маска истины! Заглянем за нее.

Мы уверены, коммунизм — обреченная на постоянное поражение сопротивленческая идеология эксплуатируемого класса. Победа коммунизма бессмысленна. Коммунизм — утопия. Вывод? В 17-м году в России победил не коммунизм. А что?

На этот вопрос мы сможем ответить, лишь поняв корневой смысл России. Извините, но в следующем параграфе буду вынужден ссылаться на себя же. Не нашел я книги, в которой без обиняков была бы пропечатана политическая природа наших эстафетных государств. Пришлось самому сочинить такую книжку.

Зеркало для России

Все пути ведут в Третий Рим.
Вадим Кирпичев. «Зеркало для России: о чем молчит власть»

Нас обманывают уже двести лет.

Два века почти всю российскую интеллигенцию, всех наших скептиков-интеллектуалов успешно водят за нос некие сказочники, и не видно этому беспримерному обману конца.

Что это за демоны-мифотворцы? Чей заговор они исполняют? И на эти вопросы мы без труда ответим, когда поймем суть России. Задумаемся над очередным российским парадоксом: мы обожаем демократию и ненавидим демократов. Откуда эта шизофрения? Давайте заглянем в анамнез.

Любовь к демократии привита нам всем корпусом западной культуры. Ненависть к демократам воспитана в нас всей российской демократической практикой последних ста лет. Ныне западная пропись «демократия — плохой строй, но лучше пока не придумали» в российских условиях звучит как благоглупость. Демократы всегда уничтожали наши эстафетные империи, разваливали их, доводили до унизительного состояния. Это факт.

Демократия — это власть народа по-гречески. А по-русски буржуазная демократия есть власть собственников, замаскированная под власть народа. В базисе — эксплуатация капиталом, в надстройке — идея демократии, маскирующая власть частников. Демократия есть врач, доктор буржуазного государства. Но это все на Западе. В России забугорный плюс становится минусом. В России демократия меняет белый халат доктора на черный фрак могильщика. Кто похоронил Российскую империю? Либералы и демократы. Кто отправил на кладбище СССР? Они же. Теперь на очереди в могилу очередная эстафетная империя российской цивилизации — РФ. Демократы же есть официальные могильщики отживших свой срок наших империй.

Любое эстафетное российское государство суть природная империя. Законы полиэтнической демократии не дают нам ни единого шанса стать буржуазной республикой. Слишком силен полиэтнизм (больше ста народов), чересчур велик список исторических обид, нет единства элиты, три мировые религии, широка страна моя родная, коммуникации безмерны. При западных стандартах свободы и демократии Россия мигом развалится на Московию и десяток Монголий.

Почитайте записки Екатерины Второй. Уже тогда российской элите была очевидна наша природная имперскость, и императрица прямо говорила, что республиканская Россия обречена стать колонией (предвидела!). Но пришли декабристы, Герцен, начался двухсотлетний обман, и демосказочники принялись навевать России голубые сны Веры Павловны. Кто они, эти сказочники? Да мы сами! И стоит очередному прохвосту выйти к микрофону и заявить, мол, голосуйте за меня, демократа, и через пять лет вы будете жить как в Германии, как мы сразу забываем обо всем на свете. И не видно этому нас возвышающему демократическому самообману конца.

Я пересказал один из главных тезисов книги «Зеркало для России: о чем молчит власть», в которой, как мне кажется, убедительно доказал, что Россия есть неизбывная империя.

Смысл российского коммунизма

Этот призрак... бродит где-то там в Европе, а
у нас почему-то останавливается.
Виктор Черномырдин

Россия — природная империя. Российская империя, СССР, РФ — эстафетные империи российской цивилизации.

Вот он, секретный ключик, открывающий тайну русского коммунизма.

Нынешняя цивилизация Запада создана капиталистической формацией. А капитализм империи ненавидит. Собственники боятся силовиков. Поэтому весь двадцатый век империалисты-собственники вели охоту на империи. Смысл трех мировых войн (двух горячих и холодной) двадцатого века — истребление империй. В Первую мировую империализм уничтожил сразу четыре империи — Османскую, Австро-Венгерскую, Германскую и Российскую. Во Второй мировой Запад с нашей помощью добил свою последнюю империю — Третий рейх. В «холодной войне» частники Запада добрались и до советской евразийской империи.

Вот она — разгадка! Февраль поставил крест на России. Россия буржуазная капиталистическая была обречена на развал, уничтожение, а ее обломки стали бы глубокой периферией, полуколониями мировой капиталистической системы. Так в итоге и случилось, но Октябрь на целых 74 года отсрочил наше закабаление. Или уничтожение? Капитализм первой половины двадцатого века был лют и вполне мог огнем и мечом выжечь нашу цивилизацию от Бреста до Владивостока.

Коммунизм для России оказался гениальным экспромтом истории. Реактивная идеология, вечно оппозиционная для одной формации — капиталистической, в условиях иной, российской цивилизации стала спасительной и победной. Именно марксизм спас нашу природную имперскую суть и позволил из пепла возродиться красному фениксу СССР. Северному Вавилону марксизм дал Башню, проект с опорой на небеса, а самый прочный фундамент для идеи — небо.

Сравним модусы коммунистической и имперской идеи.

Коммунизм: диктатура пролетариата, антидемократичность, антикапиталистичность, интернационализм, равенство народов и цивилизаций, антизападность, культ производительности труда.

Имперскость: авторитарность, власть силовиков, а не собственников, полиэтнизм, антизападность, догоняющие модернизации.

Идеи марксизма идеально легли на имперскую матрицу евразийской империи. Впрочем, о том, что именно коммунизм в виде СССР спас нашу имперскую природу, говорилось тысячу раз. Император, генеральный секретарь, президент — это всего лишь таблички на хоромах наших царей.

Не догмой, а ширмой для евразийской империи явился коммунизм к северным березам. Коммунизм как реактивная идеология эксплуатируемых — это на Западе. Для *не западных* евразийских природных империй он был и есть способ выживания в эпоху охоты империализма на империи. Красный кумач спасительно драпирует имперский стальной скелет. Что немцу смерть, то русскому здорово — это про марксизм.

В условиях свободы коммунизм плохой эксплуататор. Капитализм — эффективнейший способ заставить много и тяжело работать свободного высшего примата. Но в условиях несвободы евразийских империй коммунизм оказался идеологией спасительной. Он не предполагает свободы личности западного порядка, но заточен на западную модернизацию, плюс интернационален, что спасительно для больших полиэтнических государств.

Недаром к расцвету российскую и китайскую цивилизации привели именно коммунисты. Коммунистическая идея позволяет развернуть имперскую мощь во всю силу, а капиталистам в империи требуется слабое государство, что неизбежно опускает либеральную империю в положение полуколонии Запада и собственных доновкомпрадоров.

Когда Ленин проснулся

Семнадцатый. Октябрь.

Красные Спартаки привели свои легионы на север и стали Цезарями. Вокруг враги, под седлом природная империя. Что делать? Разогнать Учредительное собрание, расстаться с демократическими иллюзиями юности — в первую очередь.

Утописты завоевали Россию, и теперь победившим спартаковцам предстояло

Третьим Римом управлять. Предстояло имперское возрождение, выстраивание новой, современной имперской системы власти со всеми ее рычагами и приводными механизмами — стартовал Советский проект. Победа Сталина над Троцким и есть победа имперской природы России над западной утопией, приспособление коммунистической сказки под цивилизационные и политические нужды России. Троцкий — жрец, догматик, готовый принести Россию на алтарь марксизма. Сталин, напротив, приспособил идею коммунизма под цели выживания Советской империи. На прописи Маркса он внимания не обращал и железной рукой корежил их под требования момента. Для эффективного производства социализм оказался не годен, зато как утопическая ширма для азиатского способа производства, для идеологического прикрытия имперской сверхэксплуатации оказался ох как хорош. Что сейчас Китай и подтверждает.

Красный кумач идеально задрапировал стальной остов имперского терминатора. Не империя для Маркса, а Маркс для империи — вот выбор Сталина. Ирония судьбы, Маркс презирал Россию, а в итоге именно она приспособила его учение для своего выживания в век, который нещадно уничтожал имперских динозавров. Отмирание государства? Это в империи-то? А ГУЛАГ не желаете? А усиление классовой борьбы при развитии социализма в пику всем марксистским штампам?

Надо четко понимать, что идея коммунизма на Востоке исполняет ту же роль, что и идея демократии на Западе. Перед нами маскирующие идеологии. Демократическая утопия в буржуазном обществе маскирует власть собственников, прикрывает и оправдывает капиталистическую эксплуатацию. Коммунистическая утопия прячет за свою ширму механизм азиатского способа эксплуатации. Социализм прикрывает суть имперской эксплуатации в евразийских империях, как буржуазная демократия со всеми ее финтифлюшками прикрывает капиталистическую эксплуатацию на Западе.

Но если коммунизм есть удивительное спасение для евразийских империй, почему рухнул Советский Союз?

Ответ очевиден — одряхлел, поглупел, потерял стальную хватку, предал свою имперскую природу, изменил историческому назначению, принял свою ширму за суть. Империя? Будь ею. Заигралась в либеральные игры? Не обессудьте, пожалуйте на историческое кладбище. Сталинских силовиков в середине прошлого века сменили секретари обкомов — это был приговор Советской империи. Именно секретарщина за полвека и уничтожила величайшую империю. Жрецы, что с них взять... Махали кадилом на иконы Маркса, правили, абсолютно не чуя под собой страны. Они даже не смогли сформулировать задачу момента — приспособление капитализма под цели очередной имперской модернизации.

Время от секретарщины требовало решить задачу историческую: или СССР приспособит капитализм под имперские задачи, либо капитализм развалит СССР и приспособит его останки для задач мирового капитализма. Ответ мы знаем.

Китайские товарищи в итоге заставили работать частника на Поднебесную, а нас, напротив, разгромил и использовал мировой капитализм. Секретарщина так и не поняла, что коммунистическая идеология есть для евразийской империи не святыня, а безделица, тряпка, ширма для азиатского способа производства. Имперская система власти — вот наш единственный и постоянно повторяемый евразийский завет. Китай ему не изменил и неизбежно станет первой экономикой планеты. Россия имперский завет предала и очутилась в положении полуколонии, сырьевого придатка мировой капиталистической системы, с унылой перспективой обязательного уничтожения Западом. Тот нам не простит имперской природы, и итогом нынешней «прохладной» войны против РФ будет неизбежное расчленение российского государства.

Западу также придется несладко. В итоге Рим сгубили не спартаковцы-коммунисты, они его своим сопротивлением только тренировали, усиливали, а варвары. Именно варваризация Древнего Рима — следствие глобализации античности — в итоге разрушила Великий Рим. Нынешняя арабизация, исламизация Европы готовит ей схожую участь.

Со смыслом коммунизма мы разобрались. На Западе коммунизм — утопия.

Марксизм в буржуазной Европе — это перманентное, вечное, непрекращающееся восстание Спартака. Это вечный раб капиталистического Рима, распинаемый на очередных выборах. Любые выборы на Западе — это ритуальная казнь коммунизма. Призрак коммунизма — это призрак Спартака, который исхудав, истаяв, будет вечно бродить по Европе, пугая капиталистов, чтобы те гуманнее эксплуатировали своих рабов-рабочих.

Теперь понятно, почему Спартак вернулся в Италию на верную смерть. Спартак вернулся в Италию потому, что в 72-м году до нашей эры не существовало России. Не было ни Византии, ни вообще какой-нибудь захудалой евразийской империи, которую бы идеи и легионы Спартака могли бы спасти от всевластия Запада-Рима.

Большевизм — это и есть Спартак двадцатого века, плюнувший на принципиально непобедимый рабами Рим и ушедший в Россию, чтобы там спасти Третий Рим, мир русский, имперский, не западный.

Первая тайна разгадана, но, помните, осталась еще вторая — не найденное тело вождя. Армия рабов под Брундизием разгромлена. А где Спартак? Убит?

Отвечу.

Дело в том, что...

Спартак жив!

Спартак не умер, не погиб под римскими мечами, он просто ушел в историю, чтобы вернуться через две тысячи лет и одну эпоху. Вернулся вождь рабов уже марксизмом в 1848 году, восстал «Манифестом коммунистической партии». Не зря Маркс считал величайшего предводителя угнетенных своим героем. Знамя коммунизма сшито из красного плаща Спартака.

Семьдесят лет Спартак-коммунизм пытался биться с новыми рабовладельцами — капиталистами и наконец понял, что в Европе он призрак. Нечего здесь боевому гладиатору делать, только тогу на лавке оппозиции протрешь. Призраку Запад не победить, зато можно спасти Восток. И в 1917 году Спартака осенило. Хватит все возвращаться и возвращаться в Рим на верную погибель. Надо спасать Россию. И впервые за две тысячи лет Спартак поворачивает армию рабов не на юг, а на север, гениальным историческим маневром приводит их из Рима Первого в Рим Третий и с марша бросает свои легионы на штурм Зимнего дворца.

В России Спартак воистину воскрес. Призрак обрел кровь и плоть. И тем спас нашу очередную эстафетную империю в виде Советского Союза.

Весь двадцатый век Спартак оборонял нас от лютого Запада-Рима, от танков Гудериана, от атомных бомб США. А потом мы предали и себя, и его. И он увел свои легионы на восток, в Китай, все дальше и дальше от Рима, ненавистного свободной душе.

Ольга Балла

Роман-возможность

По совести сказать, то, что появление «Орбинавтов» Марка Далета с самого начала, еще до выхода книги, сопровождалось активной рекламной кампанией, вызывало у меня сильный скепсис. Книга еще не вышла, а из нее уже публиковались отрывки; едва обрела бумажную плоть, а у нее уже был целый собственный сайт и даже буктрейлер, невиданный — по крайней мере, не слишком еще привычный — зверь в наших широтах (видеоролик о книге, призванный убеждать читателей в том, как все это интересно). Настораживаешься просто автоматически — на уровне защитной реакции.

Но очень уж хороша была идея: орбинавтики — «плавания по мирам», перехода — да перевода, между прочим, вместе с собой целого мира! — из одной ветви возможностей в другую, едва намеченную в точке ветвления, — одним только внутренним усилием определенного типа. Идея *пластичности бытия*, понимаете. Не говоря уже о том, что речь идет о Гранаде времен окончания восьмисотлетней реконкисты — о перекрестке культур, населенном разными народами. Перелом эпох: конец мусульманского владычества в Испании, самое начало освоения едва открытой Америки. Взаимовлияния и взаимопроникновения исламской, христианской, иудейской культур. Быт гранадских мусульман, евреев, кочевавших тогда по Испании, и совсем к тому времени недавно — по историческим меркам — пришедших в Европу цыган. Самоощущение мусульман-морисков, принимавших ради спасения собственной жизни христианство. Совершенно особенный мир, нет — миры, о которых неспециалисту почти ничего как следует не известно, а уж особенно — в чувственных подробностях, которые откуда еще и взять, как не из художественной литературы?

Слишком все это будоражило, чтобы отказаться от чтения. В конце концов, реклама рекламой, а текст текстом.

И что ж вы думаете: текст-то оказался интереснейший. И не только в искомых чувственных подробностях, хотя и в них автор весьма щедр.

Там вообще много быта, подробного, плотного, самоцельного — предметного, интеллектуального и, так сказать, душевного: не только что ели и надевали на себя андалусцы и кастильцы конца XV века и какие вещи их окружали, но и что они читали, какую музыку играли и слушали, во что верили, какие разделяли предрассудки, в какие игры играли их дети и чему они учились. Как выглядело, будучи повседневностью, то, что нам видится экзотикой. В этом смысле книга, на радость тоскующему о путешествиях во времени читательскому воображению, очень «телесная», полная запахов, звуков, фактуры.

«Рыночная толпа была пестра, человеческие ручейки сливались и расходились, торговцы призывали покупателей и привычно спорили с ними о цене и качестве товара, а договорившись, щедро накладывали поверх взвешенного количества лишнюю пригоршню инжира или увесистый лоснящийся гранат. Воздух полнился запахами, солнечным светом, жарой, человеческими голосами, криками ослов и верблюдов. Чернокожий воин-бербер, проходя мимо, случайно толкнул зазевавшегося мальчика».

Хороший показатель качества текста — когда его можно читать ради него самого, ради проживаемой в нем жизни, не очень и не в первую очередь заботясь о том, куда выведет сюжет. Это как раз тот самый случай.

Историческая часть здесь интересна

Марк Далет. Орбинавты: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

сама по себе — как и намерение втянуть время-и-место, мало освоенные отечественным историческим воображением, в область художественной, то есть общечеловеческой, надпрофессиональной рефлексии. С какой степенью точности все это реконструировано, оценят специалисты. Вольный же читатель, свободный от такой обязанности, рад провалиться в другую жизнь, где разница между «настоящим» и «выдуманным» не так уж существенна и не слишком заметна — проживается *всё*.

Конечно, перед нами — не слишком-то историческая фантастика (хотя автор, писатель, переводчик и преподаватель Марк Далет среди прочих своих занятий ведет мастер-класс, обучающий писать тексты именно этого жанра — «Как пишется историческая фантастика», — и склонен относить «Орбинавтов» скорее к нему). И уж точно никакая не альтернативная история — что признает и сам Далет. Это — альтернативная онтология. Вернее — ее зачатки, ее обещание. И уж не альтернативная ли, заодно, психология и физиология? Речь-то ведь идет о людях, устроенных несколько иначе, чем мы с вами. Они не только мысленно меняют реальность — они вследствие того еще и не стареют. Манипуляции с реальностью оказывают на протекающие в их телах физиологические процессы обратное воздействие — ни героям, ни, кажется, пока и самому автору не известное в полном объеме, во всех его возможных последствиях. И, если их ничто внешнее не убивает — они, вполне возможно, остаются бессмертными. По крайней мере, на протяжении романного действия и нескольких прошедших за это время сотен лет ни один из известных к концу текста орбинавтов не умер.

Вот как себя в этом чувствуют они — и те, кто попадает в изменяемые ими участки яви?

Сам Далет предпочитает для «Орбинавтов» название «исторический роман-феерия». По-моему, тут интереснее. Это — жанр особый, мало осмысленный и, пожалуй, едва осуществленный: роман-возможность.

В «типовой» фантастике возможности замысленного автором мира все-таки осуществляются более-менее полно и весь сюжет держится по преимуществу на этом. Тут же возможности — скорее намечены. И более того: основное-то дело, как оказывается, не в них, а в огромных пластах жизни, которые могут проживаться десятками страниц — да и проживаются — без всяких оглядок на орбинавтику, без малейшей потребности в ней). Зернышко волшебства посеяно автором в текст — но держится все отнюдь не на нем. У этой жизни есть собственные несущие силы.

Вообще, это — роман, буквально распираемый собственными, из разных точек растущими возможностями. Что далеко не все из них осуществлены — неудивительно.

Множество нитей здесь, правда, попросту оборвано. Из поля читательского зрения без следа исчезают персонажи, обрисованные поначалу так внятно и выпукло, что и не сомневаешься — им наверняка будет принадлежать важная роль в дальнейшем развитии событий. Нет, ничего подобного. Так исчезают друг детства главного героя Алонсо — Рафаэль, его сестра Дина и все семейство этих гранадских евреев, характерно-яркая кузина Алонсо Матильда, пропадает, едва повествование миновало середину, сам Алонсо, бывший одним из центральных лиц действия на протяжении целых глав. Исчезает и таинственная «донна Мария», встреченная читателем у генуэзского собора святого Лаврентия, с рассказа о которой роман начинается, чтобы не возвращаться к ней более никогда. «Тот, кого она надеялась здесь встретить, бежал с родины на несколько дней раньше, чем она сама. Но, в отличие от нее, у него почти совсем не было с собой средств, так как покинуть страну пришлось в спешке, и направился он в Геную не морем, а сушей, через Францию. Его легко могли схватить по пути…» Прочитав текст до конца, мы, правда, уже догадываемся, кто это может быть. Но так и не узнаем, встретилась ли она с человеком (да, да, кто он такой — мы тоже в конце концов догадаемся), которого «каждый день приходила искать у входа в собор», который «когда-то полностью изменил ее жизнь» и «открыл ей ее возможности, о которых она не могла и помыслить» — и что из этого вышло. А ведь должно же было выйти что-то важное, раз речь об этом — в самом начале!

Та же судьба постигает и некоторые идеи об устройстве исследуемого героя-

ми мира. Так, возможность передавать силой мысли сообщения дальнему адресату — через «третью реальность», видимо, Юнгово коллективное бессознательное, — раз заявленная, не получает затем ни малейшего развития. Или идея родства снов и реальности (та самая «альтернативная онтология») — и вроде бы разных, но как-то связанных друг с другом способностей управлять снами и изменять «явь».

Сама по себе идея перемещения между разными ветвями реальности — страшно многообещающая. Настолько, что ее реализация в романе — крайне осторожная, даже бережная, словно бы автор сам не решается запустить ее развитие в полной мере — представляется даже не то что недостаточной, а едва-едва начавшейся.

На самом-то деле автор совершенно прав. Идея управления реальностью силой мысли — возможность чрезвычайно нежная, ее слишком легко огрубить при неосторожном с нею обращении. Понимая это, автор ставит на задуманную им возможность внутренние ограничения. Скажем, то, что менять реальность более-менее безболезненно можно отступив в прошлое лишь на несколько минут, пока новоосуществившийся вариант событий не затвердел и, главное, не породил достаточно большого количества последствий. Чем дальше в прошлое, тем это труднее; тем большим телесным и психическим напряжением за это приходится платить (ведь за это время успели осуществиться, разветвиться и укрепиться множество последствий уже состоявшегося события) — один из героев даже терял сознание при такой попытке. Менять реальность большей давности, чем несколько часов, на протяжении романа еще ни одному орбинавту не удавалось. Эпохами тут не поворочаешь (хотя да, когда речь заходит об открытии Америки — читатель ждет уж рифмы «розы»: а вдруг кто-то из героев сделает так, что вторжение европейцев в Америку не состоится — и, скажем, культуры покоренных ими индейских племен — а о них мы из романа тоже кое-что узнаем — получат совсем другое историческое развитие?.. Ну нет. Это было бы слишком просто!)

В значительной (я бы даже сказала — в основной) своей части «Орбинавты» — добротный исторический роман. Нет, конечно, это никакой не «русский Умберто Эко», хотя бы уже потому, что там нет умберто-эковской лихо закрученной детективной интриги, филологической игры, в том числе игры с умолчаниями и иносказаниями, загадками и подмигиваниями (вторых-третьих-четвертых и т.п. планов, придающих текстам итальянца их фирменную виртуозную умышленность). Да и слава богу, что нет, потому что детективными интригами и филологическими играми читающий мир сыт уже более-менее по горло, а вот романами-возможностями — точно не избалован.

Текст Далета, при всей своей чрезвычайной насыщенности, — прозрачен. Он с читателем не играет (в той мере, в какой это вообще возможно для художественного текста — а ведь возможно, возможно. Ну, или по крайней мере — игра игре рознь) — а пытается вместе с ним прожить другую реальность.

Соблазн детективного развития у далетовского замысла был — и ох, какой сильный. То есть он прямо-таки грубо напрашивался. «Вы обладаете великим и страшным даром, который вам лучше от всех скрывать», — предупреждает собеседник едва обнаружившего свой орбинавтический дар, изумленного и растерянного героя. Представляете, сколько тут возможностей для конструирования сюжета с борьбой за власть над людьми, страной, миром, с заговорами, с интригами?..

И как здорово, что Далет по этому — крикливому и черно-белому — пути не пошел. Он избрал путь более тонкий, менее очевидный — и более, по моему разумению, настоящий.

Он принялся рассматривать орбинавтическую возможность изнутри: с ее психологической стороны. Взялся показать, что и как чувствует человек, меняющий реальность собственным усилием, как он это проживает, чем ему приходится — даже на самых-самых начальных стадиях освоения дара — за это платить.

Возможно, я домысливаю (а в конце концов: для чего нужны книги, как не для того, чтобы их домысливать?), но замысел Далета почувствовался мне хотя бы отдаленно родственным философскому проекту Михаила Эпштейна — нащупыванию и выявлению возможностей в языке, мышлении и бытии. Только здесь есть

еще и идея техники безопасности в обращении с ними. Тоже лишь намеченная.

С текстами детективного типа роман кое-что роднит: прежде всего это тайная рукопись об особенных людях-орбинавтах — «Свет в оазисе», как назвал ее в детстве один из главных героев, которую надо еще расшифровать, которую надлежит скрывать, спасая которую Алонсо-Али бежит в самом начале романа из осаждаемой испанскими войсками, обреченной пасть мусульманской Гранады. Но никакой интриги, связанной со скрываниями, поисками и расшифровкой рукописи, к счастью, не выстраивается. Она — всего лишь повод к тому, чтобы рассказать о затронутой ею жизни. То есть написать исторический роман. Или роман возможностей.

Впрочем, исторические романы — всякие, как жанр — издавна мнились мне именно романами возможностей. Только — неосуществленными. При чтении текстов такого рода всегда был — и по сию минуту остается — сильный соблазн надеяться: а вдруг — случайно, совсем чуть-чуть — стронется с места какая-нибудь деталька — и все пойдет иначе, чем оказалось на этом самом «самом деле»? Вдруг история сложится по-другому и мы очутимся в совершенно другом мире? Пока почему-то еще ни разу не получилось. Но ведь это пока.

Роман — и в этом одно из его (на взгляд любителей медленного густого чтения) несомненных достоинств — вообще очень медленный. Он — в основной своей части, как и было сказано, добротно-исторический — начинает «разгоняться», наливаться волшебными силами, которым, мнится, только предстоит еще развернуться — лишь во второй половине, ближе к концу. Когда все — неожиданно — заканчивается, ловишь себя на упорном чувстве, что вообще-то все как раз теперь должно по-настоящему начинаться.

И кто бы мог подумать: едва дописав это до конца, я вычитала в блоге автора, что он уже работает над продолжением.

Опять-таки очень трудно не отнестись к этому скептически: продолжениям слишком часто свойственно оказываться хуже начала. Но, с другой стороны, один раз опасения, связанные с «Орбинавтами», уже не оправдались. Отчего бы Далету снова не обмануть типовые ожидания и не показать, что возможностей на самом деле куда больше, чем представляется нам по привычке? Это было бы очень по-орбинавтски.

Андрей Турков

Светлые квадраты

В этой книге много тяжелых и горьких судеб.

В далеких тридцатых: «Отца арестовали в январе 1933-го… В одну ночь увели отца и маму… Под утро маму увели и я остался старшим в семье (в 12-то лет! — А. Т.)… Отца арестовали, когда Юре было всего шесть лет… После ареста отца домашнюю библиотеку свалили под окном во дворе.

И рыжий дворник, подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие цигарки…»

Дмитрий Шеваров. Добрые лица: Книга портретов. Повествование в 12 тетрадях. Эссе. Очерки. Рассказы. Беседы. — М.: Феория, 2010.

В годы войны: «Его отец погиб на фронте. Его воспитывала одна мама... У многих ребят в нашем классе не было ни отцов, ни дедушек... И муж Алеша, и мама умерли в блокаду... После войны она осталась одна, навсегда одна... В войну нам было только по пятнадцать лет, нас угнали в Германию... Сухая статистика: из Сергиевской ушли на фронт 300 мужчин. Вернулись 173...»

И уже в наши дни: «Мы с утра до ночи копошимся, чтобы прожить... Едят картошку в мундире вместе с кожурой, а хлеб у них, он редко бывает... Вялое выживание, которое теперь лицемерно зовется «стабилизацией»... В осенний призыв прошлого года около тридцати фатежских призывников были «забракованы» — их вес дотягивал только до сорока пяти килограммов. Детские пособия многие семьи не получали по году, с осени не получили чернобыльские... Жизнь отчаянно бедная... переполненная заботами о хлебе, молоке, о коробочке лекарств...»

И впору бы совсем приуныть, когда бы не в великом множестве возникающие на страницах книги Дмитрия Шеварова д о б р ы е л и ц а (так она и названа), все время приводящие на память давнее некрасовское: «Золото, золото, сердце народное!»

Вот оно блеснуло: «Мы не знаем, что случилось с его родителями, но свою учительницу Анну Порфирьевну Тодорову он звал мамой». И это имя приютившей осиротевшего в годы террора мальчика открывает целую галерею людей той же профессии, о ком восторженно и благодарно вспоминают былые ученики и в том числе сам автор.

Уезжая после свидания со своей первой, вологодской учительницей Юлией Николаевной Архиповой, он провожает глазами светящиеся окраинные окна: «Как удивительна попытка этих бедных огней рассеять мрак!» Казалось бы, и скромным педагогам в военную пору совсем не по силам противостоять туче тогдашних лишений и бед... Но: «Какая-то фантастика, — пишет Дмитрий Шеваров, — нас у Юлии Николаевны было сорок четыре человечка, а она еще успевала писать письма родителям» (у него они были очень далеко). И ведь рядом с ней были отнюдь не «сорок четыре веселых чижа», как в известных стихах!

Вспоминает: «Они у меня жили одно время — пять человек сразу... Перехожу от одного к другому и одновременно проверяю тетради. Начинаем читать вслух. Потом — во двор гулять. Через две недели начали улыбаться. Глаза заблестели».

«Учителя у нас были замечательные, — свидетельствует художник Евгений Савченко. — И в нашем классе почти все мальчишки были без отцов, и учителя всеми силами пытались нас согреть, удержать от зла».

«Знаю, что такие учителя еще остались, — подхватывает Валентин Распутин. — У нас в России сложился особый тип учителя... Когда требовался житейский совет или заступничество, шли прежде всего не к начальству, а к учителю».

«В 1968 году он был единственным, с кем мы, студенты, могли быть откровенны», — благодарно вспоминают университетские питомцы профессора Гения (имечко времен 20-х годов) Бондарева, даже с опытом лагеря и ссылки не отучившегося говорить, что думает: что вторжение в Чехословакию не просто ошибка и что никакого «реального социализма» у нас нет.

«Без профессора Колесникова невозможно представить Вологду 1960—1980-х годов», — сказано в книге о другом человеке с «плохой» анкетой, который из-за нее мог начать только учителем в сельской глубинке, но, «ни дня не учась в аспирантуре, защитил кандидатскую и докторскую», стал почетным академиком Российской академии образования, а главное — крупным знатоком истории и культуры русского Севера. Глубоко страдая и за судьбу пустующих деревень, и за закрываемые там школы, он, однако, говорит, что «в условиях нашего климата поддаться унынию — значит погибнуть».

В одном из множества приведенных в книге писем горестно сказано, что сейчас, когда, по выражению П.Колесникова, мы строим дикий капитализм, не время для людей, которые так много дают и так мало требуют от других.

А они все не переводятся, будучи совсем разных лет, характеров, профессий, судеб.

«Читала статью «Детский доктор» (вошедшую и в рецензируемую книгу. — *А. Т.*) и плакала, — пишет автору Оля с пятого

курса мединститута, который во многом ее разочаровал. — Значит, можно так жить!» Так — это как безвременно ушедший ленинградский врач Эдуард Дюков, в отпуск ездивший с друзьями в самые глухие уголки Вологодчины обследовать и лечить детей.

«Он мечтал, — вспоминают, — о такой детской клинике, где высший уровень медицинского лечения соединился бы с традициями русского милосердия, духовного врачевания. Он очень торопился, мы несколько раз ездили к митрополиту, но никак не могли к нему попасть. Наконец, нас принял его секретарь и сказал, что это хорошая идея, но у нас, мол, сейчас траты большие, не стоит спешить...»

«Торопыга» Дюков умер в двадцать восемь. Волгоградский же заботник о больных детях, стариках, инвалидах Дмитрий Королев, чье такое же молодое и прекрасное лицо улыбается читателю с фотографии, открывающей очерк «Декабрист», — в тридцать один. В конце 80-х лидер неформального движения студентов и рабочей молодежи Шеваров рассказывает, как в августе 91-го Королев формировал в Волгограде ополчение, «чтобы защитить ту прекрасную свободу, которая, как тогда казалось, вот-вот наступит». Последняя должность Димы — в управлении социальной защиты городской администрации. И он действительно защищал людей и от прямых мародеров, которые, к примеру, зарились на гуманитарные грузы, предназначавшиеся больницам и детским домам, и от «волков у власти», которые «ни перед чем не остановятся», как он брезгливо выразился.

Когда однажды при Эдике Дюкове зашла речь о непорядочности, он сказал: «Давай говорить о благородных людях...» (Как будто кислородную подушку попросил!)

О таких, например, кто не только бесконечно оборонял ставший знаменитым «дом Павлова» в Сталинграде, не только посильно помогал выхаживать родившуюся там в эту страшную пору девочку Зину («Солдаты портянки дали на пеленки», — рассказывала она), но и после войны узнал ее новый адрес и стал посылки посылать: «Илья Воронов, Камалджон Рамазанов, Жуков, Тургунов... они все меня дочкой звали». И как прекрасно не больно грамотное последнее письмо, пришедшее от Тургунова в 1992-м, полвека спустя, кончающееся словами: «Ваш дорогой уважаемый отец»...

Это сама доброта, сама человеческая духовная красота перед нами в скромнейшем и трогательном обличье, в каком она нередко на земле проживает, подобная героине поэта Алексея Решетова, тоже одного из персонажей книги:

> В ожерелье сереньких прищепок
> Женщина спускается с крыльца.

Примечательно, что один из лучших очерков Шеварова посвящен человеку, который «боялся упустить незамеченной хоть крупицу ума и таланта» во встреченных людях, а особенно в детях, о которых и для которых Симон Соловейчик писал, придумывая занимательные газетные рубрики и «колонки», и за которых воевал с «серьезной» педагогикой, утверждая «неслыханные», «кощунственные» вещи: детей надо баловать; «иногда приходится спасать детей от детского сада, от школы, от порядка».

«Разговаривая с ребенком, приходится задирать голову и смотреть вверх. В противном случае ребенка не увидишь», — с восторгом приводит слова Симона Львовича его союзник — выдающийся грузинский педагог Шалва Амонашвили, сам такой же защитник ребят от «вековечных порядков»: «Отметка стала страшилищем», — доказывает он, говоря, что множество детей львиную долю отведенного на уроке времени проводит в страхе быть вызванным, «схватить единицу», а с ней попреки и в школе, и дома.

Эти же внимательность, интерес, сочувствие, а то и сострадание присущи и таким людям, как, например, радиожурналист Виктор Татарский, для которого, по словам автора, «нет маленьких людей и незначительных судеб», или курская девочка Ира, которая, прослушав очередные «новости», писала: «От всех этих бед, трагедий мир кажется таким ранимым, почти маленьким (как дети. — *А.Т.*). Хочется прикрыть его двумя ладонями, как щенка от дождя».

Фотохудожник Павел Кривцов создал грандиозный труд «Русский человек. Век XX»: более 300 фотографий. Будни, праз-

дники, скорби, шахтеры и философы, учителя и солдаты, фронтовики и дети, крестьяне и монахи... «И кажется, что ты стоишь в родной избе и с деревянной рамки на стене смотрят на тебя с любовью родные люди», — с увлечением пишет Дмитрий Шеваров еще и потому, что сделанное художником близко его собственной книге, хотя сам автор по скромности, вероятно, сочтет мои слова преувеличением.

К его пущему смущению рискну сказать, что книга определенно находится в родне с самыми лучшими традициями отечественной литературы. Совсем не случайно в очерке об Аксакове процитированы его слова, которые, право, могут быть отнесены и ко многим «добрым лицам»: «Вы не великие герои, не громкие личности... но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь также исполнена поэзией, также любопытна и поучительна для нас...»

Порой же автор книги выступает, что называется, с открытым забралом, отваживаясь на откровенные декларации.

Если самоотверженный рыцарь издательского дела — сибиряк Геннадий Сапронов (ныне, увы, покойный) десять с лишним лет назад жаловался Шеварову, что «читателей, страдающих душой, все меньше и меньше» (и то правда!), то его адресат горячо размышляет о причинах этого: «В последние годы русская литература освободилась от многого, что угнетало ее. Но порой кажется, что вместе с водой выплеснули и ребенка.

Потерялось вдруг то, что составляло сердечную, стержневую суть отечественной словесности, — утешительная интонация, сострадание. И сразу охладел к литературе читатель, а для «толстых» литературных журналов он просто исчез. Писатели и критики по сей день не могут понять: куда пропали те многие тысячи и даже миллионы людей, которые еще десять лет назад не представляли себе жизни без «Литературки» и «Нового мира»? Причин у этой пагубы — море. Но одна из них, похоже, в том, что современная литература не исполнила свой долг утешения и в глазах народа потеряла свое назначение».

Вот и писатель Виктор Лихоносов сказал как отрубил: «Иногда кажется, что *литература сопереживания* закончилась... Люди от несчастий, от горя стали в церковь ходить. А литература просто провалилась... А сейчас так нужны щемящие строки, абзацы, страницы и, может, целые произведения. Пронзительности — вот чего не хватает сегодня русской литературе».

А пока что в нынешнем «Новом мире» поистине пронзительные рассказы о современной деревне (где, по выражению известного журналиста Ярослава Голованова, который не за один только космос «болел», «горе... непроточное, оно тут застаивается, как болотная вода» и так десятилетия за десятилетиями[1]) донского писателя Бориса Екимова выглядят как некий одинокий хутор, считает Шеваров: «Вокруг какие-то миражи, экстравагантные нагромождения слов. А у вас окошки светятся живым теплым светом, ваши герои с первых строк — узнаваемые, близкие люди».

О подобных окнах своего вологодского детства вспоминал автор на первых же страницах: «Свет из них падал под ноги, и было так приятно вступать из темноты в светлый квадрат на дорожке».

Не из таких же ли «светлых квадратов» сложилась эта книга?

---

[1] А ныне уже вспоминается из Достоевского: «О, теперь там уже все продано и уже нет деревни!» («Подросток»)

Екатерина Ратникова

Стихи из подполья

Мир неподцензурного искусства второй половины прошлого века, несмотря на обилие исследовательских работ на эту тему и все более растущий интерес ученых, до сих пор очень мало известен и исследован. Это связано с его естественной закрытостью для посторонних, отсутствием заметного корпуса общедоступных публикаций, а значит — со сложностью и неоднозначностью даже нелицеприятного восприятия современным читателем и зрителем так называемой «неофициальной» культуры 1950—70-х годов.

Отдельное явление этой культуры — Петербург-Ленинград: город и люди, которые в указанный период в нем жили и создавали свои произведения. Но, например, из «питерских» поэтов, писавших в советское время, сегодня широко известны Иосиф Бродский, Александр Кушнер (который, по выражению Генриха Сапгира, печатался всегда, хотя «в 60-е годы читался как самиздат, — во всяком случае, с больш*и*м интересом»[1]), Глеб Горбовский; кто-то назовет еще Виктора Соснору — и вряд ли более того. Так же обстоит дело и с прозаиками, и с художниками. Конечно, некоторые филологи и искусствоведы-профессионалы могут значительно дополнить список, но в данном случае я имею в виду именно *массовую* известность (точнее, неизвестность) многих петербургских авторов в среде как деятелей искусства, так и его простых ценителей. Есть имена, до сих пор (на протяжении уже нескольких десятков лет!) не замеченные читателями, зрителями и критикой, хотя именно в наше время книги, о которых их авторы могли только мечтать при жизни, с большим опозданием, но все же выходят в свет.

Сборник очерков о жизни и творчестве петербургских поэтов советского периода, о котором пойдет речь, будет интересен как специалисту-литературоведу, так и обычному читателю. Мировоззрение разных поэтов, атмосфера творческих кружков, отношения представителей поэтического «подполья» с представителями официальной доктрины... Все это — содержание, а формально книга состоит из девяти очерков, каждый из которых представляет собой исследование жизни и творчества одного из крупных петербургских поэтов середины XX — начала XXI века. Как говорится в предисловии, изначально планировалось представить в сборнике гораздо большее количество поэтических имен, но — не нашлось тех, кто был бы способен написать о них глубоко и обстоятельно. В итоге — вот поэты, о которых в основном идет речь в книге: Роальд Мандельштам, Глеб Горбовский, Виктор Соснора, Александр Кушнер, Дмитрий Бобышев, Леонид Аронзон, Иосиф Бродский, Виктор Кривулин и Александр Миронов. На самом деле не так уж и мало — каждый, кто хорошо знаком с их творчеством, сразу отметит, насколько широко охвачено пространство поэзии именно таким подбором имен. Но конечно же кроме этих, главных в данном случае фигур в книге говорится и о многих других творцах неподцензурной литературы — современниках героев и авторов очерков. Кстати, авторами исследований, собранных под этой обложкой, стали личности, также хорошо известные как в самом Петербурге, так и за его пределами — например, об Иосифе Бродском написал ныне покойный Лев Лосев, а целых три работы (о Викторе Сосноре, Александре Кушнере и Дмитрии Бобышеве) выполнены прозаиком и критиком

Петербургская поэзия в лицах: Очерки / Сост. Б. Иванов. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

[1] Цит. по: http://www.rvb.ru/np/publication/01text/11/04kushner.htm

Андреем Арьевым. Очерки ценны, кроме всего прочего, еще и большим количеством ссылок на книги и журнальные публикации, связанные с темой «подпольного» искусства.

Почти во всех статьях расставлены практически одни и те же акценты. Например, при перечислении источников, которые питали «неофициальную» культуру. Как убедительно доказывается в книге, многие поэты и художники-«подпольщики» в основу своих текстов и картин закладывали весьма серьезный классический фундамент (во что, увы, верят даже не все литературоведы). Петербург того времени жил многими течениями и направлениями как отечественной, так и общемировой истории искусства. Жил в прямом смысле этого слова — к малодоступным литературным текстам, музыкальным пластинкам, на художественные выставки прорывались при первой же возможности, несмотря на недостаток денег и прочие лишения. В результате античность, немецкий романтизм, XIX век русской литературы, русский символизм и русский же авангард напитали поэзию и живопись 1950—70-х годов самыми разными символами и смыслами.

Исключительно важную роль в становлении неподцензурной культуры в лучших ее проявлениях сыграл исторический контекст (в том числе и современная политическая ситуация). Дело здесь даже не в открытой и страшной по своей сути оппозиции творческих людей определенному типу власти (каковая тоже существовала), а скорее во внутреннем естественном неприятии художниками и поэтами действовавших в то время внешних ограничений, подкрепленном идеями романтизма и авангарда. В итоге — обращение творческих людей к личности и ее мировосприятию как конечному пункту художественного поиска. Во многих случаях (хотя и не во всех, конечно) участники совершенно разных объединений и кружков на протяжении длительного времени предпринимали попытку фиксации на холсте и бумаге своего восприятия окружающего мира в общекультурном контексте, что значительно обогатило поэтику Петербурга того периода необычной, свежей и яркой метафорикой.

Еще одно из проявлений «неподцензурности» — демонстративно веселая насмешка над всем советским (которая, не стоит забывать, жестоко каралась как в 50-е, так и в 60-е, и в 70-е годы). Отчасти именно такая насмешка (в обеих столицах) над недавним прошлым и настоящим, ощущение не-подлинности происходящего вокруг, игра, пришедшая из авангардных течений 20-х годов и призванная «заговаривать» собой все неловкое и больное, и положила начало тому, что очень быстро переросло в соц-арт и другие направления постмодернизма на русской почве. Вот отрывок из книги о художниках-арефьевцах[1], выпущенной искусствоведом и историком ленинградского андеграунда Любовью Гуревич: «Художники, кроме Гудзенко, политикой особо не интересовались. Но были в компании антисоветские разговоры (они назывались «чириканьем»). Давали вождям прозвища: Ленина называли Угрюм-Бурчеевым, а Сталина — Гуталинщиком, Маленкова, когда тот пришел к власти и пообещал улучшить жизнь, подняв пищевую промышленность, — Ванилинщиком. Ставили пластинки с речами вождей, меняя скорости». Это — середина 50-х годов. А вот очень характерное, уже чисто игровое стихотворение Владлена Гаврильчика 1967 года написания (кстати, довольно странно, что имя этого довольно интересного поэта и художника советского андеграунда ни разу не встречается в книге):

Период захсолнца. Пора лирмгновений.
Законные чувства вторгаются в грудь.
С любдевой стою в коллективе растений.
Волнуюсь, за родину гордый чуть-чуть.
Какова высокого качества небо!
Я нежно взволнован, я искренне за.
(При этом отмечу, что, где бы я ни был,
Всегда вспоминаю любимой глаза.)
Теперя захсолнца, но верно, что скоро
И всенепременнейше кончится ночь.
И залпом лучей молодая Аврора
Всю прошлую тьму ликвидирует прочь![2]

[1] Арефьевский круг / Сост., комм. Л. Гуревич. — СПб.: ООО «ПРП», 2002.

[2] Цит. по: http://www.rvb.ru/np/publication/01text/14/01gavrilchik.htm

Я привожу эти строки исключительно в качестве уникального (как и все творчество Гаврильчика), зафиксированного письменно примера пародийно-веселого соединения «советскости» и лирики. В качестве *атмосферы*, никем, кроме мемуаристов, не описываемой, подобная этой шутливость (конечно, не всегда выраженная на бумаге или холсте) присутствовала во многих творческих кружках и объединениях Петербурга, при том что судьбы большинства из тех, о ком идет речь, вовсе не были светлыми и радостными, скорее, наоборот.

И, конечно, главное, ради чего собирались вместе все эти очень разные поэты, — стремление к слову и к работе над словом, как бы банально это ни звучало. Вечный поиск, открытие новых горизонтов, собственное глубокое переосмысление ситуации — то же самое, к чему стремились в начале века многие из любимых петербургским «подпольем» авторов, то же самое, к чему стремится во все времена практически каждый поэт. И, к сожалению, только сейчас исследователям становится более-менее понятно, какого масштаба был этот поиск и к каким результатам он в конце концов привел. Вот отрывок из доклада Виктора Кривулина на Второй конференции культурного движения в 1979 году: «За последние 20 лет произошла революция поэтического языка, оказавшаяся не замеченной и не осознанной не только публикой, но и самими поэтами... Поэты заговорили языком, неслыханным прежде в России... Многие из них не могут оценить его эстетически, не могут любоваться им. Для них язык, состоящий из знакомых слов, соединенный посредством неизвестной грамматики, непонятен <...> В основе нового поэтического языка лежит принцип свертки исторического опыта в личное слово <...> В новейшей поэзии слово может означать что-либо только тогда, когда оно рассчитывает на историческое приращение смыслов, более того, когда провоцирует ход и направление такого приращения». Как говорится в предисловии к сборнику, неофициальная литература советского периода — «именно та литература, от которой отталкиваются новые литературные поколения», чутко уловившие все, что в данном случае нужно было уловить. А значит, идеалы и стремления поэтов того времени — как «официальных», так и «не официальных» — не пропали даром. И возвращение их имен в историю поэзии, пусть долгое, трудное, но все-таки возвращение — прямое тому доказательство.

Преступления без наказания

Рубрику ведет Лев Аннинский

> Я не душегуб, я — творец! А как же еще себя докажешь? Где нужна кровь, там кровь, где нужна интрига, там интрига... Главное — цель... Насколько ее существование вообще реально... Не то... что убил, а то, как я все это обставил...
>
> *Андрей Бинев. «Эстетика убийства»*

Пока этот новый Раскольников исповедуется, и Андрей Бинев прослеживает его цели с полным пониманием законов детективного жанра (из прежних восьми его книг добрая половина воспринимается как детективы, а некоторые вообще как триллеры; что же до «Эстетики убийства», то тут последний узелок интриги развязан на последней странице романа — классический эффект детектива) — так пока душегуб объясняет, что он не душегуб, а творец, — я задамся вопросом несколько иного жанра: *насколько это существование вообще реально.*

То есть мне интересна та социально-психологической экспертиза, которая прочитывается сквозь кровавые пятна.

Но для этого надо оторваться от того, как сыщик нашего времени преследует преступника нашего времени, и отступить в те времена, когда эти парни, школьники-одноклассники позднесоветских лет, еще не сообразили, что им делать в жизни. И еще глубже отпятиться в прошлое: когда они еще не родились, а родились они лет через десять после войны.

Вот в войну и отступим. И экспертом пусть послужит нам простецкая бабка из заштатного городка на Псковщине, Достоевского в руки не бравшая, но житейски достаточно зоркая, несмотря на свое прозвище «Слепица».

Кое-чего она не видит. Но кое-что видит.

« — Еще, говорят, старый дом Васильчикова, где городской Совет был, заминировали бомбой какой-то от немцев, от захватчиков, значит, да местный сторож, дядя Никодим, им все об том сказал. Жалко ему было... Он еще этого Васильчикова лично помнил. Тот ему водки нальет, сам выпьет... Береги, говорит, имущество семейное наше! Его, выходит, имущество береги... Вот, говорит, тебе, Никодимушка, строгий мой наказ! И денег еще на прощанье дал. Он и берег! Немцы ему за то, что про бомбу сказал, медальку даже свою дали с крестиком, а наши потом с этой медалькой на грудях расстреляли... Когда вернулись... Война ведь...»

Кто там упомнит Васильчикова, кто Никодимушку! Вот еще один помер — немец. Здоровенный, толстый, сильный. От сердца помер. А машиниста — наши расстреляли. На следующий день после Никодима. «Как за что? За то, что у немцев не отказался служить... А чего ему было отказываться? Пятеро деток, жена, теща, мать жены, супружницы его, хворала... Кто ж их всех кормить-то даром станет! Вот он, Генка-то, с тем последним поездом обратно вернулся ночью, а утром опять же немцы. Води, говорят, поезда по-прежнему, во славу нашей великой Германии. Потом немцев прогнали, а его самого схватили и к стенке. Сначала Никодима, а потом уж и его. Предатель, мол...»

Что поражает — так это отрешенно-спокойная интонация старухи Слепицы. Попадись эти предатели на язык особистам, хоть нашим, хоть нацистским, — те знали бы, как аргументировать приговоры: от мирового коммунизма до Великой Германии. Все объяснили бы — в духе идейно-классовой непримиримости.

« — Какой такой непримиримости? — переспросила бы бабка Слепица (она ж еще и Глушица — по глухоте к таким доводам). Война есть война, и все тут. «Одна война, потом другая...»

Одна... другая... Не то существенно, что бабка такие знаки равенства ставит, а то, что Андрей Бинев именно эту бабкину интонацию перекидывает от одного героя-повествователя к другому. Идеологические доводы отсохли и осыпались. Остается — смерть, гуляющая по земле. Рок, что ли? И люди — во власти этого Рока. Беззащитны изначально и окончательно.

В военные годы мало кто так рассуждал. Клялись идеалами. Слепица словно предчувствовала, что три-четыре поколения спустя герои Андрея Бинева будут говорить и чувствовать именно так.

А оно именно так. Идеологические химеры отлетели. Что на месте веры? Ничего. Пусто. Ужас от пустоты. Если отбросить религии, эти «отчаянные попытки испуганного человечества» выстроить «иносказательные значения опрокинутого мира», то что остается неопрокинутым?

Остается природное, биологические, звериное начало. Оно же и конец. Естественные инстинкты. Физиология. Животность.

Но ведь человек — животное общественное?

Да! Гордая стая превращается в унылое управляемое стадо и послушно идет на убой.

«Война ведь», — философски провожает это шествие бабка Слепица.

Правильно. Одно к одному. Где верх, где низ? Этого никогда не знаешь. Объяснить что-нибудь можно? Нельзя. Тайна? Нет, пустота на месте прежних смыслов. Никакой мистики — мистика навеяна нашими страхами, к ней реальность не имеет отношения, а вот к животной логике — имеет, и животные страхи реальны.

Добро и зло? Что это такое, неведомо никому. Из живущих. То есть из животных.

Но что-то ведь управляет этим «послушным стадом»?

Да. Жадность. Зависть. «Делиться надо!» Если уж забираться в очень высокие сферы, то управляет всем — цинизм. Он хорош для всех. И для тех, кто завидует, и для тех, кому завидуют. «Цинизм» — самое частое, по моим подсчетам, объяснение современного состояния умов в психоаналитической экспертизе Бинева.

Как же дышать в этом болоте? Никаких правил, границ, рубежей, градаций?

Никаких — если говорить о старых правилах, рубежах и границах.

Из самых ходовых теперь — беру национальную принадлежность.

Прошу читателя обратить внимание на юмор, который у Бинева проблескивает даже в самых крутых эпизодах.

А эпизод такой:

«...Он скрывался три года под нарами — и от евреев, которые считали его немцем, и от немцев, которые считали его евреем. Три года скрывался, три года мимикрировал то под одних, то под других. И выжил! За то, что выжил путем мимикрии, одни потом называли его истинным евреем, а другие истинным немцем».

А где истина-то?

А истина — вообще вне этих истлевших определений.

Вот лейтмотивы. Дети не имеют имен, они имеют только возрастные признаки. И это великолепно! Это и есть идеал гуманной жизни, ее нетленности.

Симфония нетленности увенчивается спасением главного преступника от наказания: он бежит из России, подменив имя. А про «народ»...

А про народ можно так:

«Это не мой народ и вообще ничей».

Значит, у современного среднестатистического человека нет ни национальности, ни родины, ни дома. «Это расходный и окончательный материал любых бунтов, любой бузы, любой революции или войны». Палач и жертва сливаются в единой

страсти. Бывший опер переходит к частному хозяину, хозяин, если повезет, может оказаться государственником. Ну и что? Ведь буза — сказала бы зоркая Слепица.

Но где история страны, народа, государства, покалеченного войнами и бунтами? От нее куда денешься? Не будем забывать, что Бинев прежде, чем стать офицером угрозыска, окончил ленинский пединститут по специальности: учитель истории и обществоведения. Уж он-то от истории никуда не денется.

Ну, правильно. История страны, народа, государства кровавыми буквами вписана в биографии его героев, участников «бузы».

Вписана. И даже вшептана в уши внука дедом, который чудом уцелел в «бузе». Да только где гарантия, что судьба деда не выдумана им с первой до последней буквы? Украдена у другого участника «бузы», убитого этим участником! Угробил и имя присвоил, и биографию — поди разберись, кто есть кто в этой бузе! Может, немец, может, еврей, а может, поляк или литовец. — это уже не так важно, а важно в этой мгле безадресности, сколько ты ст**о**ишь. Здесь и сейчас.

Стоимость определяется с безупречной наглядностью.

«…Сын обеспеченных родителей… у них загородный дом с дворцовыми потолками, огромные автомобили и даже яхта с каким-то неприличным водоизмещением…»

А пониже есть уровни?

Пожалуйста:

«Сейчас планка общественного респекта прыгнула высоко вверх. Автомобиль не менее чем за стольник евро, и не один — черный джип и яркий спортивный "кар" (тут цена вообще без ограничений!), квартира в центре Москвы не меньше ста двадцати квадратных метров на одного, роскошная вилла в ближайшем Подмосковье о двух этажах (а то и трех, с каминным залом и охотничьими трофеями)… Скромная дачка в Финляндии (на зиму, на всякий случай!), миленькие две яхточки: одна в Подмосковье и одна на Адриатике; раз в год выезд на охоту в Африку в компании таких же лоботрясов (иначе откуда трофеи, рога там разные, копыта, головы, бивни), штук семь ружей, включая нарезные, с оптикой и подсветкой (каждое тысяч по 5 евро, не меньше), одно — непременно антикварное, и чтоб его какой-нибудь именитый нацист или, по крайней мере, член политбюро или еще лучше командарм, Берией расстрелянный, в руках держал когда-то…»

Стоп! Вот что значит магия точности. Меня заносит: я не могу судить, насколько правдиво обрисованы эти уровни, ибо не имею там опыта общения, но чувствую, что Бинев в курсе.

Однако мой интерес все-таки пониже.

Пониже — что?

«А то — однокомнатная кооперативная конура на окраине и «жигуленок» на стоянке у дома!..»

Простите, ошибочка! Это уровень давно пройденный, позднесоветский, когда «народная масса прозябала в коммуналках, а ездили все на электричках и в битком набитых потным быдлом автобусах. Да еще по телефону говорили за "двушку" из телефонной будки, а очередь на домашний, персональный телефон тянулась от рождения до смерти… Впрочем, большинство и сейчас недалеко ушли. Но это уже их личное дело».

Личное дело каждого — поймать свой шанс в этом беспросвете, но границы все-таки есть? Не стертые, истлевшие вместе с минувшим веком, а теперешние, актуальные?

Есть граница нижняя, под которой практическое небытие. Писана она водкой. Этих можно сбросить со счета: «День у станка, ночь в пьянстве, утром в похмелье».

Но миллионы людей, откарабкивающихся от кромки вытрезвителя и лишь мечтающие о том, чтобы в кармане завелась когда-нибудь наличность «на сигареты и на заправку автомашины», эти миллионы трудяг… как их назвать?

Мещанством?

Устарело! Мещане — атавизм, можно им памятники ставить, улицы их именем называть.

Плебей — вот кто сегодня в центре мироздания, то бишь в середине социальной

лестницы. Он не лезет на рожон, подобно глупой мухе (муха, лезущая куда не надо, подыхает на липкой ленте). Плебей не лезет, он живет. Выживает среди себе подобных. Выживает как выйдет. Это жизнь.

«Плебей — интернационален, вездесущ, он обладатель самых скромных основ человеческой культуры, уживчив в силу своей слабости и терпелив в силу житейской мудрости. Плебей не может быть столичным жителем или провинциалом. Плебей всегда однолик, он не зависит от географических и инфраструктурных параметров места обитания, он не связан с языком своей нации, потому что не важно, как плетутся слова, важно, от кого они исходят...

Плебей терпелив, потому что должен всмотреться в предлагаемые обстоятельствами условия и приспособиться к ним. Поменять кожу, цвет, вес, вообще, вид.

Плебей выживает, как крыса или таракан, и остается верен своему типу, потому что лишь это спасает его от вымирания».

Замечательные определения. Со стороны глянуть — «серое поле... серое небо без дна и покрышки».

В корень глянешь — универсальная модель современного среднего существования.

Теперь идем дальше по уликам биневского расследования.

В ответ на бескрайнюю неопределимость ускользающего от границ плебса возникает нужда как-то скомпенсировать это «серое поле» цепкой, скрупулезной документацией. Ленин это когда-то предчувствовал: «учет и контроль»! Теперь найдено новое слово: «Регистрация».

Плетем сеть в противовес огромной массе, живущей не по законам, а... по понятиям. Когда-то сказано было: по благодати. Понятия — это то, что остается на месте испарившейся благодати, — это поле эмоциональной бесконтрольности и фактической безнаказанности. И вот это поле компенсируется: огромной же сетью пересекающихся и многослойно сцепленных правил и законов, в которых преступник должен увязнуть. А он, однако, жив! Правда, в любой момент он должен быть готов ко всему: сесть без вины, признать вину фиктивно, дать показания, отказаться от показаний, оговорить себя или кого-то другого — как получится по понятиям.

И опять-таки, по той же логике компенсации, это мерцающее поле *мнимой* законности, где преступления без наказания так же естественны, как наказания без преступлений, — это «серое поле» уравновешено *действительным законом*, который в пределах определенной зоны действует неукоснительно. Этот-то нешатающийся *закон зоны* и есть настоящая расплата за шаткость прочих законов. В зоне за грех бывает возмездие, а за убойный грех — казнь, фиксируемая на неписаной шкале права. Преступил — наказан. Без обжалований и отсрочек. Так что в зону лучше не попадать.

И наконец, самый ожидаемый и самый неожиданный вид компенсации в беспросвете серого выживания современного плебса — дикий праздник в противовес безнадеге.

Какие-нибудь потаенные «домработницы», они же демонстративные содержанки, приехавшие в столицу из провинции (в данном случае — с Дона, откуда когда-то выдачи не было, а теперь, стало быть, есть), эти тихие мышки время от времени устраивают на хате хозяев такие оргии, так бесятся, что хоть святых выноси. «Наряжаются в тряпье, пляшут под дикую музыку, жгут свечи, визжат, напиваются до чертиков...» И все это без зрителей? От внутренней нужды? Что там в мыслях у них?

Соседи определяют по старым ориентирам: «Сатану зовут».

Ну, конечно, без Сатаны никак. Для сатанинских дел изобретена теперь такая суперсцена, какой раньше и в мыслях не было. В ленинские времена большевики, захватывая власть, начинали с почты и телеграфа. Теперь сразу надо захватывать телецентр.

Не будем забывать, что Бинев, перейдя из сыскарей в журналисты и отработав «смутные 90-е» в таких левых органах печати, как «Аргументы и факты» и «Общая газета», — перешел потом в телевещание, где получил возможность наблюдать логику воздействия телефабрики грез как на зрителей, так и на творцов этих грез.

Телерепортер идет по следам преступника вовсе не с целью помешать преступ-

лению, а с целью вытащить на экран его очередной «номер»; о таком «номере» можно даже договориться заранее, если преступник имеет на ТВ «ход сообщения». Убийство сотрудника ТВ и, следовательно, срыв его передачи повышает рейтинг студии куда сильнее, чем задуманный репортаж. Кровь на экране так же важна, как интрига.

Эта жажда создать параллельную телереальность сжигает и творцов, так же как и зрителей, которым эфир заменяет водку и заполняет пустоту повседневного существования. В сущности, этот эфир и у творцов заполняет пустоту существования. Поэтому интрига должна быть закручена до абсурда, а кровь должна быть настоящая. Хотя и играет она роль морковного сока. Но в эстетически выверенном контексте.

Вот так. Раскольникову достаточно было ударить обухом старуху, чтобы потом маяться сомнениями, современный режиссер кровавого детектива сомнениями не мается; он серию убийств осуществляет именно как заправский режиссер; ему для реализации мании величия нужно не просто убить одного, другого, третьего... ему нужна *эстетика убийства* — не просто вдарить по голове или пырнуть, и не простым топором или ножом, а музейным томагавком или изысканным стилетом. Апофеоз этой изысканной зрелищности: убийца, напяливший в поезде форму проводника, тащит очередную жертву по перрону, крича, что он помогает заболевшей пассажирке... да ведь до этого надо было еще и проводника замочить.

Чем круче, тем зрелищнее, чем безумнее, тем эффектнее. Эстетика!

Для замещения серой мглы сверкающей эстетикой не надо быть ни злым, ни добрым. Добро и зло, как мы видели, друг друга не различают. Достаточно быть интеллектуальным истериком, а там как получится.

«Тот, кто одарен силой и реакцией, берет на себя аналитическое руководство, а тот, кто по природе своей тонкий аналитик и вообще большая умница, вдруг подставляется под пули и ножи, не имея шансов не то что захватить врага, но даже просто выжить в этой ситуации».

Вопрос: если все втянуты в одно и то же эстетически невменяемое действо, — то кто такую круговую самоодурь распутает? Как присяжный аналитик дойдет до решения загадки? И откуда он возьмется в этом шоу-балагане?

Он вроде бы не выделяется из общего тона. Скромен. Стоит в стороне. Хороший специалист. Но, с точки зрения общего игрища, — гад. Гад, но хороший. Или так: хороший, но гад. Городской сумасшедший. Воображает, что стоит между сущим и вечным, хотя вечное вроде бы отменено ради сущего, то есть насущного. Если и есть в душе такого искателя истины убеждения, он никогда не откроет их для «постороннего ока».

«Постороннее око» сегодня видит его куда смутнее, чем могла бы увидеть Слепица. Он ищет преступника, чтобы покарать? Да. И этим счастлив? Да, но о счастье помалкивает. Он работает... ради чего? Ради себя? Нет, не ради себя, а ради чего-то очень невнятного, неосязаемого, одному лишь ему известного.

«Ты это выдумал и служишь ему. Ты — счастливый человек, Мертелов! А может быть, это единственный твой способ жить? Это твоя природа? Твоя суть? Разве есть среди вас еще такие? И были ли они вообще когда-нибудь?»

Всегда были. И будут. Но каждый раз приходилось таким праведникам принимать законы того мира, в котором им довелось жить. Того общества, в котором им довелось сформироваться. Того поколения, в котором им довелось родиться и вырасти.

Чтобы закончить о главном герое-рассказчике, то есть о том сыщике, который сторожит истину в эстетическом месиве крови и интриг, — достаточно сказать, что этот пристальный аналитик верит в свои сны и именно их истолковывает. Под шуточки его марксистски подкованной жены: «Муровский сыщик — и копается в сонниках».

Между логикой, которая не справляется с реальностью, и мистикой, которую реальность отменила, мучается этот умелец, и ему не позавидуешь.

А может, не позавидуешь и поколению, которое его сформировало.

Чтобы почувствовать его судьбу, надо это поколение сравнить с предшествующим, коему оно унаследовало, и последующим, которое наследует уже ему.

Вот и сравним.

Предшественники рождаются в войну и в первые послевоенные годы, когда

Советская власть постепенно теряет победную силу и твердеет в железной невменяемости. Последние десять лет сталинского правления не располагают к оптимизму, оптимизм остается только на знаменах. А вот сиротство свое дети войны чувствуют изначально — «зачатые второпях и доношенные в отчаянии», они не мыслят бороться с Системой (борются донкихоты из разочаровавшихся идеалистов, «шестидесятники»), эти же не борются, а наглухо отрезаются от нее. Они прячутся от Системы в «котельных и бойлерных», они принимают кличку «поколение сторожей и дворников» и сторожат свою независимость, похожую на добровольное заточение.

Со смертью генералиссимуса застывшая Система приходит в конвульсивное движение, и отпрыски следующего, послесталинского поколения вырастают в ситуации не очень ясных, но радостных перемен. Под проржавевшим колпаком режима начинается что-то новое, неслыханное; сторожам и дворникам в котельных и бойлерных уже не усидеть, надо выходить, надо выкладываться, надо во что-то *вкладываться...*

В романе Бинева дан блестящий очерк миграций, социальных сдвигов, психологических перемен, в контексте которых осознавало себя *его* поколение, внимательно вглядывавшееся в перемены, начавшиеся под общим колпаком «перестройки».

Они запоминают, как районы Москвы переходят из рук в руки: «отдаленная, неухоженная территория, населенная выходцами из старых московских районов, когда-то обжитых, в свою очередь, бывшими крестьянами, утерявшими малую свою родину и помещиков-хозяев и приписанными теперь к прокопченным цехам заводов и фабрик. Они сначала ютились в деревянных бараках Марьиной Рощи, Бутырского хутора, Башиловки, Старого шоссе и проезда Соломенной Сторожки, у северных стен Бутырского замка, вдоль начальных верстовых столбов Дмитровской дороги, на бывших землях графа Шереметьева в Останкине, на нищих задворках Мещанских улиц и переулков.

Революция потрясла эти районы, дымные, пьяные, злые, наводнила их новыми приезжими, еще более обездоленными и отчаянными, чем прежние обитатели, — уголовниками, беженцами, вдовами, беспризорными чумазыми детьми и завшивевшими дезертирами. В покосившихся за долгие годы своего существования деревянных бараках, на пыльных летом и топких осенью и весной узких улочках зарождалась новая беспросветная жизнь люмпенов и смертельно уставших от революционных потрясений пролетариев, угрожая центральным районам Москвы ночными грабежами, погромами и инфекционными болезнями».

И вот это благовонное богатство начинает осознаваться как ничье.

Очередные мигранты приезжают из провинции (у Бинева — с юга, с Дона) и вцепляются в ничейные куски.

«...Прибыли из Донецка, поворовали на поверхности что-то, не опускаясь под землю, в шахты, где украсть ни черта нельзя, и теперь строят из себя московских бар».

Советская власть постепенно сдвигается, катится к своему концу. Грезится преемникам счастливое время. Поколение не может упустить свой шанс, оно вкладывается в эту дележку. Как может, так и вкладывается. Можно горланить любые песни, не прикрываясь фиговым листком «ВИА». Можно в голос читать и даже втихую печатать самый немыслимый самиздат. Можно ставить на школьной сцене какие хочешь спектакли, да еще и самозваного билетера ставить в дверях, чтобы брал за вход деньги. Что-то совершенно немыслимое в прежние времена.

Опьянение этой безбашенной свободой оказалось так сильно, что «поколение вкладчиков» не опасалось наследников, они, вкладчики, были уверены, что вложились беспроигрышно и что наследникам останется только вложиться в уже начавшуюся игру — продолжить прибыльное существование, так громко рекламируемое в телезрелищах и так тихо осуществляемое в закрытых оргиях с сатанинским беснованием.

Увы, поколение последователей не приняло эстафеты. Людям, которые рождались после 1964 года (я мог бы передвинуть границу на 1968-й, но пусть уж историки поточнее определят, когда именно слепота Оттепели сменилась глухотой Застоя),

важно то, что поколение, рожденное в послехрущевское десятилетие, получило не теплые дивиденды вкладчиков, а смертельные горячие точки. Афган... Кавказ...

Что за поколение выйдет из этой кровавой купели, упоенным вкладчикам еще предстояло узнать.

Андрей Бинев их приход почувствовал: уголовники нового века не похожи ни на приверженцев воровского закона, ни на бесшабашных обывателей ничейного мира; эти молодые насельники улиц и камер подхватывают и исповедуют полузабытое со времен НЭПа «трамвайное хамство». Такой борец за существование «быстро выхватывает нож, быстро сует его под ребро тихому пассажиру, быстро соскакивает с подножки и быстро пропивает добытое ценой чужой крови...»

Они не вкладываются ни в дела, ни в слова предшественников. «Их главные слова: «круто», «короче», «мочить», «лох», «солидный», «черножопый», «мент поганый», «дурь», «конкретно», «братва», «бабки» и «линять». Все, что они рассказывают, можно уместить в междометия, чередующиеся с этими словами. Причем первоначального значения каждого из этих слов они не знают. Один из них воевал на Кавказе, а другой в Таджикистане. Оба вещают постоянно, как «было круто», как «мочили лохов», как взяли «с братвой солидные бабки», как уходили от «черножопых ментов поганых», как везли откуда-то куда-то «дурь», как «линяли конкретно», и, «короче», было славненько, весело. За что эти двое сидят, никто толком не знает, потому что сидеть они могут за что угодно. Они могут сидеть за каждую минуту своей слепой и глухой жизни. Они и рассказать ничего не в состоянии. После слова «короче» начинают беспомощно мычать и вращать белками глаз».

Ничего, вот обретут они дар речи, и тогда станет ясно, как изменится наш мир от их присутствия: мычанием и вращением белков глаз дело не ограничится.

Можно предположить, что истинных аналитиков там ждет бездна новых сюжетов — будь то настырные журналисты, которым хозяева жизни пудрят мозги в гостиных, но все-таки пускают туда, где творится «кухня» реальности, или настырные сыщики, которые могут проникнуть на эту кухню, но никогда — в гостиную.

Те и другие готовы поменяться ролями, только бы утолить любопытство.

«Знающие то и другое чрезвычайно редки, но и столь же чрезвычайно опасны и, как водится, долго не живут».

Андрей Бинев знает и то, и другое.

Пожелаем ему как писателю-аналитику долгих лет жизни.

Summary

Poetry section. Dedication to the jubilee of ALEXANDER REVICH.

Alexander Revitch is 90! And the poems written by him in the year of this honorable jubilee strike by powerful energy, ruthless soberness of mind, sorrow, sympathy and pain. In this issue we present a collection of new poems by A. Revich and his interview with the member of «DN's» editorial board Natalia Igrunova.

We wish to Alexander Mikhailovich many happy years and highly appreciate the fact that he publishes his poems in our magazine only.

RAVIL BUKHARAEV. Taiga Vineyard. Long short story.

In one time this theme used to be extremely popular both in play writing and in prose and cinema: a detached view of a stranger permitting to see what is usual in a different way. Even under the hard press of the Soviet censorship this device helped to create some likeness of socially significant works. The protagonist of this long short story who happened to find himself in the Altai Territory during the obscure years of stagnation also is a kind of «stranger». But the question is: who tries who in this situation.

VLADIMIR DEGOEV. On the Way to the Inevitable.

This is another historical essay of V. Degoev's series of essays «Useful History». Its task is defined by the author as follows: «to propose to those who will read it calmly, without great-power ecstasy or bombast repentance to look at the arising and formation of the Russian Empire which acquiring new territories was acting much more accurately and mercifully than other great powers as shows the example of joining of the Crimea Khanate».

LEV SIMKIN. Putch.

«We were lucky or, on the contrary, unlucky because in our lifetime «the time got out of joint». The circumstances of the new life fell in on us and we couldn't even make arrangements between us about what was it», — says the author. His essay present pictures and sketches of the three putch days watched by a detached or nearly detached eye-witness.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 20.09.11. Подписано в печать 20.10.11. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 4616. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. http://www.redstarph.ru